

АЛЕКСАНДР ГРИН

БЛИСТАЮЩИЙ МИР
ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

русская классика

Блистающий мир. Золотая цепь

Александр Степанович Грин

Аннотация
Александр Грин. Блистающий мир. Золотая цепь
Блистающий мир
Часть I. Опрокинутая арена
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
Часть II. Улетающий звон
I

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Часть III. Вечер и даль
I
II
III
IV
V
VI
VII
Золотая цепь
I
II
III
IV
V
VI
VII

VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
Эпилог
I
II
III

Аннотация

«Волшебник из Гель-Гью», непревзойденный рассказчик, Александр Грин известен по романтическим «Алым парусам» и «Бегущей по волнам». Но его творчество гораздо обширнее и разнообразнее. В это издание вошли два авантюрных романа автора – «Блистающий мир» и «Золотая цепь».

Невероятный дар Друда – умение летать – оборачивается для него настоящим проклятием: богачи, военные и ученые, а также близкие (казалось бы!) люди мечтают изучить его и использовать в корыстных целях…

Молодой моряк Санди, однажды ночью согласившись переправить двух незнакомцев на остров, знакомится с миллионером Ганувером и оказывается вовлеченным в водоворот невероятных событий, помогая восторжествовать истинной любви…

Александр Грин
Блистающий мир. Золотая цепь

© ООО «Издательство АСТ», 2025

* * *

Блистающий мир

Часть I. Опрокинутая арена

Это – там...
Свифт

I

Семь дней пестрая суматоха афиш возвещала городским жителям о необыкновенном выступлении в цирке «Солейль» «Человека Двойной Звезды»; еще никогда не говорилось так много о вещах подобного рода в веселящихся гостиных, салонах, за кулисами театра, в ресторанах, пивных и кухнях. Действительно, цирковое искусство еще никогда не обещало так много, — не залучало волнения в область любопытства, как теперь. Даже атлетическая борьба — любимое развлечение выродившихся духовных наследников Нерона и Гелиогабала — отошла на второй план, хотя уже приехали и гуляли напоказ по бульварам зверские туши Грепера и Нуара — негра из африканской Либерии, раскуривая толстейшие регалии, на удивление и сердечный трепет зрелых, но пылких дам. Даже

потускнел знаменитый силач-жонглер Мирэй, бросавший в воздух фейерверк светящихся гирь. Короче говоря, цирк «Солейль» обещал *истинно-небывалое*. Постояв с минуту перед афишей, мы полнее всяких примеров и сравнений усвоим впечатление, производимое ею на толпу. Что же там напечатано?

«В среду, — говорила афиша, — 23 июня 1913 г. состоится первое, единственное и последнее выступление ранее никогда нигде не выступавшего, поразительного, небывалого, исключительного феномена, именующего себя “Человек Двойной Звезды”.

Не имеющий веса

Летящий бег

Чудесный полет

Настоящее парение в воздухе, которое будет исполнено без помощи скрытых механических средств и каких бы то ни было приспособлений.

Человек Двойной Звезды остается висеть в воздухе до 3-х секунд полного времени.

Человек Двойной Звезды — величайшая научная загадка нашего века.

Билеты, ввиду исключительности и неповторимости зрелища, будут продаваться с 19-го по

день представления; цены утроены».

Агассиц, директор цирка «Солейль», дал журналистам следующие объяснения: несколько дней назад к нему пришел неизвестный человек; даже изощренный глаз такого пройдохи, как Агассиц, не выцарапал из краткого свидания с ним ничего, кладущего штамп. На визитной карточке посетителя стояло: Э. Д. — только; ни адреса, ни профессии…

Говоря так, Агассиц принял вид человека, которому известно гораздо более, чем о том можно подумать, но сдержанного в силу важных причин. Он сказал:

— Я видел несомненно образованного и богатого человека, чуждого цирковой среде. Я не делаю тайны из того, что наблюдал в нем, но… да, он — редкость даже и для меня, испытавшего за тридцать лет немало. У нас он не служит. Он ничего не требовал, ничего не просил. Я ничего не знаю о нем. Его адрес мне неизвестен. Не было смысла допытываться чего-либо в этом направлении, так как одно-единственное его выступление не связано ни с его прошлым, ни с личностью. Нам это не нужно. Однако «Солейль» стоит и будет стоять на высоте, поэтому я не могу выпустить такую редкую птицу. Он предложил

больше, чем дал бы сам Барнум, воскреснув и явившись сюда со всеми своими зверями.

Его предложение таково: он выступит перед публикой один раз; действительно *один* раз, ни больше ни меньше, — *без* гонорара, *без* угощения, *без* всякого иного вознаграждения. — Эти три «*без*» Агассица свистнули солидно и вкусно. — Я предлагал то и то, но он отказался.

По его просьбе я сел в углу, чтобы не помешать упражнению. Он отошел к двери, подмигнул таинственно и лукаво, а затем, — без прыжка, без всякого видимого усилия, плавно отделясь в воздух, двинулся через стол, задержавшись над ним, — над этой вот самой чернильницей, — не менее двух секунд, после чего неслышно, без сотрясения, его ноги вновь коснулись земли. Это было так странно, что я вздрогнул, но он остался спокоен, как клоун Додди после того как его повертит в зубах с трапеции Эрнст Вит. — «Вот все, что я умею, — сказал он, когда мы уселись опять, — но это я повторю несколько раз, с разбега и с места. Возможно, что я буду в ударе. Тогда публика увидит больше. Но за это поручиться нельзя».

Я спросил — что он знает и думает о себе как о небывалом, дивном феномене. Он пожал пле-

чами. — «Об этом я знаю не больше вашего; вероятно, не больше того, что знают некоторые сочинители о своих сюжетах и темах: они *являются*. Так *это* является у меня». Более он не объяснил ничего. Я был потрясен. Я предложил ему миллион; он отказался — и даже зевнул. Я не настаивал. Он отказался так решительно и бесспорно, что настойчивость равнялась бы унижению. Но, естественно, я спросил, какие причины заставляют его выступить публично. «Время от времени, — сказал он, — слабеет мой дар, если не оживлять его; он восстанавливается вполне, когда есть зрители моих упражнений. Вот единственное ядро, к которому я прикован». Но я ничего не понял; должно быть, он пошутил. Я вынес впечатление, что говорил с замечательным человеком, хранящим строжайшее инкогнито. Он молод, серьезен, как анатом, и великолепно одет. Он носит бриллиантовую булавку тысяч на триста. О всем этом стоит задуматься.

На другой же день утренние и вечерние газеты тиснули интервью с Агассицем; в одной газете появился импровизированный портрет странного гастролера. Усы и шевелюра портрета сделали бы честь любой волосорастительной рекламе. На читателя, выкатив глаза, смотрел свирепый

красавец.

Между тем виновник всего этого смятения, пересмотрев газеты и вдосталь полюбовавшись интересным портретом, спросил: «Ну, Друд, ты будешь двадцать третьего в цирке?»

Сам отвечая себе, он прибавил: «Да. Я буду и посмотрю, как это сильное дуновение, этот удар вихря погасит маленькое косное пламя невежественного рассудка, которым чванится “царь природы”. И капли пота покроют его лицо…»

II

Не менее публики подхвачена была волной острого интереса вся цирковая труппа, включая прислугу, билетеров и конюхов. Пошел слух, что «Двойная Звезда» (как приказал он обозначить себя в афише) — граф и миллиардер, и о нем вздыхали уже наездницы, глотая слюнки в мечтах ресторанно-ювелирного качества; уже пытали зеркало балерины, надеясь каждая увлечь сиятельного оригинала, и с пеной на губах спорили — которую из них купит он подороже. Клоуны придумывали, как смешить зрителя, пародируя новичка. Пьяница-сочинитель Дебор уже смастерил им несколько диалогов, за что пил водку

и бренчал серебряной мелочью. Омраченные завистью гимнасты, вольтижеры и жонглеры твердили единым духом до последнего момента, что таинственный гастролер — шарлатан из Индии, где научился действовать немного внушением, и предсказывали фиаско. Они же пытались распространить весть, что соперник их по арене — беглый преступник. Они же сочинили, что «Двойная Звезда» — карточный шулер, битый неоднократно. Им же принадлежала интересная повесть о шантаже, которым будто бы обезоружил он присмиревшего Агассица. Но по существу дела никто не мог ничего сказать; дымная спираль сплетни вилась, не касаясь центра. Один лишь клоун Арси, любивший повторять: «Я знаю и видал все, поэтому ничему не удивляюсь», — особенно подчеркивал свою фразу, когда поднимался разговор о «Двойной Звезде»; но на больном, желчном лице клоуна отражался тусклый испуг, что его бедную жизнь может поразить нечто, о чем он задумывается с волнением, утратив нищенский покой, добытый тяжким трудом гримас и ушибов.

Еще много всякого словесного сора — измышлений, болтовни, острот, издевательств и предсказаний — застряло в ушах разных людей по поводу

громкого выступления, но всего не подслушаешь. В столбе пыли за копытами коней Цезаря не важна отдельно каждая сущая пылинка; не так уж важен и отсвет луча, бегущего сквозь лиловые вихри за белым пятном золотого императорского шлема. Цезарь пылит… Пыль — и Цезарь.

III

23-го окно цирковой кассы не открывалось. Надпись гласила: «Билеты проданы без остатка». Несмотря на высокую цену, их раскупили с быстротой треска; последним билетам, еще 20-го, была устроена лотерея, — в силу того, что они вызвали жестокий спор претендентов.

Пристальный взгляд, брошенный в этот вечер на места для зрителей, подметил бы несколько необычный состав публики. Так, ложа прессы была набита битком, за приставными стульями блестели пенсне и воротнички тех, кто был осужден стоя переминаться с ноги на ногу. Была также полна ложа министра. Там сиял нежный, прелестный мир красивых глаз и тонких лиц молодых женщин, белого шелка и драгоценностей, горящих как люстры на фоне мундиров и фраков; так лунный водопад в бархате черных теней стру-

ит и искрит стрежи свои. Все ложи, огибающие малиновый барьер цветистым кругом, дышали роскошью и сдержанностью нарядной толпы; легко, свободно смеясь, негромко, но отчетливо говоря, эти люди рассматривали противоположные стороны огромного цирка. Над ареной, блистая, реяла воздушная пустота, сомкнутая высоко вверху куполом с голубизной вечернего неба, смотрящего в открытые стеклянные люки.

Выше кресел помещалась физиономическая пестрота интеллигенции, торговцев, чиновников и военных; мелькали знакомые по портретам черты писателей и художников; слышались замысловатая фраза, удачное замечание, изысканный литературный оборот, сплетни и семейные споры. Еще выше жалась на неразгороженных скамьях улица — непросеянная толпа: те, что бегут, шагают и проплывают тысячами пар ног. Над ними же, за высоким барьером, оклеенным цирковыми плакатами, на локтях, цыпочках, подбородках и грудях, придавленных теснотой, сжимаясь шестигранно, как сот, потели парии цирка — галерея; силясь высвободить хотя на момент руки, они терпели пытку духоты и сердцебиения; более спокойными в этом месиве выглядели лица людей выше семи вершков.

Здесь грызли орехи; треск скорлупы мешался с свистками и бесцеремонными окриками.

Освещение a giorno, возбуждающе яркий свет такой силы, что все, вблизи и вдали, было как бы наведено светлым лаком, погружало противоположную сторону в блестящий туман, где, однако, раз останавливался там взор, все виделось с отчетливостью бинокля — и лица и выражения. Цирк, залитый светом от укрепленных под потолком трапеций, от медных труб музыкантов, шелестящих нотами среди черных пюпитров, до свежих опилок, устилавших арену, — был во власти электрических люстр, сеющих веселое упоение. Закрыв глаза, можно было по слуху намечать все точки пространства — скрип стула, кашель, сдержанный полутакт флейты, гул барабана, тихий взволнованный разговор и шум, подобный шуму воды, — шелеста движений и дыхания десятитысячного человеческого заряда, внедренного разом в поперечный разрез круглого здания. Стоял острый запах тепла, конюшен, опилок и тонких духов — традиционный аромат цирка, родственный пестроте представления.

Начало задерживалось; нетерпение овладело публикой; по галереям несколько раз, вспыхивая неровным треском, перекатились аплодисмен-

ты. Но вот звякнул и затрепетал третий звонок. Бухнуло глухое серебро литавр, взвыл тромбон, выстрелил барабан; медь и струны в мелькающем свисте флейт понесли воинственный марш, и представление началось.

IV

Для этого вечера дирекция выпустила лучшие силы цирка. Агассиц знал, что к вершине горы ведут крутые тропинки. Он постепенно накаливал душу зрителя, громоздя впечатление на впечатление, с расчетливым и строгим разнообразием; благодаря этому зритель должен был отдать весь скопленный жар души венчающему концу: в конце программы значился «Двойная Звезда».

Арена ожила: гимнасты сменяли коней, кони — клоунов, клоуны — акробатов; жонглеры и фокусники следовали за укротителем львов. Два слона, обвязанные салфетками, чинно поужинали, сидя за накрытым столом, и, княжеским движением хобота бросив «на чай», катались на деревянных шарах. Задумчивое остолбенение клоунов в момент неизбежного удара по затылку гуттаперчевой колбасой вызвало не одну мигрень слабых голов, заболевших от хохота. Еще клоуны

почесывались и острили, как наездник с наездницей на белых астурийских конях вылетели и понеслись вокруг арены. То были Вакх и вакханка — в шкурах барса, венках и гирляндах роз; они, мчась с силой ветра, разыграли мимическую сцену балетного и акробатического характера, затем скрылись, оставив в воздухе блеск и трепет грациозно-шальных тел, одержимых живописным движением. После них, предшествуемые звуком трубы, вышли и расселись львы, ревом заглушая оркестр; человек в черном фраке, стреляя бичом, унизил их, как хотел; пена валилась из их пастей, но они вальсировали и прыгали в обруч. Четыре гимнаста, раскачиваясь под куполом, перебрасывались с одной трапеции на другую жуткими вольтами. Японец-фокусник вытащил из-за ворота трико тяжеловесную стеклянную вазу, полную воды и живых рыб. Жонглер доказал, что нет предметов, которыми нельзя было бы играть, подбрасывая их на воздух и ловя, как ласточка мух, без ушибов и промаха; семь зажженных ламп взлетали из его рук с легкостью фонтанной струи. Концом второго отделения был наездник Ришлей, скакавший на пяти рыжих белогривых лошадях и переходя стоя с одной на другую так просто, как мы пересаживаемся на стульях.

Звонок возвестил антракт; публика повалила в фойе, курительные, буфеты и конюшни. Служители прибирали арену. За эти пятнадцать минут племянница министра Руна Бегуэм, сидевшая в его ложе, основательно похоронила надежды капитана Галля, который, впрочем, не сказал ничего особенного. Он глухо заговорил о любви еще утром, но им помешали. Тогда Руна сказала «до свиданья» — с весьма вразумительным холодом выражения, но ослепшее сердце Галля не поняло ее ровного, спокойного взгляда; теперь, пользуясь тем, что на них не смотрят, он взял опущенную руку девушки и тихо пожал ее. Руна, бестрепетно отняв руку, повернулась к нему, уткнув подбородок в бархат кресла. Легкая, светлая усмешка легла меж ее бровей прелестной морщинкой, и взгляд сказал — нет.

Галль сильно похудел в последние дни. Его левое веко нервно подергивалось. Он остановил на Руне такой долгий, отчаянный и пытливый взгляд, что она немного смягчилась.

— Галль, все проходит! Вы — человек сильный. Мне искренно жаль, что *это* случилось с вами; что причиной вашего горя — я.

— Только вы и могли быть, — сказал Галль, ничего не видя, кроме нее. — Я вне себя. Хуже

всего то, что вы еще не любили.

— Как?!

— Эта страна вашей души не тронута. В противном случае воспоминание чувства, может быть, сдвинуло бы ваше сердце с мертвой точки.

— Не знаю. Но хорошо, что наш разговор переходит в область соображений. К этому я прибавлю, что смотрела бы, как на несчастье, на любовь, если поразит она меня *без судьбы*.

Руна покойно обвела взглядом ряд лож, точно желая выяснить, не таится ли уже теперь где-нибудь это несчастье среди пристальных взглядов мужчин; но восхищение так надоело ей, что она относилась к нему с презрительной рассеянностью богача, берущего сдачу медью.

— Любовь и судьба — одно… — Галль помолчал. — Или… что вы хотите сказать?

— Я подразумеваю исключительную судьбу, Галль. Знаю, — Руна скорбно двинула обнаженным плечом, — что такой судьбы я… недостойна. — Высокомерие этого слова скрылось в бесподобной улыбке. — Но я все же хочу, чтобы эта судьба была *особенная*.

Галль понял по-своему ее горделивую мечту.

— Конечно, я вам не пара, — сказал он с искренней обидой и с не менее искренним восторгом. —

Вы достойны быть королевой. Я — обыкновенный человек. Однако нет вещи, над которой я задумался бы, прикажи вы мне исполнить ее.

Руна повела бровью, но улыбнулась. Сильная любовь возбуждала в ней религиозное умиление. Когда Галль не понял ее, она захотела подвинуть его ближе к своей душе. Так добрые люди любят, посетовав нищему о его горькой доле, заняться анализом своих ощущений на тему: «Добрый ли я человек?» А нищему все равно.

— Для королевы я, пожалуй, умнее, чем надо быть умной в ее сане, — сказала Руна. — Я ведь знаю людей. Должна вас изумить. Та судьба, с какой могла бы я встретиться, не смотря на нее вниз, — едва ли возможна. Вероятно, нет. Я очень тщеславна. Все, что я думаю о том, смутно и ослепительно. Вы знаете, как иногда действует музыка… Мне хочется жить как бы в несмолкающих звуках торжественной, всю меня перерождающей музыки. Я хочу, чтобы внутреннее волнующее блаженство было осмыслено властью, не знающей ни предела, ни колебаний.

Эту маленькую, беззастенчивую исповедь Руна произнесла с грациозной простотой молодой матери, нашептывающей засыпающему ребенку сны властелинов.

— Экстаз?

— Я не знаю. Но слова заключают больше, чем о том думают люди, жалеющие о немощи слов. Довольно, а то вы измените мнение обо мне в дурную сторону.

— Я не меняю мнений, не меняю привязанностей, — сказал Галль и, видя, что Руна задумалась, стал молча смотреть на ее легкий профиль, собирая, для полноты впечатления, все, что о ней знал. Десяти лет она написала замечательные стихи. Семнадцатый и восемнадцатый годы она провела в кругосветном плавании, и ее экзотические рисунки были проданы с большой выставки по дорогой цене в пользу слепых. Она не искала популярности этого рода — не любила ее. Она великолепно играла; ей по очереди пророчили то ту, то другую славу, — она славы не добивалась. В ее огромном доме можно было переходить из помещения в помещение с нарастающим чувством власти денег, одухотворенной художественной и разносторонней душой. Независимая и одинокая, она проходила жизнь в душевном молчании, без привязанностей и любви, понимая лишь инстинктом, но не опытом, что дает это, еще не испытанное ею чувство. Она знала все европейские языки, изучала астрономию, элек-

тротехнику, архитектуру и садоводство; спала мало, редко выезжала и еще реже устраивала приемы.

Этот невозмутимый, холодный мир был заключен в совершенную оболочку. По мягкости линий и выражения ее лицо было лицом блондинки, но под сверкающей волной черных волос давало непостижимое сочетание зноя и нежности. Ее вполне женственная, без впечатления хрупкости, фигура веяла свежестью и весельем ясного тела. Она была чуть пониже Галля; он же, при среднем росте, казался выше благодаря эполетам.

Галль — интеллигентный воин с немного расплывчатым лицом и меланхолическими глазами доброго человека, которым пытался иногда придать высокомерное выражение, передумав о Руне Бегуэм все, что пришло на мысль, обратил внутренний взгляд к себе, но, не найдя там ничего особенного, кроме здоровья, любви, службы и аккуратных привычек, почувствовал печаль смирения. Ему не следовало говорить о любви. Все же в момент третьего звонка, как бы дернутый его трелью за язык, он успел сказать: «Я желаю вам счастья…» Конец фразы: «если бы — со мной…» — застрял в его горле. Он разгладил усы и приготовился смотреть представление.

V

Последний перед выходом «Двойной Звезды» номер назывался «Бессилие оков». Он состоял в том, что широкоплечего низкорослого человека связали по рукам и ногам толстенными веревками, опутали проволокой; сверх того опоясали кандалами руки и ноги. Затем его накрыли простыней; он повозился под ней минуты две и встал совершенно распутанный; узы валялись на песке.

Он ушел. Наступила глубокая, острая тишина. Музыка заиграла и смолкла. Цирк неслышно дышал. Заразительное ожидание проникало из души в душу, напрягая чувства; взгляды, направленные к выходной занавеси, молча вызывали обещанное явление. Музыканты перелистывали ноты. Прошло минут пять; нетерпение усиливалось. Верхи, потрещав вразброд, разразились залпами рукоплесканий протеста; средина поддержала их; низы беседовали, трепетали веерами, улыбались.

Тогда, вновь заставив стихнуть шум нетерпения, у выхода появился человек среднего роста, прямой как пламя свечи, с естественной и про-

стой манерой; задержась на мгновение, он вышел к середине арены, ступая мягко и ровно; остановясь, он огляделся с улыбкой, обвел взглядом сверкающую впадину цирка и поднял голову, обращаясь к оркестру.

— Сыграйте, — сказал он, подумав, негромко, но так внятно, что слова ясно прозвучали для всех, — сыграйте что-нибудь медленное и плавное, например «Мексиканский вальс».

Капельмейстер кивнул, постучал и взмахнул палочкой.

Трубы зарокотали вступление; кружась, ветер мелодии охватил сердца пленом и мерой ритма; звон, трели и пение рассеяли непостижимую магию звука, в которой праздничнее сверкает жизнь и что-то прощается внутри, насыщая все чувства.

«Двойная Звезда», — каким являлся он взгляду зрителей в эту минуту, — был человек лет тридцати. Его одежда состояла из белой рубашки с перетянутыми у кистей рукавами, черных панталон, синих чулок и черных сандалий; широкий серебряный пояс обнимал талию. Светлый, как купол, лоб нисходил к темным глазам чертой тонких и высоких бровей, придававших его резкому лицу выражение высокомерной ясности

старинных портретов; на этом бледном лице, полном спокойной власти, меж тенью темных усов и щелью твердого подбородка презрительно кривился маленький строгий рот. Улыбка, с которой он вышел, была двусмысленна, хотя не лишена равновесия, и полна скрытого обещания. Его волосы бобрового цвета слабо вились под затылком, в углублении шеи, спереди же чуть-чуть спускались на лоб; руки были малы, плечи слегка откинуты.

Он отошел к барьеру, притопнул и, не спеша, побежал, с прижатыми к груди локтями; так он обогнул всю арену, не совершив ничего особенного. Но со второго круга раздались возгласы: «Смотрите, смотрите». Оба главных прохода набились зрителями: высыпали все служащие и артисты. Шаги бегущего исказились, уже двигался он гигантскими прыжками, без видимых для того усилий; его ноги, легко трогая землю, казалось, не поспевают за неудержимым стремлением тела; уже несколько раз он в течение прыжка просто перебирал ими в воздухе, как бы отталкивая пустоту. Так мчался он, совершив круг, затем, пробежав обыкновенным манером некоторое расстояние, резко поднялся вверх на высоту роста и замер, остановился в воздухе,

как на незримом столбе. Он пробыл в таком положении лишь едва дольше естественной задержки падения — на пустяки, может быть треть секунды, — но на весах общего внимания это отозвалось падением тяжкой гири против золотника, — так необычно метнулось пред всеми загадочное явление. Но не холод, не жар восторга вызвало оно, а смуту тайного возбуждения: вошло нечто из-за пределов существа человеческого. Многие повскакали; те, кто не уследил, в чем дело, кричали среди поднявшегося шума соседям, спрашивая, что случилось? Чувства уже были поражены, но еще не сбиты, не опрокинуты; зрители перекидывались замечаниями. Балетный критик Фогард сказал: «Вот монстр элевации; с времен Агнессы Дюпорт не было ничего подобного. Но в балете, среди фейерверка иных движений, она не так поразительна». В другом месте можно было подслушать: «Я видел прыжки негров в Уганде; им далеко...» — «Факирство, гипноз!» — «Нет! Это делается с помощью зеркал и световых эффектов», — возгласило некое компетентное лицо.

Меж тем, отдыхая или раздумывая, по арене прежним неторопливым темпом бежал «Двойная Звезда», сея тревожные ожидания, разрастав-

шиеся неудержимо. Чего ждал взволнованный зритель? Никто не мог ответить себе на это, но каждый был как бы схвачен невидимыми руками, не зная, отпустят или сбросят они его, бледнеющего в непонятной тоске. Так чувствовали, как признавались впоследствии, даже маниаки сильных ощущений, люди испытанного хладнокровия. Уже несколько раз среди дам взлетало высокое «ах!» с оттенком более серьезным, чем те, какими окрашивают это универсальное восклицание. Верхи, ничего не понимая, голосили «браво» и набивали ладони. Тем временем в толпе цирковых артистов, запрудивших выход, произошло движение; эти много видавшие люди были поражены не менее зрителей.

Прошло уже около десяти минут, как «Двойная Звезда» выступил на арену. Теперь он увеличил скорость, делая, по-видимому, разбег. Его лицо разгорелось, глаза смеялись. И вдруг ликующий детский крик звонко разлетелся по цирку: «Мама, мама! Он летит… Смотри, он не задевает ногами!»

Все взгляды разом упали на только теперь замеченное. Как пелена спала с них; обман мерного движения ног исчез. «Двойная Звезда» несся по воздуху на фут от земли, поднимаясь все круче

и выше.

Тогда, внезапно, за некоей неуловимой чертой, через которую, перескакнув и струсив, заметалось подкошенное внимание, — зрелище вышло из пределов фокуса, став чудом, то есть тем, чего втайне ожидаем мы всю жизнь, но когда оно наконец блеснет, готовы закричать или спрятаться. Покинув арену, Друд всплыл в воздухе к люстрам, обернув руками затылок. Мгновенно вся воображаемая тяжесть его тела передалась внутреннему усилию зрителей, но так же быстро исчезла, и все увидели, что выше галерей, под трапециями, мчится, закинув голову, человек, пересекая время от времени круглое верхнее пространство с плавной быстротой птицы, — теперь он был страшен. И его тень, ныряя по рядам, металась внизу.

Смятенный оркестр смолк; одинокий гобой взвыл фальшивой нотой и как подстреленный оборвал медный крик.

Вопли «Пожар!» не сделали бы того, что поднялось в цирке. Галерея завыла; крики: «Сатана! Дьявол!» подхлестывали волну паники; повальное безумие овладело людьми; не стало публики: она, потеряв связь, превратилась в дикое скопище, по головам которого, сорвавшись с мощных

цепей рассудка, бешено гудя и скаля зубы, скакал Страх. Многие, в припадке внезапной слабости или головокружения, сидели закрыв руками лицо. Женщины теряли сознание; иные, задыхаясь, рвались к выходам; дети рыдали. Всюду слышался треск балюстрад. Беглецы, запрудив арену, сталкивались у выходов, сбивая друг друга с ног, хватая и отталкивая передних. Иногда резкий визг покрывал весь этот кромешный гвалт; слышались стоны, ругательства, грохот опрокинутых кресел. А над цирком, выше трапеций и блоков, скрестив руки, стоял в воздухе «Двойная Звезда».

— Оркестр, музыку!!! — кричал Агассиц, едва сознавая, что делает.

Несколько труб взвыло предсмертным воплем, который быстро утих; затрещали поваленные пюпитры; эстрада опустела; музыканты, бросив инструменты, бежали, как все. В это время министр Дауговет, тяжело потирая костлявые руки и сдвинув седину бровей, тихо сказал двум, быстро вошедшим к нему в ложу, прилично, но незначительно одетым людям: «Теперь же. Без колебания. Я беру на себя. Ночью лично ко мне с докладом, и никому больше ни слова!»

Оба неизвестных без поклона выбежали и смешались с толпой.

Тогда Друд вверху громко запел. Среди неистовства его голос прозвучал с силой порыва ветра; это была короткая, неизвестная песня. Лишь несколько слов ее было схвачено несколькими людьми: «Тот путь без дороги…» Каданс пропал в гуле, но можно было думать, что есть еще три стопы, с мужской рифмой в отчетливом слове «клир». Снова было не разобрать слов, пока на паузе гула они не окончились загадочным и протяжным: «зовущий в блистающий мир».

От ложи министра на арену выступила девушка в платье из белых шелковых струй. Бледная, вне себя, она подняла руки и крикнула. Никто не расслышал ее слов. Она нервно смеялась. Ее глаза, блестя, неслись вверх. Она ничего не видела, не понимала и не чувствовала, кроме светлой бездны, вспыхнувшей на развалинах этого дня чудным огнем.

Галль подошел к ней, взял за руку и увел. Вся дрожа, она повиновалась ему почти бессознательно. Это была Руна Бегуэм.

VI

Когда, вновь коснувшись земли, «Двойная Звезда» стремительно направился к выходу, па-

ника в проходе усилилась. Все, кто мог бежать, скрыться, — исчезли с его пути. Многие попадали в давке; и он беспрепятственно достиг кулис, взял там шляпу и пальто, а затем вышел через конюшни в аллею бульвара.

Он укрыл лицо шарфом и исчез влево, на свет уличных фонарей. Едва он отошел, как несколько беспощадных ударов обрушилось на его плечи и голову; в луче фонаря блеснул нож. Он повернулся; острие увязло в одежде. Стараясь освободить левую руку, за которую ухватились двое, правой он сжал чье-то лицо и резко оттолкнул нападающего; затем быстро взвился вверх. Две руки отцепились; две другие повисли на его локте с остервенением разъяренного бульдога. Рука Друда немела. Поднявшись над крышами, он увидел ночную иллюминацию улиц и остановился. Все это было делом одной минуты. Склонившись, с отвращением рассмотрел он сведенное ужасом лицо агента; тот, поджав ноги, висел на нем в борьбе с обмороком, но обморок через мгновение поразил его. Друд вырвал руку; тело понеслось вниз; затем из глубины, заваленной треском колес, вылетел глухой стук.

— Вот он умер, — сказал Друд, — погибла жизнь и, без сомнения, великолепная награда. Меня

хотели убить.

У него было предчувствие, и оно не обмануло его. Он ждал дня выступления с улыбкой и грустью — безотчетной грустью горца, взирающего с вершины на обширные туманы низин, куда не долетит звук. И если он улыбался, то лишь приятным, невозможным вещам — чему-то вроде восхищенного хора, пытающего, теребя и увлекая его в круг радостно засиявших лиц: и что там, в том мире, где он плывет и дышит свободно? И нельзя ли туда сопутствовать, закрыв от страха глаза?

Друд несся над городскими огнями в гневе и торжестве. Медля возвращаться домой, размышлял он о нападении. Змея бросилась на орла. Вместе с тем он сознавал, что опасен. Его постараются уничтожить, или, если в том не успеют, окружат его жизненный путь вечной опасностью. Его цели непостижимы. Помимо того, самое его существование — абсурд, явление нетерпимое. Есть положения, ясные без их логического развития: Венера Милосская в бакалейной лавке, сундук с шаровидными молниями, отправленный по железной дороге; взрывы на расстоянии. Он вспомнил цирк — так ясно, что в воздухе, казалось, снова блеснул свет, при котором разыг-

рались во всем их безобразии сцены темного исступления. Единственным утешением были поднятые вверх с криком победы руки неизвестной женщины; и он вспомнил стадо домашних гусей, гогочущих, завидя диких своих братьев, летящих под облаками: один гусь, вытянув шею и судорожно хлеща крыльями, запросился, — тоже, — наверх, но жир удержал его.

Приблизился свист перьев; ночная птица ударилась в грудь, забилась у лица и, издав стон ужаса, взмыла, сгинув во тьме. Друд миновал черту города. Над гаванью он пересек луч прожектора, соображая, что теперь, верно, будут протирать зеркало или глаза, думая, не померещился ли на фоне береговых скал человеческий силуэт. Действительно, в крепости что-то произошло, так как луч начал кроить тьму по всем направлениям, попадая, главным образом, в облака. Друд повернул обратно, развлекаясь обычной игрой; он населил по дороге свой путь воздушными ладьями, откуда слышался шепот влюбленных пар; они скользили к серпу луны, в его серебряную кисейку, бросающую на ковры и цветы свою тонкую белизну. Их кормчие, веселые, маленькие духи воздуха, завернув крылья под мышку, тянули парус. Он слышал смех и

перебор струн. Еще выше лежала торжественная пустота, откуда из-за мириадов миль протягивались в прищуренный глаз иглы звездных лучей; по ним, как школьники, скатывающиеся с перил лестницы, сновали пузатенькие арапы, толкаясь, гримасничая и опрокидываясь, подобно мартышкам. Все звуки, подымающиеся с земли, имели физическое отражение; высоко летели кони, влача призрачную карету, набитую веселой компанией; дым сигар мутил звездный луч; возница, махая бичом, ловил слетевший цилиндр. В стороне скользили освещенные окна трамвая, за которыми господин читал газету, а франт сосал тросточку, косясь на миловидное лицо соседки. Тут и там свешивались балконы, прорезанные светом дверей, укрытых зеленью, позволяющей видеть кончик туфли или опасный блеск глаз, мерцающих, как в засаде. Бежал воздушный газетчик, размахивая пачкой газет; кошка стремглав перелезала по невидимым крышам, и гуляющие останавливались над городом, раскланиваясь в теплую тьму.

Как только Друд устал, эта игра рассеялась подобно стае комаров, если по ней хватил дождь. Он присел на фронтон башенных часов, которые снизу казались озаренным кружком в тарелку

величиной, вблизи же являли двухсаженную амбразуру, заделанную стеклом толщиной дюйма в три, с аршинными железными цифрами. За стеклом, гремя, двигались шестерни, колеса и цепи; в углу, попивая кофе, сидел машинист с грязной полосой поперек небритой щеки; среди инструментов, свертков пакли и жестянок с маслом дымилась печка, на которой кипел кофейник. На оси снаружи стекла две огромные стрелы указывали десять минут второго. Ось дрогнула, минутная стрелка заскрипела и свалилась на фут ниже, отметив одиннадцатую минуту. По карнизам жались в ряды сонные голуби, гуркая и скрипя клювами. Друд зевнул. Цирк и нападение утомили его. Он дождался, когда часовые колокола, отмечая четверть второго, вызвонили такт старинной мелодии, и устремился к гостинице, где временно жил.

VII

Тщетно искали горожане на другой день в страницах газет описания загадочного события; сила, действующая с незапамятных времен пером и угрозой, разослала в редакции секретный циркуляр, предписывающий «забыть» необыкновенное

происшествие; упоминать о нем запрещалось под страхом закрытия; никаких объяснений не было дано по этому поводу, и редакторы возвратили авторам длиннейшие статьи, — плоды бессонной ночи, — украшенные самыми заманчивыми заголовками.

Меж тем слухи достигли такого размаха, приняли такие размеры и очертания, при каких исчезал уже самый смысл происшествия, подобно тому, как гигантской, но бесформенной становится тень человека, вплотную подошедшего к фонарю. Очевидцы разнесли свои впечатления по всем закоулкам, и каждый передавал так, что остальным было бы о чем с ним поспорить, — лучшее доказательство своеобразия в восприятии. В деле Друда творчество масс, о котором ныне, слышно, чрезвычайно хлопочут, проявилось с безудержностью истерического припадка. Правда, мелкотравчатый скептицизм образованной части населения пустил тонкое «но», в глубокомысленной бессмысленности которого уху, настроенному соответственно, слышалось множество остроумнейших изъяснений. На это «но», как на шпульку, наматывалась пестрая нить ходячей энциклопедии. Кто приводил гипнотизм, факирство, кто чудеса техники; ссылались и на

старинных фокусников, творивших непостижимые чудеса, с продувной машинкой в подкладке. Не были забыты ни синематограф, ни волшебный фонарь, ни знаменитые автоматы: механический человек Вебера обыгрывал искуснейших шахматистов своего времени. В силу того, что всякое событие подобно шару, покрытому сложным рисунком, очевидцы противоречили друг другу, не совпадая в описании происшествия, так как каждый видел лишь обращенную к нему часть шара, с сверхсметной прибавкой фантазии, или же, желая поразить сухой точностью, отнимал подробности; таким образом, сама очевидность стала наполовину спорной. Однако «глас божий», то есть вести с конюшен и галерей, праздновал богатый пир, украшаясь всем, что есть вздорного в человеке, когда захочет он небылиц и сам стряпает их. Эти вести создали легенду о черте, выехавшем на белом коне; по точным справкам других, дьявол похитил девочку и улетел с нею в окно; третьи добавляли, что малютка превратилась в старуху страшного вида. Наперерез этой диковине всплыл слух об ангелах, запевших над головой публики о конце мира, но более склонялись все к объяснению, данному буфетчиком «Ниагары», что приезжий грек изобрел лета-

тельную машинку, которую можно держать в кармане; грек вылетел из цирка на улицу и упал, потому что в машинке сломался винт. Венцом всей путаницы было потрясающее известие о посещении цирка стаей летающих мертвецов, которые пили, ели, а затем принялись безобразить, срывая с зрителей шляпы и выкрикивая на неизвестном языке умопомрачительные слова.

Малый очаг такого кипения слухов представляла утром 24-го числа кухня гостиницы «Рим», в девятом часу. Здесь, за столом, посреди которого валил пар огромной сковороды с бараниной, лакей и повар вели жаркий спор; их слушали горничные и кухарка; поварята, гримасничая и наделяя у плиты друг друга щелчками, успевали в то же время слушать беседу. Лакей хотя и не попал в цирк, за отсутствием билетов, но весь вечер протолкался у входа среди несчастливцев, тщетно надеявшихся умилостивить контролера сигарой или проскочить, улучив момент, внутрь.

— Вздор! — сказал повар, выслушав описание повального бегства зрителей. — Хотя бы видел ты собственными глазами, чего, как говоришь сам, не было.

— Легко сказать — «вздор», — возразил лакей, —

тверди «вздор», что бы ты ни услышал. Противно с тобой говорить… Если думают, что я лгу, пусть имеют храбрость сказать мне это прямо в лицо.

— А что тогда будет? — воинственно спросил повар. — Прямо в лицо?! Вот я тебе прямо в лицо и говорю, что ты врешь.

— Я? Вру?

— Ну, не врешь, так сочиняешь, это одно и то же, а если хочешь знать правду, то я тебе объясню: все произошло оттого, что обрушились столбы. Этого я, разумеется, не видел, но думаю, что хватит и такой безделицы. Галереи ведь на столбах, не так ли? А раз зрителей набилось туда втрое больше, чем полагается, подпорки и подломились.

— При чем тут подпорки, — возразил, вспотев от отчаяния, лакей, — когда побежала полная улица народа, двери трещали, и я сам слышал крики. Кроме того, я многих расспрашивал; кажется, ясно.

— Вздор! — сказал повар. — Как обломают тебе ноги, так закричишь, сам не зная что. Бывает, что с испуга человек сходит с ума и начинает нести всякую чепуху.

— Уж всем известно, что вы неверующий, — заголосила горничная в то время как ее подруга с кухаркой, разинув рты, трепетали в припадке

острого любопытства, — а я еще маленькая видела такую вещь, что попросите меня рассказать о том на ночь, я ни за что не решусь. Приходит к нам человек — дело было ночью — и просится ночевать…

— И я хорошо помню, — перебил лакей, — как вышел из двери солидный, вежливый господин. «Что там произошло?» — спросил я его, и вижу, что он сильно взволнован; он мне сказал: «Не ищите суетных развлечений. Я видел, как в человека вселился демон и поднял его на воздух. Молитесь, молитесь!» — И он ушел, этак помахивая рукой. Я вам говорю, в одной этой его руке была масса выражения!

Повар не успел произнести: «Вздор!» — как горничная, опасаясь, что ее рассказ потонет в ожесточении спорщиков, взяла тоном выше и заговорила быстрее:

— Вы слышите? Я сказала, что тот человек попросился к нам ночевать; отец поворчал, но пустил, а на другой день мать говорила ему: «Что? Разве не была я права?» — Она не хотела, чтобы его пустили. Что же вышло? У нас в доме была пустая комната, в которой никто не жил; туда сваливали обыкновенно овощи; там же отец держал токарный станок. В эту комнату уложили мы

спать нашего странника. Я его как сейчас вижу: высокий, толстый, седой, а лицо гладкое и такое розовое, как вот у Бетси или у меня, когда меня не раздражают ничем. Хотя я была маленькая, но ясно видела, что в старике есть что-то подозрительное. Когда он убрался спать, я подкралась к двери, заглянула в замочную скважину и… вы можете представить, что я увидела?

— Нет, нет! Не говорите! Не говорите! — воскликнули женщины. — Ай, что же вы там увидели?

— Он сидел на мешках. Я и теперь вся дрожу, как тогда. «Обожаемые мои члены! — сказал он и снял правую ногу. — Мои любезные оконечности!..» Тут, ей-богу, я сама это видела, — отнял он и поставил к стене левую ногу. Колени мои подкосились, но я смотрю. Я смотрю, а он снимает одну руку, вешает ее на гвоздь, снимает другую руку, кладет ее этак небрежно, и… и…

— Ну?! — подхватили слушатели.

— И преспокойно снимает с себя голову! Вот так! Бряк ее на колени!

Здесь, желая изобразить ужасный момент, рассказчица схватила себя за голову, вытаращив глаза, а затем, с видом изнеможения, вызванного тяжелым воспоминанием, картинно уронила

руки и откинулась, переводя дух.

— Ну, уж это ты врешь, — сказал повар, интерес которого к повествованию заметно упал, как только горничная лишила нищего второй руки. — Чем же он снял голову, если у него не было рук?

Горничная обвела его ледяными глазами.

— Я давно замечаю, — хлестко возразила она, — что вы ведете себя как азиатский паша, не имея капельки уважения к женщине. Кто вбил вам в голову, что старик был без рук? Я же говорю, что руки у него были.

Ум повара помутился; бессильно махнул он рукой и плюнул. В этот момент вошел, смотря поверх огромных очков, человек в переднике и войлочных туфлях. Это был коридорный с верхнего этажа.

— Странное дело, — сказал он, ни к кому в отдельности не обращаясь, но обводя всех по очереди мрачным, нездешним взглядом. — Что? Я говорю, что это странное дело, как и доложил я о том ночью же управляющему.

Наступила вязкая пауза.

— Какое же это странное дело? — спросил лакей.

— Как вспомню — мороз подирает, — сказал

коридорный, когда новая пауза достигла неприятных размеров. — Слушайте. Сегодня, во втором часу ночи, почистив все сапоги, проходил я мимо 137-го и, заметив, что дверь не заперта, а притворена, постучал; не за делом, а так. Мало ли что может быть. Было там тихо. Я вошел, убедился, что жильца нет, запер ключом дверь, а ключ положил в карман, потом повесил его на доску. После того как я задержался наверху минут пять, снова пошел вниз и, как дорога моя была мимо того же 137-го, увидел, что дверная ручка качнулась. Кто-то изнутри пробовал отворить дверь. Я тихо подошел к ней и замер — еще раз дернулась ручка, затем раздались шаги. Тут я заглянул в скважину. В передней был свет, и я увидел спину отходящего человека. У портьеры, отведя ее, он остановился и повернулся, но это был не чужой, а тот самый Айшер, что там живет. Минут через пять, не больше, он взошел в коридор по лестнице, снял ключ и попал к себе.

Изложив эти обстоятельства, коридорный вновь по очереди осмотрел широко раскрытые рты и прибавил:

— Понимаете?

— Черт побери! — сказал лакей, ехидно взглянув на повара, который на этот раз не закричал

«вздор!», а лишь горько покачал головой над куском бараньего жира. — Как же он мог оказаться у себя дома?

— Если не через балкон, то разве что в образе комара или мухи, — пояснил коридорный, — даже мыши не пролезть в замочную скважину.

— А что сказал управляющий?

— Он сказал: «Гм... только, я думаю, не померещилось ли тебе?» Однако я видел, как он с легкостью побежал наверх, должно быть затем, чтобы посмотреть самому в дырку; а спускался он назад с лицом втрое длиннее, чем оно было.

Тут все стали обсуждать поведение и личность таинственного жильца.

— Он редко бывает дома, — сказал коридорный, причем вспомнил, что Айшер предпочел номер в верхнем этаже, хотя эта комната хуже свободных номеров этажей нижних.

Бетси пропела:

— Степенный молодой человек, на редкость кроткий и вежливый; никто еще не слышал от него замечаний, даже когда забудешь пройтись по комнате щеткой или, стоя перед зеркалом, помедлишь явиться на звонок.

Никто не знал, чем он занимается, никто не посетил его. Слышали иногда, как он разговаривает

сам с собой, или, смотря в книгу, тихо смеется. Бесполезно расставлять ему пепельницы, потому что окурки все равно валяются на полу.

Меж тем лакей как бы впал в транс; все созерцательнее, значительнее и рассеяннее становилось его лицо, и все выше возводил он глаза к потолку, где бодро жужжали мухи. Возможно, что эти насекомые сыграли для него роль легендарного Ньютонова яблока, дав разрозненной добыче ума связь кристаллическую; подняв руку, чтобы привлечь внимание, он уставился нахмуренным взглядом в сизый нос повара и слабым голосом, за каким в таких случаях стоит гордая уверенность, что сказанное прозвучит поразительнее громовых возгласов, медленно произнес:

— А знаете ли вы, кто такой жилец 137-го номера, кто этот человек, попадающий домой без ключа, кто он, именуемый Симеон Айшер? Да, кто он, — знаете вы это? А если не знаете, то желаете знать или не желаете?

Выяснилось, что желают все, но что некоторые недолюбливают, когда человек кривляется, а не говорит прямо.

— Прямо?! — воскликнул лакей. — Так вот! — Он встал, картинно опрокинул стул и, протянув правую руку к сетке для процеживания макарон,

крикнул: — Человек, попадающий без ключа! Человек, требующий, чтобы ему непременно отвели верхнее помещение! Человек, о котором никто не знает, кто он такой, — этот человек есть тот, который полетел в цирке!

Раздалось женское «Ах!», и шум изумления заглушил раздражительный протест повара. В эту минуту вбежал тощий мальчуган, издали еще примахивая к себе рукой Бетси и крича: «Идите скорей, вас требует управляющий».

— По-вашему, все мошенники! — вскричала, убегая с мальчиком, задетая в своих симпатиях Бетси. — Это, может, вы летаете, а не Айшер!

VIII

В бешенстве человеческих отношений перебрасывается быстрый и тонкий луч холодного света — фонарь полиции. Когда коридорный донес управляющему гостиницей, что изнутри номера 137 дергалась ручка двери, луч фонаря пристально остановился на лице управляющего и, сверкнув приказательно, позвал к руке, державшей фонарь. Рука издали казалась обыкновенной рукой, в обшлаге с казенными пуговицами, но вблизи выразила всего человека, который владел

ею. Ее пальцы были жестки и плоски. Она лежала, как каменная, на углу большого стола. Фонарь исчез, его заменил свет яркой зеленой лампы.

Ночь кончилась; этот свет также исчез, уступив блеску раннего солнца, в котором Бетси предстала пытливым и равнодушным глазам управляющего гостиницей. Он взял резкий тон крайнего неудовольствия:

— Вы обслуживаете верх, и так нерадиво, что на вас стали поступать жалобы. Мне это не нравится. Я выслушал неприятные вещи. Приборы не чищены, мебель расставлена неаккуратно, подаете тупые ножи, расплескиваете кофе и чай, приносите мятые салфетки. До сих пор я не делал вам замечаний, считая это простой оплошностью, но сегодня решил наконец покончить с ленью и безобразием.

— Сударь, — сказала пораженная девушка, — извините, я, честное слово, ничего ровно не понимаю. Грех вам, вы так меня обижаете… — Она подняла передник, тыкая им в глаза. — Я так стараюсь, не покладая рук, что не имею для себя свободной минуты. Вам, должно быть, насплетничали. Кто вам жаловался? Кто? Кто?

— Кто бы ни жаловался, — почтенным жильцам я верю и ваши выкрики считаю истерикой.

Не трудитесь оправдываться. Впрочем, я придумал взыскание, которое одновременно проучит вас и даст мне возможность убедиться, верны ли жалобы. С этого часа, прежде чем разнести что-либо по номерам, извольте показать мне приборы, кушанья и напитки; я сам посмотрю, так ли вы делаете то, что надо делать; а затем, прекращая наш разговор, предупреждаю, что в следующий раз вы дешево не отделаетесь.

Горничная вышла с тяжелым сердцем, в слезах и горьком недоумении, по-своему объясняя придирку.

«Он приставал ко мне, — решила она, — перещипал мне все руки, но без толку и теперь мстит; будь он, однако, проклят — я понесу ему на осмотр не только приборы, а все ковры, и так тряхну перед его носом, что он съест фунтов пять пыли».

Простодушно изобличив таким образом свое отношение к коврам, она поднялась наверх, преследуемая звонками. На сигнальной доске выпали три номера и меж ними номер 137; осмотрев цифры, Бетси ощутила легкую, полную любопытства жуть, навеянную кухонной болтовней. Два жильца потребовали счет и извозчика; голос 137-го номера, осведомившись сквозь портьеру который час, сообщил, что еще не одет, попросил

кофе и рюмку ликера; затем Айшер зевнул.

«Ты, что ли, жаловался? — подумала Бетси, припоминая, как вчера убирала номер несколько второпях, — фальшивая душа, если обращаешься словно ни в чем не бывало; хорошо, я покажу тебе, как умею отвечать с достоинством».

Воспоминание о еще некоторых грешках внушило ее подозрению стальную уверенность.

«Все-таки он красив и кроток, как ангел; на первый раз может быть надо его простить».

И она тоном насильственного оживления, в котором, по ее мнению, проглядывал скорбный упрек, ответила, что на часах половина восьмого, что каждый одевается когда хочет, а кофе она принесет немедленно.

— Прекрасно, — сказал Айшер, — вы, Бетси, не прислуга, а клад. Я очень доволен вами.

Бетси вознамерилась было сказать Айшеру о выговоре управляющего и спросить, не Айшер ли накликал на нее эту беду, но в последних его словах почудилось ей легкое издевательство. Она высунула язык и, довольная тем, что акт мщения скрыт портьерой, кисло произнесла:

— Я *ужасно* рада, господин Айшер, если имею удовольствие вам угодить, — и вышла, твердо решив впредь держать сердце назаперти.

Она сошла вниз, где у плиты повар в белом колпаке уже колдовал среди облаков пара. Взяв поднос с кофе, Бетси завернула к буфетчику, капнувшему ей в крошечную, как полевой колокольчик, рюмочку огненного жидкого бархата, и понеслась к управляющему. Она решила наказать его оглушительными ударами в дверь, но, к ее удивлению, управляющий открыл тотчас, едва она стукнула.

— А! — сказал он, окидывая беглым взглядом прибор. — Что это за кислая физиономия? Дайте сюда. Я рассмотрю посуду в свете окна. Подождите. — Он удалился, двигая над кофейником пальцами, словно соля хлеб, и через минуту вышел с улыбкой, передавая поднос горничной. — Ну так помните: опрятность и чистота — лучшее украшение женщины.

Излишне говорить, что сервиз, всегда чистый, сверкал теперь ослепительно. Бетси, проворчав: «Наставляйте свою жену», — ушла и отнесла кофе в 137-й номер.

Друд, потягиваясь, прихлебывал из белой с золотом чашки. За раздвинутыми занавесями в обольстительной чистоте и свежести раннего утра сверкал перед ним яркий балкон.

«Кажется, довольно быть здесь. Уже что-то за-

ставляет прислушиваться к этим стенам».

Но легкая пыль, поднятая тайной работой, не задела его дыхания, и размышление сосредоточилось на сенсации. Хотя городские газеты обошли дело полным молчанием, он еще не знал этого. Его внутреннее зрение посетило все углы мира. Он видел, как несутся по телеграфным проволокам, в почтовых пакетах, на красных языках и в серых мозгах пучеглазые, вертлявые вести, пища от нетерпения сбыть себя как можно скорее другой проволоке, другому уму, пакету и языку, и как, людоеду подобно, жадно глотает их Легенда, окутанная дырявым плащом Путаницы, родной сестры всякой истории.

Гром грянул в обстановке и при условиях, какие неизбежно явятся началом отрицания. Места, подобные цирку, не слишком авторитетны; любое впечатление платного зрелища во времени и на расстоянии рассматривается как искусственное; улыбка и шутка — вечный его удел. Есть и будут существовать явления, призрачные без повседневности; о них выслушают и поговорят, но если они не повторятся, — веры им не более, как честному слову, однажды уже нарушенному. Событие в цирке, исказив окраску и форму, умрет смутным эхом, растерзанное все-

возможными толками на свои составные части, из коих самая главная — человек без крыльев под небом — станет басней минуты, пожертвованной досужему разговору о запредельных натуре человеческой чудесах. И, может быть, лишь какой-нибудь отсталый любитель снов, облаков и птиц задумается над страницей развязного журнала с трепетом легкой грезы, закроет книгу и рассеянно посмотрит вокруг.

«Но, если… — Друд приподнял отяжелевшую голову, устраивая подушку выше, — если я решу жить открыто, с наукой произойдут корчи. Уж я слышу тысячу тысяч докладов, прочитанных в жаркой бане огромных аудиторий. Там постараются внушить резвую мысль, что рассмотренное явление, по существу, согласно со всяческими законами, что оно есть непредвиденный аккорд сил, доступных исследованию. А в тишине кабинета, мужественно обложась грудами книг, какой-нибудь растерянный седой человек, проживший жизнь с гордо поднятой головой, в славе и уважении, станет искать среди страниц извилистую тропу, по которой можно залезть внутрь этого, сожравшего его пропитанную потом систему «аккорда», пока не убедится в тщете усилий и не отмахнется словами: «Икс. Вне нау-

ки. Иллюзия», — подобно досужему остроумцу, доказавшему что Бонапарта никогда не было».

И перед ним с ясностью напряженного зрения встал круг седобородых мужчин в мантиях и париках, которые, ухватив друг друга за языки, пытались крикнуть нечто решительное. Тогда Друд понял, что засыпает и гибнет, но этот печальный момент раненого сознания тотчас затонул в слабости; с усилием поднял он веки и, повинуясь роковой лени, снова закрыл их. В синей тьме поплыли лучистые пятна; они угасли, и лицо спящего побледнело.

Следствием всего этого было небольшое собрание праздных людей у подъезда гостиницы, откуда четыре санитара вынесли на носилках неподвижное тело, окутанное холстом. Лицо также оставалось закрытым. Управляющий, присутствуя при этой сцене, в ответ на соболезнующие вопросы сказал, что увозят больного, захворавшего неожиданно и тяжко; несчастный лишен сознания.

— Быть может, простой нервный припадок, — говорил он. — Я, впрочем, не доктор.

Тем временем больного уложили в карету, служители поместились внутри, а на козлы, к кучеру, сел бледный человек в очках, с серым ли-

цом. Он что-то шепнул кучеру. Тот, взяв полную рысь, заторопил лошадей, и карета, свернув за угол, скользнула к тюрьме.

IX

Вечером следующего дня Руна посетила министра, своего дядю по матери. Уже было одиннадцать, но Дауговет принял ее. Он выразил лишь удивление, что она, любимица, как бы нарочно выбрала такой час с целью сократить его удовольствие.

Она сказала:

— Нет, ваше удовольствие, дядя, может быть, увеличится в связи с тем, что я привезла. — И она рассмеялась, а от смеха засмеялась вся ее красота, равная откровению.

Красота красит и тех, кто созерцает ее; все ее оттенки и светы вызовут похожие на них чувства, а все вместе взволнует и осчастливит. Но еще неотразимее действует совершенство, когда оно вооружено сознанием своей силы. Только удалясь, можно бороться с ним, но и тогда ему обеспечена часть победы — улыбка задумчивости.

Поэтому, имея в виду все средства для дости-

жения цели, красавица девушка оделась как на выезд — в блестящее открытое платье, напоминавшее летний цветок. Из кружев выходили ее нежные белые плечи; обнаженные руки дышали плавностью и чистотой очертания; лицо улыбалось. В ее тонких бровях была некая милая вольность или, скорей, нервность линии, что придавало взгляду своеобразное выражение капризной откровенности, как бы говоря постоянно и всем: «Что делать, если я так невозможно, непростительно хороша? Примиритесь с этим, помните и простите».

— Дитя, — сказал министр, усаживая ее, — я старик и довожусь родным дядей, но должен сознаться, что за право смотреть на вас глазами хотя бы Галля охотно и с отвращением вернул бы судьбе свой властный мундир. Жаль, у меня нет таких глаз.

— И я не верю слепым, поэтому заговорю о вашей безошибочной, прочной любви к книгам. Вы не изменили своей привязанности?

Дауговет оживился, что случалось с ним неизменно, если затрагивали этот вопрос.

— Да, да, — сказал он, — меня заботят теперь «Эпитафии» 1748 г., изданные в Мадриде под инициалами Г. Ж.; два экземпляра проданы Верфесту

и Гроссману, я опоздал, хотя относительно одного экземпляра есть надежда: Верфест не прочь от переговоров. Однако, — он взглянул на книгу, которая была с Руной, — не фея ли ты и не драгоценность ли Верфеста с тобой?

Министр переходил на ты в тех случаях, когда хотел дать этим понять, что свободно располагает временем.

— Сознаюсь, эту сверхъестественную надежду внушило мне твое торжественное внутреннее освещение и загадочные слова о радости. Все же иногда жаль, что чудесное существует только в воображении.

— Нет, не «Эпитафии». — Руна мельком взглянула на свою книгу. — Как хотите, то, что мы с вами видели в цирке, есть чудо. Я не понимаю его.

Министр, прежде чем отвечать, помолчал, обдумывая слова, какими мог подчеркнуть свое нежелание говорить об удивительном случае и странной выходке Руны.

— Я не понимаю — что понимать? Кстати, ты испугалась, кажется, больше всех. Откровенно говоря, я жалею, что был в «Солейль». Мне неприятно вспоминать о сценах, которых я был свидетелем. Относительно самого факта, или, как ты выражаешься, «чуда», я скажу: ухищрения

цирковых чародеев не прельщают меня разбором их по существу, к тому же в моем возрасте это опасно. Я, чего доброго, раскрою на ночь Шехерезаду. Очаровательная свежесть старых книг подобна вину. Но что это? Ты несколько похудела, моя милая?

Она вспомнила, что пережила в эти два дня, одержимая желанием найти человека, запевшего под куполом цирка. В напиток, которым она пыталась утолить долгую жажду, этот старик, ее дядя, бросил яд. Поэтому лицемерие Дауговета возмутило ее; прикрыв гнев улыбкой рассеянности, Руна сказала:

— Я похудела, но причина тому вы. Я еще более похудела бы, не будь у меня в руках этой книги.

Министр поднял брови.

— Где ключ к загадкам? Объясни. Я уже делаюсь наполовину серьезен, так как ты тревожишь меня.

Девушка шутя положила веер на его руку.

— Смотрите мне в глаза, дядя. Смотрите внимательно, пока не заметите, что нет во мне желания подурачиться, что я настроена необычно. — Действительно, глаза ее сосредоточенно заблестели, а полуоткрытый рот, тронутый игрой смеха, вздрагивал с кротким и пленительным выраже-

нием. — Убедительно ли я говорю? Видите ли вы, что мне хорошо? В таком случае потрудитесь проверить, способны ли вы вынести удар, потрясение, молнию? Именно — молнию, не потеряв сна и аппетита?

В ее словах, в звонкой неровности ее голоса чудилось торжество оглушительного секрета. Молча смотрел на нее министр, следуя невольной улыбкой всем тонким лучам игры прекрасного лица Руны с предчувствием, что приступ скрывает нечто значительное. Наконец ему сообщилось ее волнение; он отечески нагнулся к ней, сдерживая тревогу.

— Но, боже мой, что? Дай опомниться! Я всегда достаточно владею собой.

— В таком случае, — важно сказала девушка, — что думаете вы о покупке Верфеста? Есть ли надежда «Эпитафиям» засиять в вашей коллекции?

— Милая, если не считать надеждой твои странные вопросы, твою экзальтацию, — нет, нет, почти никакой. Правда, я заинтересовал одного весьма ловкого комиссионера, того самого, который обменял Грею золотой свиток Вед XI столетия на катехизис с пометками Льва VI, уверив владельца, что драгоценная рукопись

приносит несчастье ее собственнику, — да, я намагнитил этого посредника вескими обещаниями, но Верфест, кажется, имеет предложения более выгодные, чем мои. Признаюсь, этот разговор глубоко волнует меня.

— В таком случае, — Руна весело вздохнула, — «Эпитафии» вам придется забыть!

— Как?! Лишь это ты сообщаешь мне, действуя почти страшно?!

— Нет, я раздумываю, не утешит ли вас что-либо равное «Эпитафиям»; что так же, как они, или еще сильнее того манит вас; над чем забылись бы вы, разгладив морщины?

Министр успокоился и воодушевился.

— Так, все ясно мне, — сказал он, — видимо, библиомания — твое очередное увлечение. Хорошо. Но с этого надо было начать. Я назову редкости, так сказать, неподвижные, ибо они составляют фамильное достояние. Истинный, но не всемогущий любитель думает о них с платоническим умилением влюбленного старца. Вот они: «Объяснение и истолкование Апокалипсиса» Нострадамуса, 1500 года, собственность Вейса; «Дон Кихот, великий и непобедимый рыцарь Ламанчский» Сервантеса, Вена, 1652 года, принадлежит Дориану Кемболу, издание целиком

сгорело, кроме одного экземпляра. Затем…

Пока он говорил, Руна, склонив голову, задумчиво водила пальцами по обрезу своей книги. Она перебила:

— Что, если бы вам подарили «Объяснение и истолкование Апокалипсиса»? — невинно осведомилась она. — Вам это было бы очень приятно?

Министр рассмеялся.

— Если бы ты, как в сказке, превратилась в фею? — ответил он, ловя себя, однако, на том, что присматривается к рукам Руны, небрежно поворачивающим свою книгу, с суеверным чувством разгоряченного охотника, когда в сумерках тонкий узор куста кажется ветвисторогой головой затаившегося оленя. — А ты достойна быть феей.

— Да, вернее — я ужилась бы с ней. Но и вы достойны владеть Нострадамусом.

— Не спорю. Дай мне его.

— Возьмите.

И она протянула редкость с простотой человека, передающего собеседнику наскучившую газету.

Министр не понял. Он взял и прищурился на кожаный переплет, затем улыбнулся светлой улыбке Руны.

— Да? Ты это читаешь? А в самом деле, обер-

нись мгновенно сей, надо думать, ученый опыт золотом Нострадамуса, я, пожалуй, окаменел бы на столько времени, на сколько, так некстати, окаменел Лот.

Без подозрения, хотя странно и тяжело сжалось сердце, откинул он переплет и увидел заглавный лист с знаменитой виньеткой, обошедшей все специальные издания и журналы Европы, — виньеткой, в выцветших штрихах которой, стиснутые столетиями, развернулись пружиной и прянули в его мозг вожделения библиофилов всех стран и национальностей. Все вздрогнуло перед ним, руки разжались, том упал на ковер, и он поднял его движениями помешанного, гасящего воображенный огонь.

— Как? — дико закричал Дауговет. — Нострадамус — и без футляра! Но, ради всех святых твоей души, — какой джинн похитил для тебя это? Боги! Землетрясение! Революция! Солнце упало на голову'!

— Голову, — спокойно поправила девушка. — Вы обещали не волноваться.

— Если не потеряю рассудок, — сказал ослабевший министр, припадая к сокровищу с помутившимся, бледным лицом, — я больше волноваться не буду. Но неужели Вейс пустил библиотеку с

аукциона?

Говоря это, он перенес драгоценность на круглый столик под лампу с бронзовым изображением Гения, целующего Мечту, и опустил свет; затем несколько овладел чувствами. Руна сказала:

— Все это — результат моего извещения Вейсу, что я прекращаю двадцатилетний процесс «Трех Дорог», чем отдаю лес и ферму со всеми ее древностями. Вейс крайне самолюбив. Какое торжество для такого человека, как он! Мне не стоило даже особого труда настаивать на своем условии; условием же был Нострадамус.

Она рассказала, как происходили переговоры — через посредника.

— Безумный, сумасшедший Вейс, — сказал министр, — его отец развелся с женой, чтобы получить первое издание гуттенберговского молитвенника; короче, он променял жену Абстнеру на триста двадцать страниц древнего шрифта и, может быть, поступил хорошо. Но прости мое состояние. Такие дни не часты в человеческой жизни. Я звоню. Ты ужинаешь со мной? Я хочу показать, что происходит в моей душе, особенным действием. Вот оно.

Он нажал звонок, вызвал из недр послушания отлично вылощенную фигуру лакея с неподвиж-

ным лицом.

— Гратис, я ужинаю дома. Немедленно распорядитесь этим. Ужин и сервиз должны быть совершенно те, при каких я принимал короля; прислуживать будете вы и Вельвет.

Смеясь, он обратился к племяннице:

— Потому что подарок, достойный короля, есть веяние державной власти, и оно тронуло меня твоими руками. А! ты задумчива?.. Да, странный день, странный вечер сегодня. Прекрасно волновать жизнь такими вещами, такими сладкими ударами. И я хотел бы, подражая тебе, свершить нечто равное твоему любому желанию, если только оно у тебя есть.

Руна, опустив руки, молча смотрела в его восторженное лицо.

— Так надо, так хорошо, — произнесла она тихо и странно, с видом вслух думающей, — веяние великой власти с нами, да будет оно отличено и озарено пышностью. И у меня — вы правы в своем порыве — есть желание; оно не материально; огромно оно, сложно и безрассудно.

— Ну, нет невозможного на земле; скажи мне. Если в отношении его ты не можешь быть Бегуэм, как было с подарком, — я стану лицом к нему, как министр и… Дауговет.

Их глаза ясно и остро встретились.

— Пусть, — сказал министр. — Поговорим за столом.

X

Так начался ужин в честь короля-Книги. Стол был накрыт, как при короле. Гербы, лилии и белые розы покрывали его на белой атласной скатерти в полном блеске люстр и канделябров, огни которых, отражаясь на фарфоре и хрустале, овевали зал вихрем золотых искр. Разговор пошел о сильных желаниях, и скоро наступил удобный момент.

— Дядя, — начала Руна, — прикажите удалиться слугам. То, что я теперь скажу, не должен слышать никто, кроме вас.

Старик улыбнулся и выполнил ее просьбу.

— Начнем, — сказал он, наливая вино, — хотя, прежде чем открыть мне свое, по-видимому, особенное желание, хорошо подумай и реши, в силах ли я его исполнить. Я министр — это много; больше, чем ты, может быть, думаешь, но в моей деятельности нередки случаи, когда именно звание министра препятствует поступить согласно собственному или чужому желанию. Если такие

обстоятельства отпадают, я охотно сделаю для тебя все, что могу.

Он оговорился из любви к девушке, отказать которой, во всяком случае, ему было бы трудно и горько, но Руне показалось уже, что он догадывается о ее замысле. Встревоженная, она рассмеялась.

— Нет, дядя, я сознаю, что своим решительным «нет» уже как бы обязываю вас; однако, беру в свидетели Бога, — единственно от вас зависит оказать мне громадную услугу, и нет вам достаточных причин отказать в ней.

Взгляд министра выражал спокойное и осторожное любопытство, но после этих слов стал немного чужим; уже чувствуя нечто *весьма* серьезное, министр внутренно отдалился, приготовляясь рассматривать и взвешивать всесторонне.

— Я слушаю, Руна; я *хочу* слышать.

Тогда она заговорила, слегка побледнев от сознания, что силой этого разговора ставит себя вне прошлого, бросая решительную ставку беспощадной игре «общих соображений», бороться с которыми может лишь словами и сердцем.

— Желанию предшествует небольшой рассказ; вам, и вероятно очень скоро, по мере того как вы

начнете догадываться о чем речь, захочется перебить меня, даже *приказать* мне остановиться, но я прошу, чего бы вам это ни стоило, выслушать до конца. Обещайте, что так будет, тогда, в крайнем, в том случае, если ничто не смягчит вас, у меня останется печальное утешение, что я отдала своему желанию все силы души, и я с трепетом вручаю его вам.

Ее волнение передалось и тронуло старика.

— Но, бог мой, — сказал он, — конечно, я выслушаю, что бы то ни было.

Она молча поблагодарила его прелестным движением вспыхнувшего лица.

— Итак, нет более предисловий. Слушайте: вчера моя горничная Лизбет вернулась с интересным рассказом; она ночевала у сестры, — а может быть, у друга своего сердца, о чем нам не пристало доискиваться, — в гостинице «Рим»...

Министр слушал с настороженной улыбкой исключительного внимания, его глаза стали еще более чужими: глазами министра.

— Эта гостиница, — продолжала девушка, выговаривая отчетливо и нервно каждое слово, что придавало им особый личный смысл, — находится на людной улице, где много прохожих были свидетелями выноса и поспешного увоза в

карете из той гостиницы неизвестного человека, объявленного опасно больным; лицо заболевшего оставалось закрытым. Впрочем, Лизбет знала от сестры его имя; имя это Симеон Айшер, из 137-го номера. Горничная сказала, что Айшер, по глубокому убеждению служащих гостиницы, есть будто бы тот самый загадочный человек, выступление которого поразило зрителей ужасом. Не так легко было понять из ее объяснений, почему Айшера считают тем человеком. Здесь замешана темная история с ключом. Я рассказываю об этом потому, что слухи среди прислуги в связи с загадочной болезнью Айшера возбудили во мне крайнее любопытство. Оно разрослось, когда я узнала, что Айшер за четверть часа до увоза или — согласимся в том — похищения был весел и здоров. Утром он, лежа в постели, пил кофе, почему-то предварительно исследованный управляющим гостиницей под предлогом, что прислуга нечистоплотна и он проверяет, чист ли прибор.

Вечером вчера ко мне привели человека, указанного одним знакомым как некая скромная знаменитость всех частных агентурных контор, — его имя я скрою из благодарности. Он взял много, но зато глубокой уже ночью доставил все

справки. Как удалось ему получить их — это его секрет; по справкам и сличению времени мне стало ясно, что больной, вывезенный из гостиницы в половине восьмого утра и арестованный, посаженный в тайное отделение тюрьмы около девяти, — одно и то же лицо. Это лицо, последовательно превратясь из здорового в больного, а из больного в секретного узника, было передано тюремной администрации в том же бессознательном состоянии, причем комендант тюрьмы получил относительно своего пленника совершенно исключительные инструкции, узнать содержание которых, однако, не удалось.

Итак, дядя, ошибки нет. Мы говорим о летающем человеке, схваченном по неизвестной причине, и я прошу вас эту причину мне объяснить. Смутно и быть может неполно я догадываюсь о существе дела, но, допуская причину реальную, то есть не известное мне преступление, я желала бы знать все. Кроме того, я прошу вас нарушить весь ход государственной машины, разрешив мне, тайно или явно — как хотите, как возможно, как терпимо и допустимо, — посетить заключенного. Теперь все. Но, дядя, — я вижу, я понимаю ваше лицо, — ответьте мне не сурово. Я еще не все сказала вам; это несказанное — о себе; я пока

стиснута ожиданием ответа и ваших неизбежных вопросов; спрашивайте, мне будет легче, так как лишь понимание и сочувствие дадут некоторое спокойствие; иначе едва ли удастся мне объяснить мое состояние. Минуту, одну минуту молчания!

Минуту… Но прошло, может быть, пять минут, прежде чем министр вернулся из страшной дали холодного ослепительного гнева, в которую отбросило его это признание, заключенное столь ошеломительной просьбой. Он смотрел в стол, пытаясь удержать нервную дрожь рук и лица, *не смея* заговорить, стараясь побороть припадок бешенства, тем более ужасный, что он протекал молча. Наконец, ломая себя, министр выпил залпом стакан воды и, прямо посмотрев на племянницу, сказал с мертвой улыбкой:

— Вы кончили?

— Да, — она слабо кивнула. — О, не смотрите на меня так…

— Надо обратить особенное внимание на все частные конторы, агентства; на все эти шайки самоявленных следопытов. Довольно. Нас хватают за горло. Я истреблю их! Руна, мои соображения в деле Айшера таковы. Будьте внимательны. Суть явления непостижима: ставим Х, но, быть

может, самый большой с тех пор, как человек *не летает*. Речь, конечно, не о бензине; бензин контролируется бензином. Я говорю о силе, способности Айшера; здесь нет контроля. Но никакое правительство не потерпит явлений, вышедших за пределы досягаемости, в чем бы явления эти ни заключались. Отбрасывая примеры и законы, займемся делом по существу.

Кто он — мы не знаем. Его цели нам неизвестны. Но известны его возможности. Взгляните мысленно сверху на все, что мы привыкли видеть в горизонтальной проекции. Вам откроется внутренность фортов, доков, гаваней, казарм, артиллерийских заводов — всех ограждений, возводимых государством, всех построек, планов, соображений, численностей и расчетов; здесь нет уже тайн и гарантий. Я беру — предположительно — злую волю, так как добрая доказана быть не может. В таких условиях преступление превосходит всякие вероятия. Кроме опасностей, указанных мной, нет никому и ничему защиты; неуловимый Некто может распоряжаться судьбой, жизнью и собственностью всех без исключения, рискуя лишь, в крайнем случае, лишним передвижением.

Явление это подлежит беспощадному каран-

тину, быть может — уничтожению. Во всем есть, однако, сторона еще более важная. Это — состояние общества. Наука, совершив круг, по черте которого частью разрешены, частью грубо рассечены, ради свободного движения умов, труднейшие вопросы нашего времени, вернула религию к ее первобытному состоянию — уделу простых душ; безверие стало столь плоским, общим, обиходным явлением, что утратило всякий оттенок мысли, ранее придававшей ему, по крайней мере, характер восстания; короче говоря, безверие — это жизнь. Но, взвесив и разложив все, что было тому доступно, наука вновь подошла к силам, недоступным исследованию, ибо они — в корне, в своей сущности — ничто, давшее Все. Предоставим простецам называть их «энергией» или любым другим словом, играющим роль резинового мяча, которым они пытаются пробить гранитную скалу…

Говоря, он обдумывал в то же время все обстоятельства странного отступления в деле Айшера, вызванного просьбой девушки. Мысленно он решил уже позволить Руне это свидание, но решил также дополнить позволение тайной инструкцией коменданту, которая придавала бы всему характер эксцентричной необходимости,

имеющей государственное значение; он сам надеялся узнать таким путем кое-что, что-нибудь, если не все.

— …гранитную скалу. Глубоко важно то, что религия и наука сошлись вновь на том месте, с какого первоначально удалились в разные стороны; вернее, религия поджидала здесь науку, и они смотрят теперь друг другу в лицо.

Представим же, что произойдет, если в напряженно ожидающую пустоту современной души грянет этот образ, это потрясающее диво: человек, летящий над городами вопреки всем законам природы, уличая их в каком-то чудовищном, тысячелетнем вранье. Легко сказать, что ученый мир кинется в атаку и все объяснит. Никакое объяснение не уничтожит сверхъестественной картинности зрелища. Оно создаст легковоспламеняющуюся атмосферу мыслей и чувств, подобную экстатическим настроениям Крестовых походов. Здесь возможна религиозная спекуляция в гигантском масштабе. Волнение, вызванное ею, может разразиться последствиями катастрофическими. Все партии, каждая на свой манер, используют этого Айшера, приводя к столкновению тьму самых противоречивых интересов. Возникнут или оживут секты; увле-

чение небывалым откроет шлюзы неудержимой фантазии всякого рода; легенды, поверья, слухи, предсказанья и пророчества смешают все карты государственного пасьянса, имя которому — Равновесие. Я думаю, что сказал достаточно о том, почему этот человек лишен свободы. Поговорим о твоем желании; объясни мне его.

— Оно сродни вашей любви к редкой книге. Все необычайное привлекает меня. Был человек, который покупал эхо, — он покупал местности, где раздавалось многократное, отчетливое, красивое эхо. Я хочу видеть Айшера и говорить с ним по причине не менее сильной, чем те, какие заставляют искать любви или совершить подвиг. Это — вне рассудка; оно в душе и только в душе, — как иначе объяснить вам? Это — я. Допустите, что живет человек, который никогда не слышал слова «океан», никогда не видел его, никогда не подозревал о существовании этой синей страны. Ему сказали: «Есть океан, он здесь, рядом; пройди мимо, и ты увидишь его». Что удержало бы в тот момент этого человека?

— Довольно, — сказал министр, — твое волнение искренно, а слова достойны тебя. Разрешение я даю, но ставлю два условия: молчание о нашей беседе и срок не более получаса; если нет возра-

жений, я немедленно напишу приказ, который отвезешь ты.

— Боже мой! — сказала она смеясь, вскакивая и обнимая его. — Мне ли ставить условия? Я на все согласна. Скорее пишите. Уже глубокая ночь. Я еду немедленно.

Министр написал пространное, подробное приказание, запечатал, передал Руне, и она, не теряя времени, поехала, как во сне, в тюрьму.

XI

Ту ночь, когда Друд всколыхнул тайные воды людских душ, Руна провела в острой бессоннице. К утру уже не помнила она, что делала до того часа, когда, просветлев от зари, город возобновил движение. Казалось ей, что она ходила в озаренных пустых залах без цели, без размышления, в том состоянии, когда мысли возникают непроизвольно, без усилий и плана, отражая пожар огромного впечатления, как брошенный с крутизны камень, сталкивая и увлекая другие камни, чужд уже движению швырнувшей его руки, низвергаясь лавиной. В сердце ее возникла цель, показавшая за одну ночь все ее силы, доныне не обнаруженные, поразившие ее самое и

легко двинувшие такие тяжести, о которых она не знала и понаслышке. Так, часто по незнанию, человек долго стоит спиной к тайно-желанному: кажется со стороны, что он дремлет или развлекает себя мелкими наблюдениями, но, внезапно повернув голову и задрожав, приветствует криком восторга чудесную близость сокровища, а затем, сосредоточив все возбуждение внутри себя, стремительно овладевает добычей. Она жила уже непобедимым видением, путающим все числа судьбы.

Подъезжая к тюрьме, Руна с изумлением вспомнила, что сделала за эти двадцать четыре часа. Она не устала; хоть лошади несли быстро, ей беспрерывно хотелось привстать, податься вперед: это как бы, так ей казалось, пришпоривало движение. Она доехала в пятнадцать минут.

«Так вот — тюрьма!» Здесь, на глухой площади, бродили тени собак; фонари черных ворот, стиснутых башенками, озаряли решетчатое окошко, в котором показались усы и лакированный козырек. Долго гремел замок; по сложному, мертвому гулу его казалось, что раз в тысячу лет открываются эти ворота, обитые дюймовым железом. Она прошла в них с чувством Роланда, рассекающего скалу. Сторож, откинув клеенчатый капюшон

плаща, повел ее огромным двором; впереди тускло блестели окна семи этажей здания, казавшегося горой, усеянной мерцающими кострами.

Дом коменданта стоял среди сада, примыкая к тюрьме. Его окна еще уютно светились, по занавесям скользили тени. Руну провела горничная; видимо, пораженная таким небывалым явлением в поздний час, она, открыв дверь приемной, почти швырнула посетительнице стул и порывисто унеслась с письмом в дальние комнаты, откуда проникал легкий шум, полный мирного оживления, смеха и восклицаний. Там комендант отдыхал в семейном кругу.

Он вышел тотчас, едва дочитал письмо. С прозорливостью крайнего душевного напряжения Руна увидела, что говорит с механизмом, действующим *неукоснительно*, но механизмом крупным, меж колес которого можно ввести тепло руки без боязни пораниться. Комендант был громоздок, статен, с проседью над крутым лбом; из его серых глаз высматривали солдат и ребенок.

Увидев Руну, он подавил волнение любопытства чувством служебной позиции, которую занимал. Несколько как бы вскользь, смутясь, он завел огромной ладонью усы в рот, выпустил их, крякнул и ровным густым голосом произнес:

— Мною получено приказание. Согласно ему я должен немедленно сопровождать вас в камеру пятьдесят три. Свидание, как вам, верно, сообщено уже господином министром, имеет произойти в моем присутствии.

— Этого я не знала. — Сраженная, Руна села, внезапно почувствовав такой прилив настойчивого отчаяния, что мгновенно вскочила, собираясь с духом и мыслями. — Я вас прошу разрешить мне пройти одной.

— Но я не могу, — сказал комендант, неприятно потревоженный в простой схеме своих движений. — Я не могу, — строго повторил он.

Бледнея, девушка тихо улыбнулась.

— Тогда я вынуждена говорить с вами подробнее. Ваше присутствие исказит мой разговор с Айшером; исчезнет весь смысл посещения. Он и я — мы знаем друг друга. Вы поняли?

Она хотела, говоря так, лишь вызвать туманную мысль о ее личном страдании. Но странным образом смысл этой тирады совпал односторонне направленному уму коменданта с желанием министра.

— Я понял, да. — Не желая дальше распространяться об этом, из боязни перейти границы официальные, он тем не менее заглянул снова

в письмо и сказал: — Вы думаете, что таким путем… — и, помолчав, добавил: — Объясните, так как я не совсем понял.

Но этого было Руне довольно. Из глубокой тени двусмысленности мгновенно скакнула к ней прозрачнейшая догадка. Она вспыхнула как мак, что, между прочим, укрепило коменданта в его к ней почтительно и глубоко затаенном презрении; ей же принесло боль и радость. Она продолжала, опуская глаза:

— Так будет лучше.

Комендант, раздумывая, смотрел на нее с сознанием, что она права; по отношению же к скупости ее объяснений остался в простоте души совершенно уверен, что, не считая его тупицей, она предоставляет понимать с полуслова. Пока он размышлял, она повторила просьбу и, заметив, как растерянно пожал комендант плечами, прибавила:

— Останется между нами. Положение исключительно; не большее исключение совершите вы.

Хотя письмо министра устраняло всякие подозрения, комендант еще колебался, удерживаемый формальной добросовестностью по отношению к словам письма «в вашем присутствии». Его лично тяготила такая обязанность, и он подумал, что

хорошо бы отделаться от навязанного ему положения, тем более что, видимо, не было никакого риска. Однако не эти соображения дали толчок его душе. *Нечто* между нашими действиями и намерениями, подобное отводящей удар руке, оказало решительное влияние на его волю. Разно именуется эта непроизвольная черта: «что-то толкнуло», «дух момента», «сам не знаю, почему так произошло» — вот выражения, какими изображаем мы лицо могущественного советчика, действующего в отношениях наших неуловимыми средствами, тем более разительными, когда действуют они противу всех доводов рассудка и чувства, чего в данном случае не было.

Он подумал еще, еще, и наконец, приняв решение, более не колебался:

— Если вы дадите мне слово… — сказал он. — Извините меня, но как ответственное лицо я обязан говорить так, — если вы дадите мне слово, что не употребите никаким образом во зло мое доверие, я оставлю вас в камере на указанный письмом срок.

С минуту, не меньше, смотрела она на него прямо и твердо, и тяжелая пауза эта придала ее словам весь вес, всю значительность нравственной борьбы, что комендант понял как изумление.

Она не опустила глаз, не изменилось ее чудное лицо, когда он услышал глубокий и гордый голос:

— В этом я даю слово. — Она не сознавала сама, чего стоило ей сказать так, лишь показалось, что внутри, будто от взрыва, обрушилось стройное здание чистоты, но над дымом и грязью блеснул чистый огонь жертвы.

— В таком случае, — сказал после короткого молчания комендант, — прошу вас следовать за мной.

Он надел фуражку и направился через дверь, противоположную той, в какую вошла Руна. Они вышли в поворот ярко освещенного коридора; он был прям, длинен, как улица, прохладен и гулок. В его конце была решетчатая железная дверь; часовой, зорко блеснув глазами, двинул ключом; звук металла прогремел в безднах огромного здания грозным эхом. За этой дверью высился, сквозь все семь этажей, узкий пролет; по этажам с каждой стороны тянулись панели, ограждаемые железом перил. На равном расстоянии друг от друга панели соединялись стальными винтовыми лесенками, дающими сообщение этажам. Ряды дверей одиночных камер тянулись вдоль каждой галереи; все вместе казалось внутренностью гигантских сот, озаренной неподвижным

электрическим светом. По панелям бесшумно расхаживали или, стоя на соединительных мостиках, смотрели вниз часовые. На головокружительной высоте стеклянного потолка сияли дуговые фонари; множество меньших ламп сверкало по стенам между дверей.

Руна никогда раньше не бывала в тюрьме; тюрьма уже давила ее. Все поражало, все приводило здесь к молчанию и тоске; эта чистота и отчетливость беспощадно ломали все мысли, кроме одной: «тюрьма». Асфальтовые, ярко натертые панели блестели, как лужи; медь поручней, белая и серая краска стен были вычищены и вымыты безукоризненно: роскошь отчаяния, рассчитанного на долгие годы. Она живо представила, что ей не уйти отсюда; кровь стукнула, а ноги потяжелели.

— Это не так близко, — сказал комендант, — еще столько же осталось внизу, — и он подошел к повороту; открылась галерея, подобная пройденной. По ее середине крутая спираль стального трапа вела в нижний этаж. Здесь они прошли под сводчатым потолком подвального этажа к самому концу здания, где, за аркой, в поперечном делении коридора были так называемые «секретные» камеры. У одной из них комендант

круто остановился. Завидя его, от окна с табурета поднялся вооруженный часовой; он взял руку под козырек и отрапортовал.

— Откройте 53-й, — сказал комендант.

С суетливостью, изобличавшей крайнее, но молчаливое изумление, часовой привел в движение ключ и запор. Затем он оттянул тяжелую дверь.

— Пожалуйте, — обратился комендант к Руне, пропуская ее вперед; она и он вошли, и дверь плотно закрылась.

Руна видела обстановку камеры, но не сознавала ее, а припомнила лишь потом. На кровати, опустив голову, сидел человек. Его ноги и руки были в кандалах; крепкая стальная цепь шла от железного пояса, запертого на талии, к кольцу стены.

— Что же, меня хотят показывать любопытным? — сказал Друд, вставая и гремя цепью. — Пусть смотрят.

— Вам разрешено свидание в чрезвычайных условиях. Дама пробудет здесь двадцать минут. Такова воля высшей власти.

— Вот как! Посмотрим. — Лицо Друда, смотревшего на Руну, выражало досаду. — Посмотрим, на что еще вы способны.

Комендант смутился; он мельком взглянул на бледное лицо Руны, ответившей ему взглядом спокойного непонимания. Но он понял уже, что Друд не знает ее. В нем прянули подозрения.

— Я вижу, вы не узнаете меня, — значительно и свободно произнесла Руна, улыбнувшись так безмятежно, что едва скрыл улыбку и комендант, уступив самообладанию. — Но этот свет… — Она вышла на середину камеры, откинув кружево покрывала. — Теперь вы узнали? Да, я — Руна Бегуэм.

Друд понял, но из осторожности не сказал ничего, лишь, кивнув, сжал вздрогнувшую холодную руку. Камень кольца нажал его ладонь. Комендант, сухо поклонясь девушке, направился к двери; на пороге он задержался:

— Я предупреждаю вас, 53-й, что вы не должны пользоваться кратким преимуществом положения ни для каких целей, нарушающих тюремный устав. В противном случае будут приняты еще более строгие меры вашего содержания.

— Да, я не убегу за эти двадцать минут, — сказал Друд. — Мы понимаем друг друга.

Комендант молча посмотрел на него, крякнул и вышел. Дверь плотно закрылась.

Теперь девушка без помехи, в двух шагах от

себя могла рассматривать человека, внушившего ей великую мечту. Он был в арестантском костюме из грубой полосатой фланели; спутанные волосы имели заспанный вид; лицо похудело. Глубоко ушли глаза; в них пряталась тень, прикрывающая непостижимое мерцание огромных зрачков, в которых, казалось, движется бесконечная толпа, или ходит, ворочая валами, море, или просыпается к ночной жизни пустыня. Эти глаза наваливали смотрящему впечатления, не имеющие ни имени, ни мерила. Так, может быть, смотрит кролик в глаза льва или ребенок — на лицо взрослого. Руну охватил холод, но гибкая душа женщины скоро оправилась. Однако все время свидания она чувствовала себя как бы под огромным колоколом в оглушительной власти его вибрации.

— Глухая ночь, — сказал Друд. — Вы — здесь — по разрешению? Кто вы? Зачем?

— Будем говорить тише. У нас мало времени. Не спрашивайте, я скажу сама все.

— Но я вам еще не верю, — Друд покачал головой. — Все это необыкновенно. Вы слишком красивы. Быть может, мне устраивают ловушку. Какую? В чем? Я не знаю. Люди изобретательны. Но — торопитесь говорить; я не хочу давать вам

времени для тайных соображений лжи.

— Лжи нет. Я искренна. Я хочу сделать вас снова свободным.

— Свободным, — сказал Друд, переступая к ней, сколько позволяла цепь. — Вы употребили не то слово. Я свободен всегда, даже здесь. — Беззвучно шевеля губами, он что-то обдумывал. — Но здесь я больше не хочу быть. Меня усыпили. Я проснулся — в железе.

— Мне все известно.

— Внимание! Я слушаю вас!

Руна высвободила из складок платья крошечный сверток толщиной в карандаш и разорвала его. Там блестели два жала, две стальные тонкие, как стебелек, пилки — совершенство техники, обслуживающей секретные усилия. Эти изделия, закаленные сложным способом, употребляемым в Азии, распиливали сталь с мягкостью древесины, ограничивая дело минутами.

— Их я достала случайно, почти чудом, в последний час как выехать; лицо, вручившее их, заверило, что нет лучшего инструмента.

Друд взял подарок, смотря на Руну так пристально, что она смутилась.

— Беру, — сказал он, — благодарю — изумлен, — и стало мне хорошо. Кто вы, чудесная гостья?

— Я принадлежу к обществу, сильному связями и богатством; все доступно мне на земле. Я была в цирке. С этого памятного вечера — знайте и разрастите в себе то, что не успею сказать, — прошло две ночи; они стоят столетия. Я пришла к вам, как к силе необычайной; судьба привела меня. Я — из тех, кто верит себе. У меня нет мелких планов, тщедушных соображений, нет задних мыслей и хитрости. Вот откровенность… на которую вы вправе рассчитывать. Я хочу узнать вас в нестесненной и подробной беседе, там, где вы мне назначите. Я — одна из сил, вызванных вами к сознанию; оно увлекает; цель еще не ясна, но огромна. Может быть также, что у вас есть цели, мне не известные: все должно быть сказано в следующей беседе. Для многого у меня сейчас нет выражений и слов. Они явятся. Главное — это знать, где найти вас.

Она разгорелась, — медленно, изнутри, — как облако, уступающее, мгновение за мгновением, блеску солнца. Ее красота нашла теперь высшее свое выражение — в позе, девственно-смелом взгляде и голосе, звучащем неотразимо. Казалось, пронеслись образы поэмы, выслушанной в мрачном уединении; все тоньше, все лучезарнее овладевают они душой, покоряя ее яркому во-

площению прелестных тайн духа и тела; и Друд сознал, что в том мире, который покинул он для мира иного, не встречалось ему более гармонической силы женского ликования.

Снова хотела она заговорить, но Друд остановил ее взмахом скованных рук.

— Тогда это вы, — уверенно сказал он, — вы — и никто другой — крикнули мне. Я не расслышал слов. Руна Бегуэм — женщина, несущая освобождение с такой смелостью, — может потребовать за это все, даже жизнь. Хотя есть нечто более важное. Но время уходит. Мы встретимся. Я утром исчезну, а вечером буду у вас; эти цепи, делающие меня похожим на пса или буйного сумасшедшего, — единственная помеха, но вы рассекли ее. О! Меня стерегут. Особо приставленный часовой всегда здесь, у двери, с приказом убить, если понадобится. Но — что вы задумали? Одно верно: стоит мне захотеть — а я знаю тот путь, — и человечество пошло бы все разом в страну Цветущих Лучей, отряхивая прошлое с ног своих без единого вздоха.

— Все сделав, узнав все, что нужно, я ухожу, но не оставляю вас. Уходите. Прощайте!

— Бог благословит вас, — сказал Друд, — это вне благодарности, но в сердце моем.

Он улыбнулся, как улыбаются всем лицом, если улыбка переполнила человека. Не в состоянии протянуть одну руку, он протянул обе — связанные и разделенные цепью наручников; обе руки протянула и Руна. Он сжал их, мягко встряхнув, и девушка отошла.

Тут же, — как если бы они угадали срок, — дверь скрипнула и открылась; на пороге встал комендант, пряча часы:

— Время прошло, я провожу вас.

Руна кивнула, вышла и тем же путем вернулась к своему экипажу.

Когда долго смотришь на ярко горящую печь, а затем обращаешь взор к темноте — она хранит запечатленный блеск углей, воздушное их сияние. Отъезжая, среди зданий и улиц Руна не переставала видеть тюрьму.

XII

Кто бодрствует в спящем доме, сон, окружая его, обволакивает и давит. Этот чужой сон подобен течению, в котором стоит человек, сопротивляющийся силе воды. Оно подталкивает, колышет, манит и увлекает; переступи шаг, и ты уже отнесен несколько. «Они спят, — думает бодр-

ствующий. — Все спят», — зевая, говорит он, и лениво-завистливая мысль эта, повторяясь множество раз представлениями уютной постели, нагнетает оцепенение. Члены тяжелы и чувствительны; движения рассеянны; утомленное сознание бессвязно и ярко бродит — где попало и как попало: то около скрипа подошвы, шума крови в висках, то заведет речь о вечности или причине причин. Голова держится на шее — это становится ясно от ее тяжести, а глаза налиты клеем; хочется задремать, перейти в то любопытное и малоисследованное состояние, когда сон и явь замирают в усилии взаимного сладкого сопротивления.

Стук, взламывающий такое состояние, не говорит ничего уму, только — слуху; если он повторится — дремота уже прозрачнее; в туманно-вопросительном настроении человек настраивает внимание и ждет нового стука. Когда он услышит его — сомнения нет; это — стук — там или там, некий безусловный акт, требующий ответного действия. Тогда, вздрогнув и зевнув, человек возвращается к бытию.

Тот стук, которому ответил глубокий вздох присевшего на табурет часового, раздался изнутри особо охраняемой камеры. Часовой выпрямил-

ся, поправил кожаный пояс с висевшим на нем револьвером и встал. «Может быть, больше не постучит», — отразилось в его сонном лице. Но снова прозвучал стук — легкий и ровный, обезличенный эхом; казалось, стучит из всех точек своих весь коридор. И в стуке этом был интимный оттенок — некое успокоительное подзывание, подобное киванию пальцем.

Часовой, разминаясь, подошел к двери.

— Это вы стучите? Что надо? — сурово спросил он.

Но не сразу послышался изнутри ответ; казалось, узник сквозь железо и доски смотрит на часового как в обычной беседе, медля заговорить.

— Часовой! — послышалось наконец, и тень улыбки померещилась часовому. — Ты не спишь? Открой дверное окошко. Как и ты, я тоже не сплю; тебе скучно; так же скучно и мне; меж тем в разговоре у нас скорее побежит время. Оно застряло в этих стенах. Нужно пропустить его сквозь душу и голос да подхлестнуть веселым рассказом. У меня есть что порассказать. Ну же, открой; ты увидишь кое-что приятное для тебя!

Оторопев, часовой с минуту гневно набирал воздух, надеясь разразиться пальбой ярких и

грозных слов, но не пошел далее обычной фразеологии, хотя все же повысил голос:

— Не разговаривать! Зачем по пустякам беспокоите? Вы пустяки говорите. Запрещено говорить с вами. Не стучите больше, иначе я донесу старшему дежурному.

Он умолк и насторожился. За дверью громко расхохотался узник, — казалось, рассмеялся он на слова не взрослого, а ребенка.

— Ну, что еще? — спросил часовой.

— Ты много теряешь, братец, — сказал узник. — Я плачу золотом. Любишь ты золото? Вот оно, послушай.

И в камере зазвенело, как будто падали на кучу монет монеты.

— Открой окошечко; за каждую минуту беседы я буду откладывать тебе золотой. Не хочешь? Как хочешь. Но ты можешь разбогатеть в эту ночь.

Звон стих, и скоро раздалось вновь бархатное глухое бряцание; часовой замер. Наблюдая его лицо со стороны, подумал бы всякий, что, потягивая носом, внюхивается он в некий приятный запах, распространившийся неизвестно откуда. Кровь стукнула ему в голову. Не понимая, изумляясь и раздражаясь, он предостерегающе постучал в дверь ключом, крикнув:

— Эй, берегитесь! В последний раз говорю вам! Если имеете спрятанные деньги — объявите и сдайте; нельзя деньги держать в камере.

Но его голос прозвучал с бессилием монотонного чтения; сладко заныло сердце; рой странных мыслей, подобных маскам, ворвавшимся в напряженно улыбающуюся толпу, смешал настроение. В нем начал засыпать часовой, и хор любопытных голосов, кружа голову, жарко шепнул: «Смотри, слушай, узнай! Смотри, слушай, узнай!» Едва дыша, переступил он на цыпочках несколько раз возле двери в нерешительности, смущении и волнении.

Вновь раздался тот же ровный, мягко овладевающий широко раскрывшей глаза душой голос узника:

— Надо, ты говоришь, сдать деньги начальству? Но как быть с полным мешком золота? И это золото — не то; не совсем то, каким ты платишь лавочнику. Им можно покупать все и везде. Вот я здесь; заперт и на цепи, как черный злодей, я — заперт, а мое золото всасывает сквозь стены эти чудесные и редкие вещи. Загляни в мое помещение. Его теперь уже трудно узнать; устлан коврами пол, огромный стол посреди: на нем — графины, бутылки, кувшины, серебряные кубки

и вызолоченные стаканы; на каждом стакане — тонкий узор цветов, взятый как сновидение. Они привезены из Венеции; алое вино обнимается в них с золотыми цветами. На скатерти в серебряных корзинах лежит пухлый, как заспанная щека, хлеб; вишни и виноград, рыжие апельсины и сливы, подернутые сизым налетом, напоминающим иней. Есть здесь также сыры, налитые золотым маслом, испанские сигары; окорок, с разрезом подобным снегу, тронутому земляничным соком; жареные куры и торт — истинное кружево из сластей, — залитый шоколадом, — но все смешано, все в беспорядке. Уже целую ночь идет пир, и я — не один здесь. Мое золото всосало и посадило сюда сквозь стены красавиц девушек; послушай, как звенят их гитары; вот одна звонко смеется! Ей весело — да, она подмигнула мне!

Как издалека, тихо прозвенела струна, и часовой вздрогнул. Уже не замечал он, что стоит жарко и тяжело дыша, всем сердцем перешагнув за дверь, откуда долетал смех, рассыпанный среди мелодий невидимых инструментов, наигрывающих что-то волшебное.

— Матерь Божия, помоги! — трясущимися губами шептал солдат. — Это я очарован; я, значит, пропал!

Но ни заботы, ни страха не принесли ему благочестивые мысли; как чужие возникли и исчезли они.

— Открой же, открой! — прозвучал женский голос, самый звук которого рисовал уже всю прелесть и грацию существа, говорящего так нежно и звонко.

В забвении часовой протянул руку, сбросил засов и, откинув черное окошечко двери, заглянул внутрь. Туман ликующей пестроты залил его; там сияли цветы и лица очаровательные, но что-то мешало ясно рассмотреть камеру, — как бы сквозь газ или туман. Вновь ясно отозвались струны — выразили любовь, тоску, песню, вошли в душу и связали ее.

— Стой, я сейчас, — сказал часовой, отмыкая дверь трясущейся рукой; но не он сказал это, а тот, кто был убит в нем колесом жизни, — воскресший мертвец — Дитя-Гигант веселой Природы.

— Это вы что делаете? — бормотал часовой входя. — Это нельзя, я, так и быть, посижу тут; однако перестаньте буянить.

Тогда повел он глазами, и тяжело грохнулась на него серая тюремная пустота; как ветер, разорвав дым, показывает за исчезновением беглых и странных форм обычную перспективу крыш, так

часовой вдруг увидел пустую койку, с обрывком цепи над ней и рассвет в железной решетке — ни души; он был и стоял один.

Нырнув над головой часового в открытую дверь, Друд скользнул под потолком гигантского коридора и, зигзагом огибая углы, пронесся, минуя несколько винтовых лестниц, в главный пролет тюремного корпуса. У него не было плана; он мчался, следуя развертывающейся пустоте. Здесь он посмотрел вверх и нашел выход, выход — вверху, единственный прямой выход Друда. Он взлетел с силой, давшей его движениям ту темную черту в воздухе, какая подобна быстрому взмаху палкой. Часовой третьего этажа присел; на пятом этаже другой часовой отшатнулся и прижался к стене; вся кровь хлынула от его лица в ноги. Они закричали потом. Почти одновременно с судорожными движениями их Друд, закрыв голову руками, пробил стеклянный свод замка, и освещенная крыша его понеслась вниз, угасая и суживаясь по мере того как он овладевал высотой. Осколки стекол, порхая в озаренную глубину пролета, со звоном раздробились внизу; но быстрее падения стекла беглец был на вышине в двадцать раз большей.

Наконец он остановился, дыша с хрипом и

болью, так как сдержал дыхание, без чего провизжавший в ушах его ветер мог разорвать сердце. Он посмотрел вниз. Немного огней было там — разбросанных, мерцающих, редких; и тьма тихо ступила на них черной ногой.

Друд распилил наручники, затем кандалы и пояс; затем бросил железо. Посвистывая, оно пошло вниз, он же сказал вдогонку: «Ты пригодишься там на заплаты!» Подарок этот, удаляясь со скоростью, возрастающей в арифметической прогрессии, воя и гудя как снаряд, дошел до тюрьмы. И раздробил дымовую трубу.

XIII

На утро другого дня дрогнули и упали три сердца. Часовой бежал; комендант подал в отставку; министр стиснул, вне себя, руки. Гром раздробил тюрьму.

— Погреб Ауэрбаха, — сказал наконец министр. — Не будет веры тому; тюрьма и так — сказка для многих.

Он рассчитал верно: недоказанное не существует; невероятное, рассказанное солдатами, подтверждает их репутацию, в основе которой издавна лежит суп из топора, а также срубленные

в безмерном числе головы неприятеля. Министр, обвиняя Руну, поехал к ней, с ужасом ожидая, как встретятся его глаза с глазами девушки, отныне непостижимой. Но ему сказали, что ее нет; в конце недели она вернется из внезапной поездки.

Когда он отъехал, Руна посмотрела в окно. Его карета, казалось, скользит подавленно и угрюмо среди бешеного движения улиц. Со спокойной застывшей совестью Руна отошла от окна и стала играть с собакой.

Этот день она считала днем перелома жизни, ожидая наступления вечера с спокойствием отчетливой цели. Она стала особенно внимательна к себе и окружающему; подолгу смотрела в зеркало, неторопливо выбрала платье; часто, остановясь, в рассеянности рассматривала задевший внимание случайный предмет, как будто хотела ввести его в связь с тем, что переживала. Время от времени ей подавали визитные карточки; она бросала их в бронзовую корзину, отвечая: «Я не совсем здорова». Время тянулось медленно, но ей не было скучно. В будуаре она присела к письменному столу; на углу бумаги, задумавшись, нарисовала лицо, смотрящее с улыбкой из-за решетки. Затем она открыла дневник — золотообрезанный том в рельефных крышках

старого серебра и, внимательно перелистав все там написанное, перечеркнула страницы карандашом; на первой же следующей за текстом чистой странице поставила единственную резкую строку: «17 мая 1887–23 июня 1911 г. — ничего не было».

Тем вывела она за дверь и выбросила всю свою жизнь — от детского лепета до страшного дня в «Солейль» — ради первого ожидания.

День проходил тихо. Так отдавшийся, сидя в лодке, течению человек спокоен и уронил весла, но движется — и в душе прибыл уже — куда плывет и поворачивает течение; к цели несет оно.

Как смерклось, — после обеда, тронутого ею весьма прихотливо, не в пример жажде, которую она время от времени успокаивала водой и чаем с вином, — лакей подал еще карточку. На этот раз она сказала: «Просите», — без беспокойства, но с напряжением, выраженным улыбкой.

XIV

Лакей ввел коменданта.

Еще не прошло суток, но его лицо выглядело таким, как если бы он перенес горе. Тяжело, прямыми солдатскими шагами приблизился он,

смотря в лицо Руны, остановясь шагах в пяти от девушки, темные глаза которой по-детски свободно и мягко встретили его появление. Он поклонился, выпрямился, взял поданную руку, автоматически сжал ее, отпустил и сел против хозяйки. Все это проделал он как бы в темпе внутреннего ровного счета.

— Я пришел, — начал он и продолжал громче, — принести безмерную благодарность. — Комендант помолчал. — Все вышло так странно. Но о том не берусь судить. — Встав, он отвесил второй поклон, и невольная, видимо, бессознательная улыбка чрезвычайного довольства сверкнула под полуседыми его усами — на мгновенье; после чего лицо вновь отвердело, словно улыбнулся он про себя, беседуя сам с собой. — Да, этот день мне не забыть. Вся жизнь, — моя и детей моих, — спасена, устроена, обеспечена. Я могу не служить. Но есть обстоятельство. Я допустил вас к свиданию *без меня*, согласно просьбе вашей, не прося, не требуя ничего. Прошу подтвердить это.

— Но я не понимаю. — Руна свела брови, давая понять легким движением руки, что речь посетителя изумила ее. — Нас не подслушивают, и я прошу говорить ясно. Подтвердить мне легко, — да, благодарю, вы навсегда обязали меня.

— Теперь положение изменилось. Я обязан вам, или если вы не соглашаетесь думать так, скажу, что мы квиты.

Он разгладил усы, устремил рассеянный взгляд на диадему в волосах Руны и поймал в блеске алмазов отсвет *своего* счастья, что снова вдохновило его.

— Произошло это в три часа дня. Я хотел закрыть окно в кабинете; мой взгляд упал на стол, где лежал приказ о лишении меня должности по причине, о которой догадаться нетрудно. Я пять часов пробыл на допросе и очень устал. Что мог я сказать им? Человек пробил крышу и улетел, — но, согласитесь, — какое же это объяснение? Верить сам происшествию не могу и, считая обстоятельство невыясненным, складываю оружие своего ума. Что объяснить? Как понять? Чему верить? Загадочная история. Простите, я отвлекся. Итак, под бумагой лежал плоский шерстяной мешок, весом тридцать два фунта, полный золотых монет, запечатанных столбиками в белую бумагу синим сургучом. Кроме того, был там замшевый кошель с завалившимися в угол его тремя бриллиантами, весом всего сто десять карат. Не оставляло сомнений, что подарок предназначался мне, так как при нем оказалась

записка — вот она. — Комендант подал, дернув из обшлага небольшой обрывок, на котором, крупно и небрежно написанное, стояло: «Будьте свободны и вы».

Руна прочла, вернула; ее изумление стихло благодаря верной догадке. Комендант продолжал:

— Так. Это чудо, конечно, из ваших рук. Сто десять карат. Считая стоимость их упавшей ныне, по курсу получаю двести пятьдесят тысяч плюс тридцать пять золотом, всего триста тысяч, то есть почти треть миллиона. Я сделал эти вычисления ночью, так как не спал. Простите мне их. Они есть результат минувших сильных волнений.

— Это не я, — сказала Руна, смеясь и радуясь, что человек счастлив. — Однако знайте, что, не случись этого, я сделала бы для вас все.

Комендант, мигая, пристально посмотрел на нее, улыбнулся, порозовел и протянул руку, с блеском в глазах, заставлявшим думать, что соленая вода есть и в его сердце.

— Извините, что я первый протягиваю вам, даме и девушке, свою руку; это не принято, но мне надо пожать вашу. Я верю всегда, если говорят, смотря прямо в глаза. Я рад, что так. Теперь я совсем спокоен — между нас не было тени.

Она подала руку, но вспомнила свою ложь и отвернула лицо.

— Тень была, — сказала она, — но только во мне. Меж нас не было тени. Прощайте. Лучше нам уж не сказать, чем сказано, — виной хорошему — вы. Идите, будьте счастливы и знайте, что осколки стекла могут стать бриллиантами, если на них взглянет тот, кто ушел так странно от вас.

Гость встал, поднес к губам нервную душистую руку, повернулся и вышел, как пришел, смотря прямо перед собой. Руна, отведя портьеру, взглядом проводила его. Он скрылся, и она вернулась к себе.

XV

Стемнело, но она не выразила ожидания беспокойством, тоской и не поднималась наверх. Она знала, — знанием, доныне необъяснимым, — что Друд явится наверх; знала также, что он уведомит ее о своем появлении каким-то свойственным ему образом. Устав ждать, она села в ярко освещенной гостиной, читая книгу.

Как странно лелеять что-либо еще не наступившее всей правдой души, видя и предвосхищая то в книге, говорящей о постороннем! На тайном

языке написана в мгновения те книга, какая бы ни была она; ее текст, пышная и тонкая аргументация и живописное действие спят неподвижно. *Свое* плавает по строкам, выжженным напряжением, оставляя зрению линии и скачки знаков, отныне — неведомых. Лишь изредка встанет ясным какое-нибудь одно слово, но тем сильнее кидается прочь стиснутая душа, подобно изменнику, очнувшемуся для чести. Как то пропадает, то послышится вновь стук часов, так временно может стать внятным текст, но скоро позовет хлынувшая волна тоски откинуться, закрыв глаза, к близкому будущему, призывая его стоном сердцебиения.

Долог такой день, и метит он человека вечным клеймом. Читая или, вернее, держа на коленях книгу, сама же смотря дальше ее, Руна провела так час и другой; на половине же третьего вверху неведомый музыкант начал играть рапсодию; остановился и заиграл вновь. Тогда все вернулось на свое место, ярче сверкнул свет, громче стал уличный шум и, удерживаясь, чтобы не бежать, девушка поднялась наверх.

Из дальней двери выбегал в сумерки на озаренный ковер свет. Свет пересекала тень человека. Руна остановилась, забыв все, что хотела сказать,

но, сжав руки, не пошла далее, пока не овладела собой.

Ей скоро удалось это; она вошла, и к ней, всматриваясь, с улыбкой подошел Друд. Он был в черном простом костюме, как человек самый обыкновенный; проще и тверже, чем в первый раз, чувствовала себя девушка, хотя, как и в тюрьме, на границе мира ошеломляющего. Однако в состояниях нам доступных есть спасительная слепая черта — ничего не видно за ней: туман, от него вбегаем мы в озаренный круг текущего действия.

Друд сказал:

— Не сомневались ли вы? Если меня зовут, я прихожу неизменно; я пришел, зажег свет и играл.

Руна жестом усадила его и медленно опустилась сама, не смотря никуда больше, как только в его глаза, взглядом ночного путника, отметившего далекий огонь. С невольной и простой силой она сказала:

— Как я ждала — я, не ждавшая никогда!

— И мы — вместе, — продолжал он, так как это хотела она прибавить. — Руна, я много думал о вас. Оставим *не* главное; о *главном* надо говорить сразу, или оно заснет, как волна, политая с ко-

рабля маслом. Я пришел узнать и выслушать вас; я ждал этого дня. Да, я ждал его, — с раздумьем повторил он, — потому что нашел красивую силу. Не должно быть меж нас стеснения; пусть наше внутреннее объятие будет легко. Говорите, я слушаю.

Она встала, протянув руки и бледнея, как от удара; удар прогремел в ней.

— Клянусь, день этот равен для меня воскресению или смерти.

И Галль молнией черкнул по ее душе. Она не понимала еще, что значит внезапно возникший его образ. В ней встало подлинное вдохновение власти — ненасытной, подобной обвалу. В забытьи обратилась она к себе: «Руна! Руна!» — и, прошептав это как Богу, села с улыбкой, вырезавшей на чудном ее лице отражение всего состояния.

В этот момент вошел белый водолаз с человеческими глазами; устремив их на Друда, он потянул носом, завыл и стал, пятясь, дрожать.

Друд тихо сказал:

— Ложись. Лежи и слушай.

Тогда, словно поняв слова, великан кротко повалился набок меж Руной и ним, свесив язык.

— Я думал о вас много и *хорошо*, — сказал Друд.

Уже по внешности обычно-спокойная, она рассматривала его лицо; остановилась на беспечной линии рта, решительном выражении подбородка, темных усах, массивном лбе, полном высокой тяжести, и заглянула в глаза, где, темнея и плавясь, стояло недоступное пониманию. Тогда, во время не большее, чем разрыв волоска, все веяние и эхо сказок, которым всегда отдаем мы некую часть нашего существа, вдруг, с убедительностью близкого крика, глянули ей в лицо из страны райских цветов, разукрашенной ангелами и феями, хором глаз, прекрасных и нежных. Схватив веер, она резко сложила его; свист перламутра отогнал странное состояние. Она сказала:

— Вам нужно овладеть миром. Если этой цели у вас еще нет — она рано или поздно появится; лучше, если *теперь* вы согласитесь со мной. Итак, я представляю: не в цирке или иных случаях, рожденных капризом, но с полным сознанием великой и легкой цели вы заявите о себе долгим воздушным путешествием, с расчетом поразить и увлечь. Что было в цирке — будет везде. Америка очнется от золота и перекричит всех; Европа помолодеет; исступленно завоет Азия; дикие племена зажгут священные костры и поклонятся неизвестному. Пойдет гром и гул; станут прави-

лом бессонные ночи, а сумасшедшие в заточении своем начнут бить решетки; взрослые превратятся в детей, а дети будут играть в *вас*.

Если теперь, пока ново еще явление, клещи правительств не постеснялись бы раздавить вас, то после двух-трех месяцев всеобщего исступления вы станете под защиту общества. Возникнут надежды безмерные. Им отдадут дань все люди странного уклона души, — во всех сферах и примерах дел человеческих. А вас некоторое время снова не будет видно, пока не разлетится весть, где вы находитесь.

Согласно вашему положению, цели и характеру впечатления, вы должны будете повести образ жизни, действующий на воображение — центральную силу души. Я найду и дам деньги. Комендант знает о вашем богатстве, но оно может оказаться ничтожным. Поэтому гигантский дворец на берегу моря ответит всем ожиданиям. Он должен вмещать толпы, процессии, население целого города, без тесноты и с роскошью, полной светлых красок, — дворец, высокий как небо, с певучей глубиной царственных анфилад.

Тогда начнут к вам идти, чтобы говорить с вами, люди всех стран, рас и национальностей. «Друд» будет звучать как «воздух», «дыхание».

Странники, искатели «смысла» жизни, мечтатели всех видов, скрытные натуры, разочарованные, страдающие сплином или тоской, кандидаты в самоубийцы, неуравновешенные и полубезумные, нежные — с детской религией цветов и птичек, добросовестные ученые, потерпевшие от всяческих бедствий, предприниматели и авантюристы, изобретатели и прожектеры, попрошайки и нищие — и женщины, легионы женщин, с пораженным зрением и с взрывом восторгов, которых в жизни обычной им негде выразить. И то будет ваша великая армия.

Одновременно со всем тем у вас появятся сторонники, агенты и капиталы со слепым к вам доверием: самые разнообразные, противоречащие друг другу цели постараются сделать вас точкой опоры. Газеты в погоне за прибылью будут печатать все — и то, что сообщите им вы, и то, что сочинят другие, превосходя, быть может, нелепостью измышлений весь опыт прежних веков. Вы же напишете книгу, которая будет отпечатана в количестве экземпляров, довольном, чтобы каждая семья человечества читала ее. В той книге вы напишете о себе, всему придав тот смысл, что тайна и условия счастья находятся в воле и руках ваших, — чему поверят все, так как

под счастьем разумеют несбыточное.

После этого к вам явится еще больше людей, и вы будете говорить с ними, появляясь внезапно. Самые простые слова ваши произведут не меньшее впечатление, как если бы заговорил каменный сфинкс. И из ничего, из пустой фразы, лишенной непрямого значения, вспыхнут легендарные обещания, катящиеся лавиной, опрокидывая *старое* настроение.

Старое настроение говорит: «Игра и упорство». *Новое* настроение будет выражаться словами: «Чудо и счастье». Так как до сих пор задача счастья не решена доступными средствами, ее захотят решить средствами недоступными, и решение возложат на вас. Меж тем в клубах вашего имени, в журналах, газетах и книгах, отмечающих ваш каждый шаг, каждое ваше слово и впечатление, в частных разговорах, соображениях, спорах, вражде и приветственных криках заблудится та беспредметная вера, которую так давно и бездарно ловят посредством систем, заслуживающих лишь грустной улыбки.

Тогда без динамита, пальбы и сложных мозговых судорог постоянное, ровное сознание разумного чуда — в лице вашем — сделает всякую власть столь шаткой, что, при первом же

ясно выраженном условии: «Я — или они», земля скажет: «Ты». Ничто не остановит ее. Она будет думать, что овладевает блестящими крыльями.

Девушка умолкла, вся ликуя и светясь; стальное, но и прекрасное — во всей силе одушевлявших ее гигантских расчетов — выражение не покидало ее лица, но тише, медленнее прозвучали последние слова Руны. Тогда поняла она, что Друд внутренне отвернулся и что ее слова отброшены ей назад с равной им силой. Ее нервы ломались, еще не успела она почувствовать всю силу удара, как раздалось резкое и холодное:

— Нет.

Он продолжал:

— Мне следовало остановить вас. Слушайте. Без сомнения, путем некоторых крупных ходов я мог бы поработить всех, но цель эта для меня отвратительна. Она помешает жить. У меня нет честолюбия. Вы спросите — что мне заменяет его? Улыбка. Но страстно я привязан к цветам, морю, путешествиям, животным и птицам; красивым тканям, мрамору, музыке и причудам. Я двигаюсь с быстротой ветра, но люблю также бродить по живописным тропинкам. Охотно я рассматриваю книгу с картинками и доволен, когда, опустясь ночью на пароход, сижу в кают-компании, вы-

зывая недоумение: «Откуда этот, такой?» Но я люблю все. Мне ли тасовать ту старую истрепанную колоду, что именуется человечеством? Не нравится мне эта игра. Но укажите узор *моего мира*, и я изъясню вам весь его сложный шифр. Смотрите — там тень, ее отбрасывают угол стола, кресло и перехват портьеры; абрис условного существа человеческих очертаний, но со складкой нездешнего выражения. Уже завтра, когда тень будет забыта, *одна* мысль, равная ей и ею рожденная, начнет жить бессмертно, отразив для несосчитанно малой части будущего некую свою силу, явленную теперь. Розы, что разделяют нас, начинают распускать лепестки, — почему? Недалек рассвет, и им это известно. Перед тем как проститься, скажу вам, каких я ожидал от вас слов. Вот эти неродившиеся дети, вот их трупики; схороните их: «Возьми меня на руки и покажи мне все — сверху. С тобой мне будет не страшно и хорошо».

Встав, он подошел к окну, смотря, как реет темная предрассветная синева, а звезды, дрожа, готовятся скатиться за горизонт.

— Клянусь, — сказал Друд, — что не чувствую ни зла, ни обиды, но только печаль. Я мог бы любить вас.

— О! — произнесла Руна с выражением столь неизъяснимым, но точным, что он побледнел и быстро повернулся к ней, увидев иное — холодное, высокомерно поднятое лицо. Ничто не напоминало в ней только что горевшего возбуждения. Казалось, силой чудовищного самообладания мгновенно истребила она самую память о тех минутах, когда жила целью, бывшей, в страсти ее порыва, уже у ее гордой ноги, занесенной встать на вершину вершин. И Друд понял, что они расстались навек; во взгляде девушки, смерившем его мгновением холодного любопытства, было нечто ошеломляющее. Так смотрят на паяца.

Он вздрогнул, замер, потом быстро подошел к ней, взял за руки и принудил встать. Тогда что-то тронулось в ее чертах мучительным и горьким теплом, но скрылось, как искра.

— Смотри же, — сказал Друд, схватывая ее талию. Ее сердце упало, стены двинулись, все повернулось прочь, и, быстро скользнув мимо, отрезал залу массивный очерк окна. — Смотри! — повторил Друд, крепко прижимая оцепеневшую девушку. — *От этого* ты уходишь!

Они были среди пышных кустов, — так показалось Руне; на деле же — среди вершин сада, которые вдруг понеслись вниз. Светало; гнев, хо-

лод и удивление заставили ее упереться руками в грудь Друда. Она едва не вырвалась, со странным удовольствием ожидая близкой и быстрой смерти, но Друд удержал ее.

— Дурочка! — сурово сказал он. — Ты могла бы рассматривать землю как чашечку цветка, но вместо того хочешь быть только упрямой гусеницей!

Но шуткой не рассеял он тяжести и быстро пошел вниз, чувствуя, что услышит уже очень немногое.

— Если нет власти *здесь*, я буду внизу. — С этими словами Руна, оттолкнув Друда, коснулась земли, где, прислонясь к дереву, пересилила дрожь в ногах; затем, не оглядываясь, стала всходить по ступеням террасы. Друд был внизу, смотря вслед.

— Итак? — сказал он.

Девушка обернулась.

— Все или ничего, — сказала она. — Я хочу власти.

— А я, — ответил Друд, — я хочу видеть во всяком зеркале только свое лицо; пусть утро простит тебя.

Он кивнул и исчез. Издалека свет загорался вверху, определяя смутный рисунок похолодевших аллей. Руна еще стояла там же, где

остановилась сказав: «Все». Но это «все» было вокруг нее, неотъемлемое, присущее человеку, чего не понимала она.

Свет выяснился, зажег цветы, позолотил щели занавесей и рассек сумеречную тишину роскошных зал густым блеском первого утреннего огня. Тогда, плача с неподвижным лицом, — медленно бегущие к углам рта крупные слеза казались росой, блещущей на гордом цветке, — девушка написала министру несколько строк, полных холодного, несколько виноватого радушия. И там значилось в последней строке:

«Я видела и узнала его. Нет ничего страшного. Не бойтесь; это — мечтатель».

XVI

Два мальчика росли и играли вместе, потом они выросли и расстались, а когда опять встретились — меж ними была целая жизнь.

Один из этих мальчиков, которого теперь мы называем Друд или «Двойная Звезда», проснувшись среди ночи, подошел к окну, дыша сырым ветром, полыхавшим из тьмы. Внизу, среди тусклого отсвета, рассеянного вокруг башни маяка ее огненной головой, вспыхивая зеленой пеной,

текли к черной стене хлещущие свитки валов; вздымаясь у огромного ствола башни, они рушили к ее основанию ливни и водопады с силой пальбы. Во тьме красный или желтый огонь, застилая звезду, указывал движение парохода. Выли, стонали сирены, сообщая моменту оттенок безумия. По левой стороне тьмы светилась пыль огней далекого города.

Если есть боль, зрелище, отвлекая, делает боль неистовее, когда, сломав созерцание, душа вновь сосредоточится на ране своей. Друд отошел от окна. Его душа гнулась и ныла, как спина носильщика под еле посильным грузом; страдал, поэтому стал ходить, чтобы не прислушиваться к себе.

Стеббс, сторож Лисского маяка, покончив с фонарем, то есть наполнив лампы сурепным маслом, сошел в нижнее помещение.

— А! — сказал он. — Вы встали!

Друд обернулся, встретив грустными глаза своего товарища детских игр.

— Ты печален, болен, быть может? — сказал он, усаживая сторожа на кровать рядом с собой. — Ну, потолкуем как раньше.

— Как раньше? — повторил Стеббс с горестным ударением. — *Раньше* я садился и слушал, удив-

лялся, хохотал, проводил ночи без сна, во тьме, расписанной после рассказов ваших ярчайшими красками. Пора ужинать. — Он взял из угла дров и присел к камину, раздувая огонь.

Друд перешел к нему, чувствуя себя скверно и виновато. Заметив, что дрова надо поджигать снизу, он ловко установил поленья, и пламя разгорелось.

— Стеббс, — сказал он, — с того дня, как я лежал при смерти, а ты сидел возле меня и капал в ложку сомнительное изобретение доктора Мармадука, прошло много времени, но было мало хороших минут. Давай делать хорошую минуту. Сядем и закурим, как прежде, индейскую трубку мира.

Сначала скажем про Стеббса, какой он был наружности. Стеббс был невелик ростом, длинноволос; волоса веером лежали на пыльном воротнике старенького мундира; разорванные штаны, из-под которых едва виднелись рыжие носки башмаков, мели своей бахромой пол. Худое лицо, все черты которого стремились вперед, имело острые пунцовые скулы; тщедушный, но широкоплечий, казалось, отразился он, став таким, в кривом зеркале — из тех, что, подведи к ним верзилу, дают существо сплюснутое. Но у него были прекрасные собачьи глаза.

— Итак: «трубку мира»...

— Где она? — Притворяясь равнодушным, Стеббс медленно осмотрел полки и все углы помещения. — Нашел. Так давно не курил я ее, что из мундштука пахнет кислятиной. А какой табак?

— Возьми в жестяном ящике. Сядь рядом. Стой: не тронь спичек. Что это за книга? В углу?

— Это, — сказал Стеббс, — книжечка довольно серьезная; она сама упала туда.

Друд взял книгу.

— «Искусство как форма общественного движения», — громко прочел он и выдрал из сочинения пук страниц, приговаривая: — Книги этого рода хороши для всего, кроме своей прямой цели, — затем закурил текстом. Покурив, важно вручил он трубку молчавшему Стеббсу. Еще надутый, но уже со счастливой искрой в глазах, Стеббс стал расспрашивать о тюрьме.

— Приходил прокурор, — сказал Друд, смотря в огонь. — Он волновался; задал ряд нелепых вопросов. Я не отвечал; я выгнал его. Еще была... — Друд выпустил сложный клуб дыма. — В общем, маяк все-таки хорош, Стеббс, но я завтра уйду.

— Опять, — печально заметил сторож.

— Есть причины, почему я должен развлечься.

Веселья, веселья, Стеббс! Ты знаешь уже, какое веселье произошло в цирке. Такое же затеял я в разных местах земли, а ты о том будешь читать в газетах.

— Воображаю! — сказал Стеббс. — Я, в сущности, мало говорю, потому что привык; но как вспомню, кто вы, подо мной словно загорится стул.

Друд сдвинул брови, улыбку спрятав в усы.

— Солнце не удивляет тебя? — спросил он *очень* серьезно. — А этот удар волны? А ты сам, когда с удивлением, как бы отразясь в глубине собственного же сердца, говоришь: «Я, я, я», — прислушиваешься к непостижимому мгновению этому и собираешь в дырочку твоего зрачка стомильный охват неба и моря, — тогда ты глупо и самодовольно спокоен?

— Ну, ладно, — возразил Стеббс. — А вот что скажите: не полюбили ли вы?

Он произнес эти слова с оттенком такой важной и наивной заботы, что Друд простил его проницательность.

— Едва ли… — пробормотал он, толкая ногой полено. — Но контраст был разителен. Все дело в контрасте. Понял ты что-нибудь?

— Все! — с ужасом прошептал Стеббс. — Кофе

готов.

— Довольно об этом; бросил ты писать стихи или нет?

— Нет, — сказал Стеббс с апломбом; глаза его блеснули живо и жадно. Не раз видел он себя в образе чугунного памятника, простирающим вещую руку над солнечной площадью. Но в малой его душе поэзия лежала ничком, ибо негде ей было повернуться. Так град, рожденный электрическим вихрем, звонко стучит по тамбурину, но тупо — по бочке. — Нет. В этом пункте мы разойдемся. Стихи мне стали даваться легче, есть прямо — не скажу — гениальные, но замечательные строки.

Лишь он заговорил о стихах (писать которые мог по нескольку раз в день), с уверенностью, что Друд дразнит его, — так были очевидны Стеббсу их мифические достоинства, — как его скулы замалиновели, голос зазвенел, а руки, вонзясь в волосы, откинули их вверх страшным кустом.

— Хотите, я прочитаю «Телеграфиста из преисподней»?

— Представь — да, — смеясь, кивнул Друд, — да, и как можно скорее.

С довольным видом Стеббс выгрузил из сундука кипу тетрадей. Перелистывая их, он бормотал:

«Ну… это не отделано…», «в первоначальной редакции…», «здесь недурно», — и тому подобные фразы, имеющие значение приступа. Наконец он остановился на рукописи, пестрой от клякс.

— Слушайте! — сказал Стеббс.

— Слушаю! — сказал Друд.

Сторож заголосил нараспев:

В ветро-весеннем зное,
Облачась облаком белым,
Покину царство земное
И в подземное сойду смело.

Там – Ад. Там горят свечи
Из человечьего жира;
Живуча там память о встрече
С существом из другого мира.

На моей рыдающей лире
Депешу с берегов Стикса
Шлю тем, кто в подлунном мире
Ищет огневейного Икса.

Гремя подземным раскатом,
Демон…

— Теперь, — сказал Друд, — почитай другое.

Стеббс послушно остановился.

— Знаю, — кротко заметил он, — вам эта форма не нравится, а только теперь все пишут так. Какое же ваше впечатление?

— Никакого.

— Как? Совсем никакого впечатления?

— Да, то есть — в том смысле, какого ты жаждешь. Ты волнуешься, как влюбленный глухонемой. Твои стихи, подобно тупой пиле, дергают душу, не разделяя ее. Творить — это ведь *разделять*, вводя *свое* в массу чужой души. Смотри: читая Мериме, я уже не выну Кармен из ее сверкающего гнезда; оно образовалось неизгладимо; художник рассек душу, вставив алмаз. Чем он успел в том? Тем, что собрал *все* моей души, *подобное* этому стремительному гордому образу, хотя бы это *все* заключалось в мелькании взглядов, рассеянных среди толп, музыкальных воспоминаниях, резьбе орнамента, пейзаже, настроении или сне, — лишь бы *подобно* было цыганке Кармен качеством впечатления. Из крошек пекут хлеб. Из песчинок наливается виноград. Айвенго, Агасфер, Квазимодо, Кармен и многие, столь мраморные, — другие, — сжаты творцом в нивах нашей души. Как стягивается туманность, образуя планету, так растет образ; он крепнет,

потягивается, хрустя пальцами, и просыпается к жизни, в рассеченной душе нашей, успокоив воображение, бессвязно и дробно томившееся по нем.

Если вставочка, которой ты пишешь, не перо лебедя или орла — *для тебя*, Стеббс, если бумага — не живой, нежный и чистый друг — тоже *для тебя*, Стеббс, если нет мысли, что все задуманное и исполненное могло бы быть еще стократ совершеннее, чем теперь, — ты можешь заснуть, и сном твоим будет *простая* жизнь, творчество божественных сил. А ты скажешь Ему: «под складкой платья твоего пройду и умру; спасибо за все».

Довольно мне сечь тебя. Запомни: «депешу на вдохновенной лире» посылают штабные писаря прачкам. «Живуча» — говорят о кошках. Кроме того, все, что я сказал, ты чувствуешь сам, но не повторишь по неумению и упрямству.

Выслушав это, Стеббс хмуро отложил тетрадь, вымыл кружки, насыпал на закопченный стол сухарей и отковырнул из бочки пласт соленой свинины. Разрубив ее тяжелым ножом, он, обдумав что-то, добродушно расхохотался.

Друд поинтересовался — не его ли безжалостная тирада подействовала так благотворно на

пылкое сердце поэта.

— Вы угадали, — сказал Стеббс с тихо-победоносным блеском увлажнившихся глаз, — я просто вижу, что в поэзии мало вы понимаете.

— Действительно так; я никогда не писал стихов. А все-таки послушай меня: когда здесь, в этом скворечнике появится улыбающееся женское лицо, оно, с полным пренебрежением к гениальности, отберет у тебя штаны, приштопав к ним все пуговицы, и ты будешь тратить меньше бумаги. Ты будешь закутывать ее на ночь в теплое одеяло и мазать ей на хлеб масло. Вот что хотел бы я, Стеббс, для тебя. Дай мне еще сахара.

Стеббс было закатил глаза, но вдруг омрачился.

— Женщина губит творчество, — пробормотал он, — эти создания — они вас заберут в руки и слопают. — Отогнав рой белокурых видений, слетевшихся, как мухи на сахар, едва заговорили о них, Стеббс взбодрил пятерней волосы; затем простер руку. — Прислушайтесь! Разве плохо? Гремя подземным раскатом, демон разрывает ущелье; гранитом он и булатом справляет свое новоселье. О, если бы…

— Стой! — сказал Друд; здесь, хлынув в окно с силой внезапной, ветер едва не погасил лампу;

фыркнули листы огромной тетради Стеббса и что-то, подобно звуку стихающего камертона, пропело в углу.

— Что так нежно и тонко звенит там? — спросил Друд. — Не арфу ли потерял Эол?

Стеббс сказал:

— Сначала я объясню, потом покажу. В долгие ночные часы придумал и осуществил я машину для услаждения слуха. После Рождества, Нового года, дня рождения и многих иных дней, не столь важных, но имеющих необъяснимое отношение к веселью души, остается много пустых бутылок. Вот посмотрите, зрите: се — рояль Стеббса.

Говоря это, он вытащил из-за занавески вертикально установленную деревянную раму; под ее верхней рейкой висел на проволочках ряд маленьких и больших бутылок; днища их были отпилены. Качаясь в руках Стеббса, это музыкальное сооружение нестройно звенело; взяв палочку, сторож черкнул ею по всему ряду бутылок вправо и влево; раздалась трель, напоминающая тот, средний меж смехом и завыванием, звук, какой издает нервический человек, если его крепко пощекотать.

— Что же вам сыграть? — сказал Стеббс, выделывая своей палочкой «дринь-дринь» и «ди-ди-

до-дон». Звук был неглубок, тих и приятен, как простая улыбка. — Что же сыграть? Танец, песню или, если хотите, оперную мелодию? Я понемногу расширил свой репертуар до восемнадцати — двадцати вещей; мои любимые мелодии: «Ветер в горах», «Фанданго», «Санта-Лючия» и еще кое-что, например вальс «Душистый цветок».

— Попробуем «Фанданго», — сказал Друд, оживляясь и усаживаясь на стуле верхом с трубкой в зубах. — Начинай, я же буду насвистывать, таким образом у нас будет флейта, струна и звон.

Перебрасывая палочку среди запевших бутылок быстрой неутомимой рукой, Стеббс начал выводить знаменитую мелодию, полную гордого торжества огненной жизни. Но с первых же тактов свойство инструмента, созданного для лирики, а не для драмы, заставило концертантов отказаться от первого номера.

— Попробуем что-либо другое. — Друд стал свистать тихо, прислушиваясь. — Вот это… — и оно так же звенит в оркестре.

— Посвистите еще, — Стеббс, склонив ухо, понял и уловил мотив. — Ага! На средний регистр.

Он прозвенел палочкой; Друд взял тон, увлеченно насвистывая; то был электризующий свист гибкого и мягкого тембра. Свистал он великолеп-

но. Стеббс был тоже в ударе. Они играли вальс из «Фауста». Прошла тихая тень Маргариты; ей вслед задумчиво, жестоко и нежно улыбнулся молодой человек в пышном костюме со старой и тщеславной душой.

— А это славно, это хорошо! — вскричал Стеббс, когда они кончили. — Теперь закурим. Что следующее?

Смеясь, болтая и тревожась, как бы Друд не вернулся из тихой страны звона к мрачной рассеянности, он торопливо наигрывал, поддерживая в нем детское желание продолжать спасительную забаву. Так, переходя от одной вещи к другой, затеяли и разыграли они песенку «Бен Бельт», которую поет Трильби у Дюмурье, «Далеко, далеко до Типерери», «Южный Крест», второй вальс Годара, «Старый фрак» Беранже и «Санта-Лючия».

Меж тем стало светать; первое усилие дня, намечающего свой путь в бурной громаде ночи, окружило желтое пятно лампы серым утренним беспорядком; уже видны были в окно волны и пена. Ветер стихал.

Друд как бы очнулся. Печально посмотрел он вокруг и встал:

— Ну, Стеббс, еще раз, перед тем как расстаться, — «Санта-Лючия».

Стеббс вытер глаза; стекло стало вызванивать:

Ясными звездами море сияет,
Вдаль веет ветер, вглубь увлекает;
К лодкам спешите все в ночи такие.
Санта-Лючия! Санта-Лючия!

Друд тихо свистал. Уже видел он и то, что сказано во втором куплете:

Море чуть зыблется. Здесь, на просторе,
Как рыбаки, вы все сбросите горе,
И да покинут вас скорби людские…
Санта-Лючия! Санта-Лючия!

Он *видел* это, и тише становилось в его душе. Когда кончили, хлопнув по плечу Стеббса, Друд сказал:

— Спасибо! Ночь была хороша; сделали мы и хорошую минуту. Прощай!

Затем он оделся — как одеваются для ветра и холода: сапоги, толстая куртка и шапка с ремнем, проходящим под подбородком. Стеббс, без нужды в том, усердно помогал одеваться; он был совершенно расстроен.

Наконец заря вышла из облаков, рассеяв сталь-

ной, белый и алый оттенки на проясневшей воде. Друд подошел к окну. Тогда, плача откровенно и горько, как маленький, Стеббс ухватился за него, оттягивая назад.

— Хотите, я сожгу все тетрадки, если вы останетесь еще на *один* день? Клянусь, я сделаю это!

Друд, смеясь, обнял его.

— Зачем же, — мягко сказал он. — Нет, Стеббс, я был не совсем прав; играй, стихи — твоя игра. Каждый человек должен играть. — Он двинулся в пустоту, но вернулся, хлопая себя по карману. — Я забыл спички.

Стеббс подал коробку.

— Жди, я вернусь, — сказал Друд.

Он сделал внутреннее усилие, подобное глубокому вздоху, вызванному восторгом, — усилие, относительно которого никогда не мог бы точно сказать, как это удается ему, и стал удаляться; с руками за спиной, сдвинув и укрепив на тайной опоре ноги. Лицо его было обращено к облачной стране, восходящей над зеленоватым утренним небом. Он не оглядывался. По мере того как уменьшалась его фигура, плывущая как бы по склону развеянного туманом холма, Стеббс невольно увидел призрачную дорогу, в которой имеющий всегда дело с тяжестью ум человека не

может отказать даже независимому явлению. Дорога эта, эфирнее самого воздуха, вилась голубым путем среди шиповника, жимолости и белых акаций, среди теней и переливов невещественных форм, созданных игрой утра. По лучезарному склону восходила она, скрывая свое продолжение в облачных снегах великолепной плывущей страны, где хоры и разливы движений кружатся над землей. И в тех белых массах исчез Друд.

Часть II. Улетающий звон

I

Весной следующего года в газетной прессе появились удивительные и странные сообщения. Эти сообщения разрабатывали одно и то же явление, и будь репутация шестой державы немного почтеннее, чем та, какой она пользуется в глазах остальных пяти великих держав света, — факты, рассказанные ее страницами, наверное, возбудили бы интерес чрезмерный. Не было сомнения, что эту сенсацию постигнет обычная судьба двухголовых детей или открытия, как превращать свинец в золото, — что время от времени подается в виде свежего кушанья. Казалось, сами редакторы, тонко изучившие душу читателя, рассматривают монстральный материал свой не выше «Переплытия Ниагары в бочонке» или «Воскресения замурованной христианки времен Калигулы», печатая его в сборных отделах с заголовками: «Человек-загадка», «Чудо или галлюцинация», «Невероятное происшествие» и с другими, более или менее снимающими ответственность ярлыками, чем как бы хотели сказать:

«Вот, мы умываем руки: кушайте, что дают».

Однако, как сказал некто Э. Б., — «не у всех рыжих одинаковая судьба», и это изречение кстати упомянуть здесь. Десять, пятнадцать, двадцать раз изумлялся читатель, пробегая в разных углах мира строки о неуследимом фантоме, явившемся кому-то из тех, кого не встретили мы, не встретим, и чьи имена — нам — звук слов напрасных; ничего не изменило, не сдвинуло в его жизни им прочитанное и наконец было забыто, только иногда вспоминал он, как тронулась в нем случайным прикосновением редкая струна, какой он не подозревал сам. Что был это за звук? Как ни напрягается память, в тоскливейшем из капризов Причудливого — в глухом мраке снует мысль, бестолково бьется ее челнок, рвется основа, путая узел на узел. Ничего нет. Что же было? Газетный анекдот — и тоска.

Но перебросим мост от нас к *тому* печатному тексту. Литература *фактов* вообще самый фантастический из всех существующих рисунков действительности, то же, что глухому оркестр: взад-вперед ходит смычок, надувается щека возле медной трубы, скачет барабанная палка, но нет звуков, хотя видны те движения, какие рождают их. Примем в возражение факты, сущность ко-

торых так разительна, что мясо и дух события, иначе говоря — очевидство и проникновение в суть факта, немного прибавят к впечатлению, полученному путем сообщения. Действительно *такой* факт возможен. Например, провались в Чикаго двадцатидвухэтажный дом, мы, поставленные о том в известность, внутренно подскочим, хотя скоро уже не будем думать об этом. Что это — так, что факты как факты, даже пропитанные удушливой смолой публицистических и партийных костров, никоим образом не смущают ни жизнь, ни мысль нашу, достаточно вспомнить то хладнокровное внимание, с каким просматриваем мы газету, не помня на другой день, что читали сегодня, а между тем держали в руках не что иное, как трепет, борьбу и жизнь всего мира, предъявленные на манер ресторанного счета.

В этой тираде нашей тщетно было бы искать реформационных потуг или требований безмерных к кому бы то и к чему бы то ни было. Мы просто отмечаем пустоту, куда не хотим идти. Как, в самом деле, перечислять, где, когда и кто смутился и испугался, кто может быть близорук, а кто — склонен к галлюцинациям на почве неясных слухов?

Как устанавливать и решать, где проходит идеально прямая черта действительного события? Вообще, поиски такого рода — дело специалистов. Однако, поступив проще, представив себя — в лице многих тех N. и С. — в положении выезжающего сразу из шести ворот Сен-Жермена, можно среди зигзагов и конусов странной корреспонденции увидеть нечто, равное всему общему разбросанного и сборного впечатления; для этого нужно лишь сказать «я». Я иду где-то, замечая тень или человека, скользящего высоко вверху, во всей странности подобного лицезрения; иные формы, иные положения той же встречи смутно выделяются одна из другой в графитовом полусвете сна; и я не знаю — мое ли яркое представление о том вводит всю муть в формы отчетливых сцен, было ли то мне рассказано, или случилось со мной. Быть может, интереснее всего некоторые ошибки, возникшие под влиянием слухов о существе, не знающем расстояния.

Тот трубочист, которому выпало на долю заразить суеверным страхом нервных прохожих, будет, надо думать, до конца дней помнить захватывающее и глубокое впечатление, произведенное его дымной фигурой на фоне лилового вечернего неба. Он опомнился, когда увидел

внизу огромную черную лужу толпы; постепенно смутный хор ее гула разросся в потрясающее смятение, и враг сажи спустился по требованию полиции с крыши шестиэтажного дома вниз, где немедленно стал причиной разочарования, насмешек и оскорблений. Быть может, среди этой толпы был и тот мальчик, фигурный китайский змей которого, дико урча трещоткой над башней ратуши в Эльте, привлек воспламененное внимание охотника Бурико, сразу поклявшегося, что убьет черта двойным зарядом из своей льежской двухстволки, опустив предварительно поверх картечных зарядов иглы ежа. Этой клятвы никто не слышал, но два оглушительных выстрела слышали посетители соседней кофейной, с интересом следившие за тем, как, потеряв бечеву, пересеченную дробинкой, змей повертывался и нырял, подобно игральной карте, над острой крышей сумеречной Эльтской ратуши. То было под вечер, так что никто не видел естественной краски стыда в полном лице грозного Бурико, после того как ему было растолковано его заблуждение. В другом случае задрожал и долго читал молитвы крестьянин, шедший с котомкой на плечах по луговой тропе в окрестностях Нового Рима. Было утро, и над травой летел человек. Трава скрывала

велосипед, поэтому крестьянин отшатнулся и ахнул. Вокруг него было так тихо, так много цветов, и так резко промчался неслышный в движении своем человек.

Теперь время упомянуть о том, что за девушкой, севшей в одном из скверов Лисса с книгой в руках, а скромную поклажу свою поместившей на траве рядом, — задумавшись, наблюдал человек особой, — отдельной от всех, — жизни. Он смотрел на это молодое существо так, что она не могла видеть его, не могла даже подозревать о его присутствии. Она только что приехала. С неторопливой, спокойной внимательностью, подобной тому, как рыбаки рассматривают и перебирают узлы петель своей сети, вникал он во все мелочи впечатления, производимого на него девушкой, пока не понял, что перед ним человек, ступивший, не зная о том, в опасный глухой круг. Над хрусталем взвился молоток. И он подошел к ней.

II

Девушка, о которой зашла речь, прибыла в Лисс с ночным поездом. Ей было девятнадцать лет, — почти полных, так как девятнадцать *ровно*

должно было прийти на другой день, в десять часов вечера. Не без сожаления вспоминала она об этом: в беспечных условиях день ее рождения мог быть отмечен сладким пирогом и веселым домоседством среди подобных ей девочкообразных подруг с нетерпеливыми и пылкими головами. Между тем на ее объявление в «Лисской газете» последовало письмо Торпа, предлагающее место компаньонки и чтицы.

Париж стоит обедни. Газета ошиблась, тиснув скромное объявление по разряду *смеси*, что, в свою очередь, заставило ошибиться Торпа. — «Как вас зовут?» — спросил юную путешественницу на вокзале приветливый лысый человек преждевременной дряблости, со вздрагивающей ногой, заинтересованный ее манерой посматривать на маленькие свои ножки в лаковых туфельках, недавно купленных из последнего, — выше хлеба и зрелищ девушка ценила хорошенькую, стройную обувь. — «Тави», — сказала она простосердечно, краснея тем тонким и обаятельно чистым румянцем, какой ни продается под золотой пломбой, ни вызывается искусственным душевным движением. — «А ваша фамилия?» — Полумесяцем вознеся левую бровь, девушка взглянула на него с сердцем, выпалив «Тум»

так, что оно прозвучало как «Бум», — стальным тоном ясного желания прекратить разговор. «Тра-та-та!» — напевал франт, удаляясь с высоко закинутой головой, а Тави Тум — порешим звать ее просто *Тави* — села ожидать рассвета на мраморную скамью. Закусывая ветчиной с хлебом, читала она «Двух Диан»; к ней подходили комиссионеры, предлагая гостиницы, но, не видя в том надобности, так как уже этим утром должна была поселиться у Торпа, Тави оставалась сидеть средь гула и толпы вокзального здания.

Меж тем один за другим прибывали утренние поезда; волнуясь и перекликаясь, путешественники неслись шумным водоворотом; гром экипажей, свистки, звук посуды, разносимой буфетной прислугой, и лязг вагонных сцеплений проникали в высоту сводов отлетающим эхом. Когда Монгомери ухватил нижний конец веревочной лестницы, ведущей на форт Калэ[1], шум вокзала назойливо покрыл решительное его дыхание; Тави закрыла книгу, вздохнула и осмотрелась.

Застоявшись благодаря туману в недрах ночи, утро осилило наконец мрак. Электрический свет еще распространял свою вездесущую машинную

---

[1] Примечания: 1

А. Дюма. Две Дианы. (*Примеч. авт.*)

желтизну, но к его застывшему блеску примешивался уже день, отсвечивая на полу и лицах свежим пятном. За окнами из паровоза хлестал пар, рассеиваясь по крышам станционных строений; на сером стекле синие облака и зеленая полоса раннего неба окутывали восход, готовый двинуться над просыпавшимся Лиссом.

Город просыпался, но Тави отчаянно зевала; усталость и улегшееся уже возбуждение приезда обернулись сонливостью. Стараясь очнуться, решила она пройтись по улицам. Как было ей все равно, куда идти, она пошла прямо и скоро заметила небольшой сквер. Здесь, среди дубов, овеивавших лицо сыростью едва пошевеленной листвы, ее душа прояснилась; но не утомительный труд, не жестокую зависимость видела она впереди, а веселую семью, открытый щедрый дом, где как подруга или желанная гостья она будет жить, делая все посильное охотно и беззаботно. Так мечтая, торопилась она опередить время. Ей предстояло три часа в день читать Самуилу Торпу. Его письмо, подробно перечислявшее весьма выгодные условия найма, ничего не говорило о том, почему Торп не любит или не может читать сам; для Тави, любившей книги так, что она их целовала или отшвыривала, сер-

дясь как на человека, невозможно было понять странное удовольствие слышать чтение из вторых рук, с чужой интонацией и в определенные часы, как служба или работа. Устав думать о том, Тави хмыкнула, возвращаясь к Монгомери.

Каково лезть на высоту восьмидесяти футов, ночью, по веревочной лестнице, не зная, ждет вверху дружеская рука или удар? Вся трепеща, взбиралась Тави с отважным графом, раскачиваясь и ударяясь о стену форта Калэ. Это происходило бурной ночью, но сквер дымился и сквозил солнечным светом; на верху форта гремели мечи, а по аллее скакали воробьи, самозабвенно треща о всем, что светилось и грело вокруг; потянул теплый ветер; на песке затрепетала тень листьев, и стало невозможно читать; забота о наступающем взяла верх.

В то время как она, сложив книгу, встала, осматриваясь, не увидит ли где открывающиеся двери кафе, к ней подошел человек, смотря так прямо и пристально, что она отступила, но тотчас признала в нем пассажира, севшего ночью на неизвестной станции. Запомнив его лицо, она ничем не отличила его тогда от других сонных фигур, дремавших, облокотясь на саквояж или стоя в проходе, разговаривавших вполголоса у

окна, в дыму сигар. С уверенностью она могла лишь сказать, что он ехал в одном с нею вагоне. С живостью, отличавшей все ее решения и постановления, тотчас нашла она, что неизвестный — вылитый портрет графа Монгомери, и хотя костюм той эпохи и запыленное дорожное пальто неизвестного противоречили ее впечатлению, было ей все же приятно улыбнуться открыто хотя кому-нибудь в чужом городе. Хотя Тави недавно перестала быть девочкой, она знала, как бывает хорошо улыбнуться или сказать что-нибудь с легким чувством, мимолетно, без задней мысли и связи с чем бы то ни было.

— Я вас узнала, узнала, — сказала она, подав руку, — кажется, вы сидели наискосок. Так мрачно. Сам с собой. Что хорошенького?

— Утром хорошо все, — сказал незнакомец. Тави удивилась богатству выражений его лица; они мгновенно плавно меняясь, располагали внимать и вслушиваться; слова как бы приобретали цвет, форму и тождество с выраженными с помощью их явлениями. Ей стало ясно, что «утром хорошо все», и она рассмеялась. — Мое имя — Вениамин Крукс. Не бесцельно я подошел к вам. Вы, по-видимому, здесь одиноки, поэтому я хочу знать, где и у кого вы остановитесь, чтобы быть полезным

вам, чем могу. Устроив дела, я тотчас сообщу вам свой адрес. Что бы ни случилось, — я говорю о черных часах, — смело обратитесь ко мне.

Все это Крукс выразил без малейшего замешательства, неторопливо и покойно, как дома. Тави ждала, не прибавит ли он естественного в таком случае извинения; не назовет ли сам свое предложение навязчивостью, однако Вениамин Крукс молчал, ожидая ответа, так непринужденно, что девушка поспешно сказала:

— Ну да. То есть, — я не знаю, что… Разумеется, я вас благодарю, тронута и… еще что? Я все спутала. Меня наняли к Торпу. Самуил Торп живет на улице Виз, 7; я у него должна жить и читать. Извините, что вас задерживаю, но надо же поговорить по душам, раз уж так вышло. Он вызвал меня по объявлению. Не хотелось мне, скажу откровенно, ехать вчера, так как завтра… гм… день моего рождения, если позволите. В этот день я родилась. Между тем были присланы на дорогу деньги. А я — как бы это вам выразить, — праздничку вот как рада, если есть деньги — не пожалею. Поэтому на что я могла бы ехать после рождения? Таков мой характер. Увы! Почему вы смеетесь?

— О нет, — медленно проговорил Крукс, — я только улыбнулся воспоминанию. Однажды мне

подарили стайку колибри — в белой алюминиевой клетке, полной зелени. Я выпускал их. Эти птички должны быть вам известны по рисункам и книгам. Итак, я выпускал их, смотря, как над современной улицей, с ее треском кофейной мельницы и светом доменной печи, взлетали ночью эти порхающие драгоценности — маленькие, как феи цветов.

— Неподражаемо! — вскричала Тави. — А слетались они потом к вам?

— Я сзывал их звуком особого свистка, короткой трелью; заслышав сигнал, они возвращались немедленно.

Девушка воодушевилась:

— Вот тоже, — восковые лебеди, пустые внутри, любят, если поводишь магнетизированной палочкой, — они плывут и расходятся, как живые. Это было давно. Мне кто-то подарил их. Я очень любила, бывало, водить палочкой.

Она внутренне поникла, взгрустнув тем уголком души, который следит за нами в прошлом и настоящем.

— Н-да-с, старость не радость, так-то, господин Крукс, а впрочем, все образуется.

— Непременно, — подтвердил он, — желаю вам успеха и твердости. Ваша песенка хороша.

— Тави Тум не поет, — сказала, краснея и улыбаясь, девушка. — Тави Тум может только напевать про себя.

— Но слышно многим. Идите и не оглядывайтесь.

Тави с недоумением покорно повернулась и отошла, кипя желанием оглянуться; хотя стыдно было ей выказать любопытство, но странно произнес Крукс эти слова, — что он хотел сказать? «Не могу», — простонала Тави, — и обернулась.

За решеткой сквера слились тени, белые стены, блеск стекол. Она увидела смутное очертание экипажа, коней; к экипажу подошел Крукс, сел и сказал что-то рукой. Нельзя было рассмотреть ни его лица, ни темного кучера — сцена эта явилась как бы сквозь задымленное стекло. «Лучи солнца прямо в глаза», — подумала Тави; тогда лошади побежали все быстрее, колеса завертелись, растаяли; растаял экипаж, Крукс; все исчезло, как бы уничтоженное собственным движением на одном месте, и за решеткой ветерок метнул пыль.

— Это я сплю среди белого дня, — сказала Тави, оторопев и протирая глаза. — Конечно! Глаза уже слиплись. Он ушел, и более ничего. Но как простенько хорошо может быть от пустякового разговора.

С чувством, что только что была в теплой руке, девушка услышала стук засовов, — то против сквера открылось кафе. Толкнув его дверь, девушка перескочила через полосу сора, подметавшегося сонной прислугой, заняла столик и стала пить чай, просматривая газеты. Она так устала, что просидела здесь в сладком оцепенении больше часа, затем вышла, медленно переходя от витрины к витрине и рассматривая с огромным удовольствием выставленные там вещи, чем самозабвенно увлеклась, и лишь увидев часы со стрелками, готовыми ущемить цифру одиннадцать, встрепенулась, взяла извозчика и поехала к Торпу.

III

Не раз задумывались мы над вопросом, — можно ли назвать мыслями сверкающую душевную вибрацию, какая переполняет юное существо в серьезный момент жизни. Перелет настроений, волнение и глухая песня судьбы, причем среди мелодии этой совершенно отчетливые мысли подобны блеску лучей на зыби речной, — вот может быть более или менее истинный характер внутренней сферы, заглядывая в которую щурит-

ся ослепленный глаз. Отсюда не труден переход к улице, на которую, окончив путь, свернул извозчик, — к сверкающей перспективе садов среди чугунных оград; эмаль, бронза и серебро сплели в них затейливый арабеск; против аллей, ведущих от ворот к белым и красноватым подъездам, полным зеркального стекла, сияли мраморные фасады, подобные невозмутимой скале. Этот мир еще спал, но утренний огонь неба средь пышных цветов уже сторожил позднее пробуждение.

Осматриваясь, Тави трепетала, как на экзамене. Видя, что окружает ее, скрылась она в самую глубину себя, подавленная робостью и досадой на робость. Она не могла быть *гостьей* среди этих роскошных гнезд, но лишь существом мира, чуждого великолепным решеткам, охраняющим сияющие сады; они были выведены, чтобы отделить ее жизнь от замкнутой в садах жизни красивой чертой. Это впечатление было сильно и тяжело.

Извозчик остановился, путь окончен. Звоня у ворот, Тави рассматривала сквозь их кованые железные листья в тени подъездной аллеи мавританский портик и вазы с остриями агав. Прошло очень немного времени, — казалось, только лишь опустилась ее рука, тронувшая зво-

нок, — как из-за угла здания выскочил человек в лакейской куртке, направляясь бегом к воротам. Он стал возиться с замком, спрашивая:

— Из бюро? От какой конторы?

Пропустив Тави, тупо воззрился он на чемодан и коробку.

— А для чего вещи?

Девушка заметила, что его что-то смущает, что-то вертится на языке; взглянув на нее внимательнее, слуга решительно ухмыльнулся…

— Впрочем, — сказал он, беря багаж девушки, но загораживая ей дорогу, — если хотите получить заказ, нужно заплатить мне, а не то родственники обратятся в другое место.

— Вы думаете, что я шью платья? — гневно спросила Тави, раздраженная бестолковой встречей. — Я приехала служить в этот дом *читательницей* господину Торпу.

— Чтица? — сказал лакей, подперев бок рукой, которой держал саквояж. — Так бы вы и сказали.

— Ну да, *читательницей*, — поправила девушка, чувствуя к слову «чтица» серое отвращение. «Оно обстрижено», — успела она подумать, — затем вслух: — Несите и скажите, что я приехала, приехала Тави Тум.

— Господин Торп, — сказал лакей тоном офи-

циальной скорби, — Божьей волей скончался сегодня утром, в семь с четвертью, скоропостижно. Он умер.

Девушка, отбежав, закрыла лицо, потом, опасливо вытянувшись и спрятав назад руки, как в игре, где могут поймать, уставилась на лакея взглядом ошеломления.

— Вы говорите, он умер? То есть — скончался?

— И умер и скончался, — равнодушно ответил лакей. — *Аорта*. У нас знают, что вы приедете. Я провожу вас.

Он кивнул к дому, приглашая идти. Не печаль, не страх стеснили легкое дыхание девушки и не сожаление о блестящем заработке, так неудержимо рухнувшем в пустоту, откуда он щедро сверкнул, но красноречие совпадения — этот всегда яркий взволнованному уму звон спутанных голосов. Смятение и шум наполнили сердце Тави. Смотря на убегающий свой чемодан, шла она за лакеем так неровно, как, путаясь в густом хмеле, идет по заросли человек, разыскивая тропинку.

Лакей приостановился, напряженно ожидая девушку глазами, сузившимися от умильной надежды. Как Тави догнала его, он шепнул:

— Барышня, есть у вас какая-нибудь мелкая монета, самая мелкая?

Тупо взглянув, Тави погрузила руку в карман; схватив там, вместе с ореховой скорлупой, серебряную мелочь, она мрачно сунула монеты лакею.

— Очень вам благодарен, — сказал тот. — Вы думаете, это на чай? Ф-фи. — Как по ее лицу было видно, что она действительно так думает, лакей, помедлив, добавил: — Это — на счастье. Я вижу, вы счастливая, потому и спросил. Теперь я пойду в клуб и без промаха замечу банк.

— Я? Счастливая? — Но было нечто во взгляде лакея, подсказавшее ей не допытываться смысла подарка. После этого шествие окончилось при взаимном молчании; мелькнуло несколько мужских и женских фигур, — стены и лестницы, переходы и коридоры; наконец Тави смогла сесть и сосредоточиться.

IV

Прежде всего вспомнила она, что среди взглядов, рассеянных на пути к этому синему с золотыми цветами креслу, мелькнули взгляды странного выражения, полные мниморавнодушной улыбки. Два-три человека холодно осмотрели ее, как бы прицениваясь ко всему ее

существу, — быть может, из любопытства, быть может, лишь показалось ей, что их взгляды терпки по-уличному, — но ее чуткий духовный мир обнесло тончайшей паутиной двусмысленности. Как было ей сказано, что через некоторое время выйдет к ней хозяйка-вдова, Тави не много думала о взглядах и впечатлениях, строя и кружа мысли вокруг трагического события. Прикладывая вдруг остывшие руки ледяным тылом кистей к пылающему лицу, она вздрагивала и вздыхала. Ее оставили сидеть в одной из проходных зал с высокими сквозными дверями; лучистые окна, открывающие среди ярких теней трогающую небеса пышную красоту сада, озаряли и томили нервно-напряженную девушку; в строгом просторе залы плыли лучи, касаясь стен дрожащим пятном. «Смерть!» Тави задумалась над ее опустошающей силой; боясь погрузиться в кресло, как будто его покойный провал был близок к страшной потере дома, сидела она на краю, удерживаясь руками за валики и хмурясь своему пугливому отражению в дали зеркального просвета, обнесенного массивной резьбой.

Тогда из дверей, на которые стала она посматривать с нетерпением, вышла черноволосая женщина сорока-сорока пяти лет. Она была пряма,

высока и угловато-худа; ее фигура укладывалась в несколько резких линий, стремительных, как напряжение черного блеска глаз, стирающего все остальное лицо. Сухой разрез тонких губ, сжатых непримиримо и страстно, тяжело трогал сердце. Черное платье, стянутое под подбородком и у кистей узором тесьмы, при солнце, сеющем по коврам безмятежный дымок цветных отражений, напоминало обугленный ствол среди цветов и лучей.

— Так вы приехали? — громко сказала вдова, бесцеремонно оглянув девушку, — вы приехали, конечно, в приятных расчетах на… удобное место. — Перерыв фразы, самый тон перерыва, уже испугал Тави, в нем блеснул злой, страстный удар. — Никто не ожидал, что он умрет, — продолжала вдова, — вероятно, вы менее всех ждали этого. Вы разве не слышали звонка? Нет? — Она холодно улыбнулась. — Не поспешили? Прислуга вошла, закричала: он лежал на полу, раскинувшись, с рукой у воротника. Готов! У вас есть семья? Сестры? Братья? Может быть, у вас есть жених? Но, милая, как вас зовут?

Тави силилась говорить, спазма удерживала ее; наконец собственное имя заикающимся лепетом вырвалось из ее побледневших губ. По мере того

как вдова, тягостно улыбаясь, пристально наблюдала приезжую, девушке становилось все хуже; уже слезы, неизменные спутники горьких минут — слезы и смех часто выражали всю Тави, — уже слезы обиженно попросились к ней на глаза, а лицо стало по-детски огорчаться и кукситься, — но женщина движением инстинкта поймала некое указание. Она хмуро вздохнула; не сочувствие — горькая рассеянность, занятая вдали темной мыслью, отразилась в ее лице, когда, взяв девушку за дрогнувшую руку, она заговорила опять:

— Довольны ли вы тем, что случилось? Понимаете ли, что перед вами одной встала эта стена? Вы родились под счастливой звездой. Может быть, умерший слышит меня, тем лучше. Я устала от ненависти. Скоро наступит час, когда отдохну и я. Десять лет мучений и ненависти, десять лет страха и отвращения — разве не заслужила я отдыха? Говорят, смерть примиряет, — как понять это, если сердце в злом торжестве радо смерти? Я ненавижу его, даже теперь.

Говоря так, она смотрела в окно, то притягивая руку Тави, то отталкивая, но не выпуская из жестких горячих пальцев, как бы в борьбе меж гневом и лаской; казалось, потрясение рокового утра колыхнуло все чувства прошлого, оживив

их кратким огнем.

— Не бойтесь, — сказала она, видя, что Тави мучается и дрожит, — о ненависти в день смерти вам не приходилось слышать еще, но я *должна* говорить с вами *так*; может быть, я должна сказать больше. Не знаю, чем тронули вы меня, но я вас прощаю. Да, прощаю! — крикнула она, заметив, как потемнели глаза Тави. — Вы гневаетесь, думая, что я не имею права, повода прощать вас, что первый раз мы видим друг друга. А знаете ли вы, что можно прощать дереву, камню, погоде, землетрясению, что можно прощать толпе, жизни? Простите меня и вы. Счастливому простить легче.

Задыхаясь, девушка вырвала руку, топнув ногой. Слезы и обида душили ее.

— Зачем я приехала? Зачем звали меня сюда? Что я сделала? Разве я виновата, что Торп умер? Объясните, я ничего, ничего не понимаю. Уже второй раз слышу я сегодня, что я «счастливая», и это мне так обидно, так горько... — Она заплакала, смачивая слезами платок, отдышалась и, вытерев глаза, засмеялась с виноватым лицом. — Теперь я вас слушаю. Только мне надо говорить по порядку, иначе я спутаюсь.

Рука вдовы легла на ее голову, поправив трога-

ющий глаза локон.

— В том возрасте, в каком теперь вы, меня сломали, — она сжала лист пальмы, вытянув его изуродованное перо с легкой улыбкой, — так, как я сломала это растение; лист завянет, пожелтеет, но не умрет; не умерла и я. Потом… я видела, как ломают другие листья. Идите за мной.

V

Взяв Тави за руку, как будто эта случайная близость поддерживала ее решение, она прошла весь нижний этаж к лестнице и подняла голову.

— Там кабинет мужа, — сказала вдова, — там вы должны были исполнять ваши обязанности.

Они взошли по лестнице к темной резной двери. Не сразу открыла ее вдова; прежде чем совершить это, еще раз пристально в глубину глубин глаз Тави заглянула она, как бы с сомнением и упрямством; на момент мстительная черта легла в ее потемневшем лице и, опасно сверкнув, исчезла. Не раз уже по пути заговаривала она сама с собой; теперь Тави услышала: «Господи Боже, помоги мне и научи не сказать лишнего». — Как ни странно, молитвенный шепот этот решительно испугал Тави; она уже

повернулась с желанием проворно сбежать вниз, но устыдилась.

— Катриона была куда смелее меня, — сказала она, вспоминая чудесный роман автора «Новых Арабских ночей», — и нисколько не старше. Чего же боюсь я? Эта женщина пострадала; наверное, жизнь ее была сплошным горем. Она расстроена, ничего более.

И в такт последнего слова Тави храбро перешагнула порог, несколько разочарованная тем, что вместо кладовой Синей Бороды или чего-нибудь отвечающего ее сердцебиению увидела всего лишь *очень* роскошную и очень большую комнату, дальние предметы которой, благодаря светлой и глубокой перспективе, казались видимыми через уменьшительные стекла бинокля.

— Здесь я оставлю вас, — сказала вдова, — а вы осмотритесь. Вот шкапы, в них книги — любимое и постоянное чтение моего покойного мужа. Что-нибудь вы поймете во всем этом и, когда надумаете уйти, дайте звонок. Я тотчас приду. Есть вещи, о которых тяжело говорить, — прибавила она, заметив, что Тави уже набирает, соответственно новому удивлению, приличное количество воздуха, — но которые нужно знать. Итак, вы остаетесь; будьте как дома.

Сквозь грусть ее слов вырезалась глухая усмешка. Пока Тави соображала, как отнестись ко всему этому, вдова Торпа, взяв со стола часть бумаг, вышла и притворила дверь; стало тихо, Тави была одна.

— Нас то ругают, то ласкают, то оставляют и… — она тронула дверь, — нет, не запирают; но короб загадок высыпан уже на мою голову. Все загадки крепкие, как лесные орехи.

Ее взгляд остановился на драгоценных рамах картин, затем на картинах. Их было более двадцати, кроме панно, и все они казались иллюстрациями одного сочинения — так однородно-значительно было их содержание. Альковы, феи, русалки, символические женские фигуры времен года, любовные сцены разных эпох, купающиеся и спящие женщины; наконец, картины более сложного содержания, центром которого все же являлись поцелуй и любовь, Тави пересмотрела так бегло, что едва запомнила их томные и томительные сюжеты. Она торопилась. Ее особенностью был нервный позыв схватить вниманием все сразу или сколько возможно больше. Поэтому, быстро переходя от столов к этажеркам, от этажерок к шкапам и статуям, везде, так или иначе — в форме помпейской

безделушки, этюда или изваяния, — она наталкивалась на изображение обнаженной женщины, из чего вывела заключение, что покойный имел пристрастие к живописи; может быть, рисовал сам. «Но что я *должна* смотреть, что *надо* увидеть?» В недоумении повела она бровью, пожала плечом, задумчиво рассматривая сквозь стекло шкафов красивые переплеты книг, уже манившие ее страсть к чтению и сказала себе: «Начнем с главного. Наверное, эти книги должна была бы я читать умершему. Посмотрим».

Открыв шкап, девушка схватила миниатюрный золотообрезный том; по привычке заглядывать в сердце книги, ее середину, что всегда делала с целью почувствовать, залюбопытствует ли страстно душа, она выделила ряд страниц наудачу и внимательно прочла их. По мере того как шрифт вел ее к темным местам, значение которых не поддавалось ее опыту, но говорило все же сотой частью своей нечто особенное, подобное лукавой исповеди или намеку, ее брови сжимались все мрачнее, рассекая белизну выпуклого и чистого лба морщиной сурового напряжения. И медленно, как от сильной боли, сдержанной чрезвычайным усилием, от самых ее плеч, по шее, ушам, по всему оставшемуся спокойным

лицу поднялся, алея, густой румянец стыда.

Но она не уронила и не бросила удивительное издание. Закрыв том, Тави аккуратно вдвинула его на прежнее место, прикрыла дверь шкапа, медленно подошла к звонку и с наслаждением придержала палец на кнопке до тех пор, пока он не заныл. Все стало ясно ей; все загадки этого утра нашли точное объяснение, и хотя на ней не было никакой вины, она чувствовала себя так, как если бы ее зеленая пальма была уже схвачена жесткой рукой. Но она не оскорбилась, — тень смерти стояла меж ней и судьбой этого дома, — смерть унесла все.

VI

Не замедлив, пришла вдова; почти с ужасом смотрела на нее бледная и тихая Тави. «Так вот как ты жила!» На эту мысль девушки, как бы угадав ее, прозвучал ответ:

— Да, все мы не знаем, что нам придется делать на этом свете. Но — добавить ли что-нибудь?

— Нет, нет. Довольно, — поспешила сказать Тави. — Теперь я уйду. Стойте. Прежде чем распрощаться и уйти, я хочу видеть умершего.

— Вы?!

— Да.

Вдова, прищурясь, молча искала взглядом смысл этого желания; но обыкновенно подвижное и нервное лицо Тави стойко охраняло теперь свою мысль; и вообще была она не совсем та, прежняя; ее слова звучали добродушно и твердо, с неторопливостью затаенной воли. Чтобы рассечь молчание, Тави прибавила:

— Обыкновенная вежливость требует этого от меня. Уже нет того человека. Я приехала к нему, на его деньги, одним словом, внутренне мне нужно проститься и с ним.

— Быть может, вы правы, Тави. Идите сюда.

Сказав так, вдова прошла диагональ кабинета к портьере, подняв которую, открыла скрытую за нею дверь соседнего помещения. Занавеси были там спущены, и огонь высокой свечи отдаленно блеснул из сумерек в ливень дневного света, потопившего кабинет.

— Он там, — сказала вдова. — Скоро привезут гроб.

— А вы? — Тави, придерживая над головой складку портьеры, мягкой улыбкой позвала войти эту женщину, лицо которой мучительно волновало ее. — Разве вы не войдете?

— Нет. Это сильнее меня. Просто я не могу. —

Она закусила губу, потом рассмеялась. — Если я войду, я буду смеяться, — вот так, — все время; смеяться и ликовать. Но вы, когда взглянете на его лицо, вспомните, вспомните *шестерых* и помилосердствуйте им. Две отравились. Судьба остальных та самая, какой широко пользуются косметические магазины. Не сразу он достигал цели, о нет! Вначале он создавал атмосферу, настроение… привычку, потом — книги, но издалека, очень издалека; быть может, с «Ромео и Джульетты», — и далее, путем засасывания…

— Он умер, — сказала Тави.

Как будто вдова Торпа лишь ждала этого напоминания. Ее лицо исказило и потрясло гневом, но, удержась, она махнула рукой:

— Идите! — И девушка подошла одна к мертвому.

Торп лежал на возвышении, закрытый простынями до подбородка; огни свечей бродили по выпуклостям колен, рук и груди складками теней; мясистое лицо было спокойно, и Тави, едва дыша, в упор рассматривала его. По всему лицу мертвого уже прошло неуловимое искажение, меняющее иногда черты до полной несхожести с тем, каковы были они живыми; в данном случае перемена эта не была разительной, лишь строже

и худее стало лицо. Умершему, казалось, было лет пятьдесят-пятьдесят пять; его довольно густые волосы, усы и борода чернели так ненатурально, как это бывает у крашеных; толстый, с горбиной нос; мертвенно-фиолетового оттенка губы неприятно ярко выделялись на тусклой коже дряблых, с ямками, щек. Глаза ввалились; под веками стояла их мертвая, белая полоса, смотрящая в невидимое. Как, почему остановилось внезапно гнилое, жирное сердце? Под этим черепом свернулись мертвые черви мыслей — последних, кто может узнать их? Тави могла бы видеть и развернуть комки мозговой слизи в их предсмертный, цветущий хаос — блеск умопомрачительной оргии, озарившей видением пахнущую духами спальню; видением больше и острей сна, с вставшими у горла соблазнами всей жизни, перехватившими удар сердца сладкой электрической рукою своей. Та сила, которая равно играет чудесами машин и очарованием струн, нанесла твердый удар. С минуту здесь побыл Крукс. Но не было воздушных следов.

Тави смотрела, пока ее мысли, стремясь важным и особым путем, не задели слов «жизнь», «смерть», «рождение». — «А завтра день моего рождения! Это так приятно, что и сказать невоз-

можно». — Тогда в ней просияла улыбка.

— Я вас прощаю, — сказала она, приподнимаясь на цыпочки, чтобы соединить эти слова с взглядом на все лицо Торпа. — Торп, я прощаю вас. И я должна что-нибудь прочесть вам, что хочется мне.

Она вернулась в кабинет к шкапам, нахмуренная так серьезно, как хмурятся дети, вытаскивая занозу, и среди простых переплетов выдернула что попало. Книгу она раскрыла, лишь подойдя опять к мертвому. То был Гейне, «Путешествие на Гарц».

— Слушайте, Торп, — оттуда, где вы теперь.

Строки попутались в ее глазах, но наконец остановились, и, успокаиваясь сама, тихо, почти про себя, прочла Тави первое, что пересекло взгляд:

Я зовусь принцессой Ильзой,
В Ильзенштейне замок мой.
Приходи туда и будем
Мы блаженствовать с тобой…

— Больше я не буду читать, — сказала девушка, закрыв книгу, — а то мне захочется попросить ее на дорогу. И я ухожу. Прощайте.

Она снова приподнялась, легко поцеловала умершего в лоб поцелуем, подобным сострада-

тельному рукопожатию. Потом торопливо ушла, метнув портьеру так быстро, что по ее разгоряченному лицу прошел ветер. И этот поцелуй был единственным поцелуем Торпа за всю его жизнь, ради которого ему стоило бы снова открыть глаза.

VII

Рассеянная и грустная вышла Тави на улицу. Она не взяла денег, несмотря даже на то, что остающейся у нее суммы не хватало купить билет; деньги были предложены ей без обиды, но сердце Тави твердо восстало.

— Благодарю вас, — сказала она вдове, — мне хочется одного — скорее уйти отсюда.

Так она ушла и очутилась среди сотрясающего грохота улиц жаркого Лисса со стесненно-замирающим сердцем.

Некоторое время то гневно, то удрученно, не замечая, как и куда идет, девушка была занята распутыванием темной истории; хор противоречивых догадок, лишенных основы и связи, мучил ее сердце, и, устав, бросила она это, присматриваясь к уличному движению, чтобы легко вздохнуть. Понемногу ей удалось если не рассеяться,

то восстановить равновесие; дрогнув последний раз в знобком отвращении плечиками, она стала осматриваться, заметив, что удалилась от центра. Улицы были серее и малолюднее, толпа неряшливее; громоподобные вывески сменились ржавыми листами железа с темными буквами, из-за оград свешивалась чахлая зелень. Открытые двери третьеразборного трактира приманили аппетит Тави; усталая и проголодавшаяся, войдя с сумрачным видом, села она к столу с грязной скатертью и спросила рагу, что немедленно и было ей подано, — неприглядно, но отменно горячо, так что заболели губы. Не обращая внимания на взгляды обычных посетителей заведения, Тави храбро занялась кушаньем, в котором соли и перцу было, может быть, больше всего прочего, и, залив жжение горла стаканом воды, вышла, настроенная практически.

Как быть? Как достать денег, чтобы вернуться обратно, и чем заняться до семи вечера? В семь отходил поезд. Но простодушный, великодушный Крукс мог теперь, ничем не утруждая себя, сообщить ей свой адрес туда, где ее нет. «Если сделать так… — рассуждала она, обрекая медальон, подарок покойной матушки, кассе ссуд и решаясь продать новую шляпу, картонка с которой

покачивалась на ее локте, — ну, шляпу *можно* продать; а за медальон...» — И, погрузясь в точный расчет, пошла она, приговаривая: «Если так и так, будет вот так и этак... Или не так? А как?» В чем-то не сошлись воображаемые ею цифры, и приостановилась она, подняв голову, с удивлением слушая странный золотой звон, тихий, как бред ручья в неведомой стороне. Пустынно было на улице, лишь далеко впереди смутные фигуры мелькали на перекрестке; справа же двигалась шагом извозчичья подвода; спал или дремал возница, опустив голову, накрытую рваной шляпой, — понять было мудрено. Казалось, выехала подвода из соседних ворот, из тех, что со стуком закрывались уже, показывая внизу чьи-то отходящие ноги. С каждым шагом понурой лошади подвода, трясясь, сеяла тот чистый кисейный звон, к которому прислушивалась удивленная девушка. Она пошла медленно, рассматривая и соображая, что бы это могло быть. Под холстом, свисавшим, касаясь колес, высилось подобие тиары, выставляя неопределенные очертания углами складок, мешающих собрать намеки форм странного груза в какое-либо достоверное целое. Эта, по-видимому, легкая поклажа тихо покачивалась из стороны в сторону, звуча, словно

человек вез груду тамбуринов. Не вытерпев, Тави подошла ближе, спрашивая:

— Скажите вы мне, пожалуйста, что это у вас так звенит?

Возница апатично взглянул на нее из дали уединенных соображений, прерванных вопросом, достоинство которого было для него тупой и темной загадкой.

— Эх! — сказал он, отмахиваясь с досадой, что должен перевести кропотливо ползущие мысли на более быстрый ход. — Ну, звенит, а вам что до этого? Идите-ка себе с богом. — Здесь, по опыту доверяя лошади, которой кнут был только приятен, так как отгонял оводов, апатично стегнул он животное, но оно только помахало хвостом, выразив гримасой задней ноги фальшивое оживление, и не быстрее, чем раньше, свернуло за угол, на шоссе.

Когда Тави, естественно, взглянула в ту сторону, то увидела за домами зеленый просвет. Все шоссе покрыто было народом, спешившим как на пожар; размахивая листками, бежали газетчики; тележки торговцев фруктами и прохладительными напитками неслись среди экипажей, полных дам и щегольски одетых мужчин; под ногами шныряли уличные собаки, лая на тех собратьев,

чьи расчесанные тельца степенно следовали впереди шелковых юбок в меру длины цепочек, прикрепленных к ошейникам. Кричащий букет мелькнул в стеклах автомобиля, изрыгающего густые, жуткие заклинания; гарцуя, стремились всадники; костыли нищих, влекомые ради быстроты хода под мышками, резво колыхались среди зонтиков и тростей; матери тащили задыхающихся детей с неописуемым отчаянием в их раскрасневшихся личиках; поджимая губы, семенили старушки; мальчишки неистово голосили, мчась по мостовой, как в атаку. Здесь таинственная подвода скрылась и затерялась, а Тави спросила первого встречного: «Куда спешит весь этот народ?»

— Вы разве нездешняя? — проговорил тот, оборачиваясь на ходу. — Так вы, значит, не знаете: сегодня «мертвые петли»!! Полеты! Полеты! — в виде пояснения прокричал он, бесцеремонно опередив девушку.

Мигом воспряла она; воодушевясь, потому что любила всякие зрелища, забежала она в первую лавку, наскоро упросив взять до вечера на хранение свою мешающую поклажу, и двинулась с той же быстротой, как толпа, к неизвестному месту. Вспоминая время от времени о заботе по

возвращению домой, успокаивалась она тем, что ощупывала под платьем медальон и мысленно открывала картонку. — Вот они, деньги!.. — приговаривала неудачливая путешественница. Толпа, солнце и сознание независимости развеселили ее. Тем временем шоссе свернуло под углом к полю; прямо же, если продолжить его линию, стояла высокая каменная стена, за которой среди сомлевших в жаре деревьев виднелся изгиб китайской крыши с флагом над ней; раскрытое пространство ворот пестрело движением спешивших людей. Кто уходил, кто входил, но больше входили, чем уходили, и, не зная порядков, Тави завернула туда. Внутренность двора пересекалась дощатым забором; у узкого прохода служитель проверял билеты.

— Ваш билет, — бросился он к девушке, уже прошедшей мимо него.

Она обернулась, не успев ничего сказать, как билетер занялся другими входящими, забыв о ней или сочтя ее «своим человеком», каких всегда много везде, где проверяют билеты. Довольная, что ей повезло, так как никаких билетов покупать она была не в состоянии, Тави прошла подальше и осмотрелась.

То был двор, или, вернее, маленький мощен-

ный плитами плац, с двух сторон которого всходили амфитеатром скамьи павильонов с боковыми и горизонтальными тентами. Народа было довольно; присмотрясь к нему, Тави заметила, что то не смешанная толпа публичных зрелищ, но так называемая «отборная» публика, преимущественно интеллигентного типа. Меж трибунами помещались крытые синим сукном столы с чернильницами и листами писчей бумаги; здесь заседало человек тридцать в ленивых позах жаркого дня, с расстегнутыми жилетами и мокрыми волосами на лбу, в сдвинутых на затылки шляпах. «Куда же попала ты, моя милая?» — недоумевающе отнеслась Тави, видя, что не здесь, должно быть, произойдут полеты. Но уже встал из-за стола, гремя колокольчиком, человек апоплексического сложения; его мощное, крутое лицо, почти безбровое, с бачками, которые, казалось, едва держались на толстых щеках, — раскрылось круглым «О» сочного рта; требовательно он закричал:

— К порядку! Внимание! Тише! Я открываю чрезвычайное заседание Клуба Воздухоплавателей.

Тем временем Тави увидела подошедшего к столу Крукса, того самого, который неожиданно

исчез утром. Как будто отца родного встретила Тави, — так обрадовалась она в чужой толпе незнакомого города этому успокоительно-прямому лицу, — и, поспешно сев на ближайшую скамейку, закричала оттуда:

— Эй, Монгомери, что вы здесь делаете? Крукс! Крукс!

Тотчас его глаза направились к ней и сразу разыскали ее; узнав свою утреннюю встречу, он кивнул, прижал к губам палец и улыбнулся значительно. Тогда вдруг стало ей покойно как дома; хотя кислые лица дам и поднятые с легкой улыбкой брови мужчин обратились к ней фронтом, выражая тем удивление или негодование, — она лишь порозовела, но не смутилась.

Взяв свободный стул, Крукс сел, опустив глаза. На нем теперь была кожаная глухая куртка, высокие сапоги и черная фуражка; ее ремешок проходил от виска к виску под подбородком. Здесь любопытство Тави достигло зенита, который называется замиранием, и личность Крукса, и обстановка, и неожиданное для нее заседание воздухоплавателей — все было как разобранные части неизвестной машины, что, собирая на ее глазах, готовились пустить в ход. Она трепетала. Видели вы, как возится, не в состоянии покойно

сидеть на месте, молоденькая, глупая девушка? Мир — еще зрелище для нее, а в зрелище этом, перебивая главное действие, роятся сцены всевозможных иных спектаклей. В эти минуты устойчивость ее внутреннего мира не более устойчивости видений, образуемых игрой дыма. Момента покоя нет ни в ее лице, ни в позе, ни в темпе дыхания, ей хочется затопать, привстать, смотреть впереди и по сторонам, торопить и шуметь.

Грузный человек был председатель. Добившись тишины, он сказал:

— Произошло следующее: в канцелярию Клуба поступило мотивированное заявление господина Крукса, являющегося изобретателем летательного аппарата нового типа, в котором просит он не только произвести испытание, но и предоставить ему, Круксу, место в сегодняшнем состязании. Согласно уставу Клуба, всякий моноплан, биплан, парашют, баллон или аэростат имеет быть, во избежание смешных и горьких недоразумений, предварительно оценен экспертами, дабы не иметь дела с попытками технически невозможными, или же, чему немало примеров, абсурдными безусловно. Поэтому, так как имеется еще час времени до начала состязаний, президиум по-

становил: осмотрев аппарат Крукса, разрешить ему, при условии технической научности его изобретения, воспользоваться аэродромом для публичного опыта; и, если Крукс того пожелает, занести его в список авиаторов дня, с правом соискания призов на высоту, продолжительность и точность спуска.

По мере того как текла и оканчивалась речь председателя, багровый стыд окутал лицо Тави; до слез, до полной растерянности смутилась она, поняв теперь, что бесцеремонно-приятельски окликнула не кого иного, как знаменитого — конечно! — изобретателя. Боясь, что он снова поглядит на нее, уселась девушка так, чтобы высматривать из-за чьей-то большой шляпы. «Господи, спаси, помилуй и укороти мой язык», — шепнула она; однако раскаяться вполне не успела; поднялись шум, говор; тонкие или любопытствующие замечания перемешивались с криками нетерпения.

Тогда взгляды всех обратились на Крукса, вставшего и сделавшего рукой знак с желанием говорить. Вновь притих шум; люди, сидевшие вокруг стола, наморщили лбы с важностью, означавшей их совершенное и безошибочное всеведение.

— Вот что, — сказал Крукс негромко, но так отчетливо, что его слова прозвучали ясно для всех, — я соорудил аппарат, по конструкции и системе двигателя не имеющий ничего общего с современным аэропланом. У меня нет ни пара, ни газа, ни бензина, ни электричества, ни парящих плоскостей, ни винтов; нет также особой задумчивости при выборе материала, из которого аппарат выстроен. Как из полотна или шелка, так из простой бумаги или листового железа может быть сооружен он без всякой потери его двигательной способности; он мчится силой звуковой вибрации, представленной четырьмя тысячами мельчайших серебряных колокольчиков, звук которых…

— Звук которых?! — перебил голос, выразивший тоном своим общее недоумение. — О чем вы говорите?

Прозвучал смех. Тишина сдвинулась. Равновесие внимания, получив удар по обеим чашам весов, исчезло, как исчезают все призраки условной общественности. Кто переглянулся; кто, оглядываясь, искал нетерпеливца, спросившего, к чему клонит странная речь загадочного изобретателя. Председатель, схватив звонок, готовился восстановить тишину; но ему что-то шепнули, и

уже сам, с некоторым сомнением, в замешательстве, мельком посмотрел он на Крукса, стоявшего, ожидая возможности говорить дальше, с простотой сильного человека, затертого на углу улицы бегущей толпой. Тогда Тави стала бояться за Крукса; в чем бы ни потерпел человек этот поражение, ей было бы то несносно; у нее успело уже созреть решительное к нему пристрастие. Ей нравилось, что он будет, по-видимому, один против многих, но, зная силу осмеяния, боялась она, как бы сцена, без отношения к результатам ее, не приняла характер комический. Меж тем раздались еще восклицания; прошел и стих шум.

— Быть может, — сказал председатель Круксу, — вы утомлены несколько; может быть, вы нездоровы, взволнованы; в таком случае не будет для нас обидой отложить ваше крайне интересное объяснение до следующего хотя бы дня.

Крукс улыбнулся без смущения; с видом полного удовольствия слушал он эту осторожную и мягкую реплику.

— Я должен просить вас разрешить мне сказать все, что я хочу, могу и считаю нужным сказать. Но чтобы те, почти чудесные, новости, которые открыты мной, возымели силу неголословную, должен буду представить аппарат свой перед

собранием. Он невелик и не имеет ничего общего с теми неуклюжими *махаонами*, в которых *ездят* с таким шумом и риском…

Высказав это с вразумительной твердостью, не позволяющей далее иметь двух мнений как относительно состояния своих умственных способностей, так и намерений, Крукс снова взял тишину за волосы, и внимание слушателей удвоилось. Тави слышала, что говорят вокруг нее.

— А вдруг? — сказал кто-то, подразумевая этим, что нет пределов открытиям. Несколько беглых споров утихли; возрастающий интерес заразительно перебегал по скамьям.

— Выслушать, выслушать! — закричали наконец с мест, видя, что жюри мнется. — Мы хотим слышать! — Председатель решился, но решение свое обозначил как некую дипломатическую уступку.

— Если вы настаиваете, — сказал он, — мы согласны. Однако есть увлечения, непредвиденная форма которых может заставить нас пожалеть об эксперименте; неудовлетворительные последствия оного отразятся как на вас, так и на всех нас, потому что мы крайне сожалели бы о всем ненаучном, о всем, так сказать, дилетантски смелом, не отвечающем задачам клуба воздухо-

плавания. Следовательно, если уверены вы, хотя бы отчасти, в положительных сторонах вашего изобретения, в основных принципах его — честь и место, господин Крукс. Не скрою, что начало изъяснения вашего показалось всем столь знаменательно странным… Итак, мы вас слушаем.

Настроив таким образом себя, Крукса и аудиторию в благожелательно-предостерегающем смысле, председатель стал строг и весок лицом; он, а за ним все воззрились на Крукса, подобно экзаменаторам, затаенный помысл которых: «школьник, пади ниц!» — дышит каннибализмом.

— Наконец-то, — сказал Крукс, — слава богу! Вас смутили четыре тысячи колокольчиков; дополню это смущение: более четырех тысяч или менее, не играло бы никакой роли. Как детям, катающим снежное изваяние, мало заботы о том, чет или нечет снежинок поместится в человекоподобии зимы, метелей и холода, какое слепили они, так и я не настаиваю безусловно на четырех тысячах; охотно уступаю из них произвольное число или прибавляю к четырем столько, сколько вообще поместится на моем аппарате; мне нравится *много* колокольчиков; дело не в числе, а в действии.

Если бы он улыбнулся, если бы хоть на мгновение тронулось это отчетливое лицо лукавой игрой, разразились бы гром и хохот потехи неудержимые. Однако Крукс смотрел и говорил очень серьезно, что действовало, вразрез с его странными словами, самым удручающим образом. Еще не было ни протестов, ни резкого вмешательства со стороны тех, кто принимает как издевательство или вызов все, лишенное готовой клетки в его мозгу, привыкшем к спокойной жвачке, прежде чем постичь суть явления, но уже означалось по выражениям лиц скопление атмосферы протеста. Всеуничижающая ирония кривила губы членов президиума, обреченных благодаря собственному легкомыслию трепетать за солидный темп дня, за должное уважение к месту и делу, которым занимались они, нацепив значки, изображающие колеса и крылья. Все это хорошо понимала, оценивая по-своему, Тави, девушка, ставшая на перепутье судьбы, — чувство судьбы коснулось ее настроения; невольно связывала она колокольчики, о которых говорил Крукс, с неистребимо-нежным воспоминанием о подводе и звоне, что слышала час назад. С подвешенным на золотой нитке юной тревоги сердцем ожидала она, как поступит наконец Крукс. Каза-

лось, тот задумал уравнять ветер сбитого к себе отношения; его речь коснулась теперь многих вещей.

— Рассмотрим, — сказал он, — хотя бы неполно, анатомию и психологию движения в воздухе. До сих пор летают только птицы, насекомые и предметы; человек сопутствует летящим предметам, сам он лететь не может, кроме как в сновидении. Приценясь к шару, имеющему значение как бы самостоятельного организма, двигающегося по произволу атмосферических изменений, не в более сложном он положении, чем тля, сидящая на семени одуванчика, когда его сорвало и несет ветром в пространство. Аэроплан как будто самостоятельнее приглашает посмотреть на эти затеи. Однако выясним суть, желания, идею полета, его мыслимое идеальное состояние. Неизбежно здесь сновидение; лишь его волнующий арабеск подскажет с отчетливостью прозрения, чем одушевлен чистый полет. Им правит легкий и глубокий экстаз; неведомые наяву чувства, столь странные, что им может быть уподоблено разве лишь пение на дне океана, звучат стройно в этих особенных условиях грезы, свергающей физическую тоску, — веками слоившееся отвращение к ногам, пойманным огромным магнитом.

Вспомним, как мы летаем в то время, когда тело наше, завернутое одеялом, покорно своему ложу: само желание естественно отделяет нас, стремя и унося на безопасную высоту. Нет иного двигателя, кроме пленительного волнения, и большего нет усилия, чем усилие речи. Приметьте, что в стране сна отсутствуют полеты практические: перевозка почты, пассажира или призовое соревнование исключены; то состояние манит лишь изумительным движением в высоте; оно — все в себе, ничего сбоку, ничего по ту сторону раскинутого в самой душе пространства; без усилий и вычислений.

Но как же в действительности летит он? Или, вернее, как движется над землей, когда вы, закинув голову, поспешно шлете вдогонку его судорожно скорчившейся фигуре имя «Царь природы»? Вот…

Здесь раздался характерный гул мотора; громкое однотонное пение потекло в вышине, и члены Клуба, посмотрев на небо, увидели аэроплан, пересекающий зрительное поле тяжким пятном.

— …вот достижение, которое явилось нам кстати для демонстрации. Сколько сомнений! А опасений?! Не упадет ли оно? *Быть может*, не упадет. Сообразите, что это значит! Его движение

свободно, как ход коня; его скорость обязательна; его двигатель ненадежен; его творец прикован к каторжному ядру равновесия ради жизни и денег; его падения ожидают; его спуск опасен, его поворот нелегок; его вид некрасив; его полет — полет мухи в бутылке: ни остановиться, ни парить; оглушительный шум, атмосфера завода, хлопотливый труд; сотни калек, трупов, и это — полет? Завидовать стрекозе, в математической точности движений которой светится ясность перебегающего луча; смотреть на вырезной узор ласточки, живописуемый ею над отражением своим в блестящей воде, — восхитительным ничтожеством *совершенных* усилий; вздыхать об орле, залегшем среди туманов со спокойствием самого облака, — не это ли удел наш? И не это ли тщета наша — вечный разрыв, залитый сиянием снов?

Немного надо было бы мне, чтобы доказать вам, как несовершенны и как грубы те аппараты, которыми вы с таким трудом и опасностью пашете воздух, к ним прицепясь, ибо движутся лишь аппараты, не вы сами; как ловко было бы ходить в железных штанах, плавать на бревне и спать на дереве, так — в отношении к истинному полету — происходит ваше летание. Оно — сами вы.

Наилучший аппарат должен быть послушен, как легкая одежда при беге; в любой момент, в любом направлении и с любой скоростью — вот чего следует вам добиться. Рассчитывая поговорить долее, я встретил нетерпимость и издевательство; поэтому, не касаясь более технических суеверий ваших, перейдем к опыту. Ранее того во всеуслышание без жеста и сожаления заявляю, что не беру приза, хотя мной будут побиты решительно все рекорды. Смотрите и судите.

В глубине двора были приоткрыты ворота, их распахнули настежь, и двое рабочих внесли столь легкое сооружение, что никакого физического усилия не было заметно по их лицам. Нечто, окутанное холстом, покачивалось, тихо звеня. Тави, волнуясь, встала: «это *оно*, то, что везла подвода». Сев, она не могла сидеть и встала опять, как встали вкруг нее все, рассматривая диковину. Затем произошло общее движение; зрители бросились к Круксу, окружив изобретателя тесной толпой; и там же, так удачно, что меж ею и загадочно звенящим предметом было свободное пространство, очутилась наша беспокойная путешественница.

Резким движением Крукс смахнул холст. Часть зрителей, не зная, сердиться или смеяться, отступила в глубоком разочаровании серьезных

людей, поддавшихся курьезной мистификации; громко возопила другая часть; третья окаменела; четвертая… но вернее будет сказать, что сколько было людей, столько частей; мы же говорим вскользь. Случалось ли вам бежать сломя голову, куда побежала уже, ржа и рыча, уличная толпа? Не бог весть что ожидаете вы увидеть, как, протолкавшись в самую гущу смятения, видите всего-навсего малыша с обмусоленным пряником в руке и багровым от слез лицом; нянька потеряла его; «Где ты живешь?» — спрашивают ребенка; и он с изумлением, что не отведен еще по своему точному адресу, слезливо говорит: «Там!»

В то время как со стороны крыш висели уже в дыму заводских труб на привязи три баллона; в то время как напоминающий перетянутую бечевками колбасу грузный аэростат, махая какими-то перышками, двигался на высоте пятисот футов, и четыре бойких аэроплана, взрывая неровным гулом верхнюю тишину, носились над двором Воздухоплавательного Клуба с грацией крыш, сорванных ветром; в то время как, следовательно, занавес аэропредставления взвился и совершались «успехи», — пред глазами судей явилось сверкающее изобретение фантастической формы. Оно было футов десять в длину и футов

пять высоты. Его очертания спереди напоминали нос лодки, вытянутый и утонченный зигзагом лебединой шеи; причем точное подобие головы лебедя оканчивало эту шею-бугшприт. Корпус в профиль напоминал помпейский ладьеобразный светильник; корма странного судна в том месте, где обыкновенно проходит руль, была, подобно передней части, вытянута и загнута вовнутрь, как бы над головой внутри сидящего, острым серпом. Тонкий, неизвестного материала, остов был, как каркас абажура, обтянут великолепным синим шелком, богато вышитым серебряным и цветным узором. Узор этот был так хорош, что многие, особенно женщины, дрогнули от восхищения; немедленно раздались их полные удовольствия, искренние, горячие восклицания. Борта аппарата были обшиты темно-зеленой с золотым лавром шелковой же материей; но самой замечательной и причудливой частью дива сверкнули целые гирлянды, фестоны, цепи и кисти мельчайших колокольчиков из чистого серебра, легких, как пузырьки; их кружевом было обнесено судно. Крукс тронул свое создание, и казалось, оно взвеселилось звоном, рассыпав мельчайший смех.

— Четыре тысячи колокольчиков, — сказал Крукс, когда умолкли крики, побежденные изум-

лением. И он посмотрел на Тави так внимательно-мягко, что простота и бодрость заряженного величайшим любопытством спокойствия тотчас вернулись к ней. — Изобретение это — тайна; скажу лишь, что согласованность звона и способ управления им производят воздушную вибрацию, двигающую аппарат в любом направлении и с любой скоростью. Теперь я сяду и полечу; вам же предоставляю на свободе делать технические догадки.

— Он полетит! — задорно двигая круглыми щеками, сказал с сигарой в зубах немец-пилот. «В театре; на канатах и блоках…» — добавил другой. «Это сумасшедший!» — раздался серьезный голос. «Глупая мистификация!» — определил юноша с пушком на губе. Вдруг пронзительный свист разрезал смятение; как сигнал к свалке, вызвал он хор нестройного свиста, криков и оскорблений. Но Крукс лишь рассеянно осмотрелся; заметив вновь Тави, он сказал ей:

— Скоро увидимся, ведь Торп умер, и вам теперь не надо будет служить.

Эти неожиданные слова так поразили девушку, что она отступила, лишь:

— А вы знаете? — успела она сказать, как сцена быстро развернулась к концу.

Видя, что Крукс усаживается внутри своего прибора, председатель, решительно оттолкнув мешавших, подошел к странному авиатору.

— Я не могу позволить вам совершать никаких опытов, явно и заранее бесполезных, — встревоженно закричал он. — Вы либо больны, либо имеете цель, совершенно нам постороннюю; кто в здравом уме допустит на момент мысль, что — тьфу! — можно полететь с этим… с этим… я не знаю что, — с этой негодной ветошью! Потрудитесь уйти. Уйти и унести ваше *приспособление*!

— Мне дано право, — холодно сказал Крукс, отвечая одновременно ему и тем звонкоголосым из толпы, кто, до хрипоты крича, поддерживал председателя. — Право! И я от этого права не откажусь.

— Не я, не я один; мое мнение, требование мое — общее мнение, общее требование! Вы слышите? Вот что вы натворили. Могли ли мы знать, с кем и с чем будем иметь дело? Оставьте собрание.

— Пусть скажут *все*, что хотят этого, — сказал Крукс.

— Прекрасно! — Председатель нервно расхохотался и так затряс колокольчиком, топая в то же время ногами, что тишина, улучив мо-

мент, встала стеной. — Господа! Милостивые государи! Помогите прекратить это! Господин Крукс, — если хоть один-единственный человек здесь присутствующий, нормальный и взрослый, скажет, что ожидает от вас действительного полета, — срамитесь или срамите до конца нас! Кто ожидает этого? Кто ждет? Кто верит?

Тут, врассыпную, но так скоро, что утих снова было поднявшийся шум, так ненарушимо-предательски установилось молчание действительное, полное невидимо обращенных вниз больших пальцев, что Тави сжалась: «Раз, два, три, восемь», — отсчитывала она, терпя в счете до десяти, чтобы разгромить ставшую ей ненавистной толпу, и вынудила себя сказать «десять», хотя от девяти держала мучительную, как боль, паузу. Молчание, сложив локти на стол, тупо уставилось в них подбородком, смотря вниз; Крукс быстро взглянул на девушку. Тогда, вся внутренно зазвенев и став до беспамятства легкой, шагнула она вперед, потрясая указательным пальцем, красная и сердитая на вынужденный героизм свой. Но лишь инстинкт двинул ее.

— Я! Я! Я! — закричала она со смехом и ужасом.

Тут все взгляды, как показалось ей, прошли

сквозь ее тело; толпа двинулась и замерла, взрыв хохота окатил девушку ознобом и жаром, но, почти плача, увлекаемая порывом, она, сжав кулачок, двигала указательным пальцем, сердито и беспомощно повторяя:

— Да, да, я; я знаю, что полетит!

Сраженный председатель умолк; он растерялся. Члены совета, ухватив его за руки, яростно шептали нечто невразумительное, отчего он, совершенно не поняв их, сдался решительному нападению Тави.

— Я *держу* слово, — сказал он, отмахиваясь и расталкивая советников, — но я больше не председатель; пусть дитя и сумасшедший владеют клубом!

— Увы, мне не нужен клуб, — сказал Крукс, — не нужен он и моей заступнице. Отойдите! — И, как никто уже не противоречил завоеванию, он поместился внутри аппарата, оказавшегося, несмотря на хрупкую видимость, отменно устойчивым; как бы прирос он к земле, не скрипнув, не прозвенев; и белая голова лебедя гордо смотрела перед собой, дыша тайным молчанием. Сев, Крукс взял кисть бисерных нитей, прикрепленных к бортам, и потянул их; тогда, вначале тихо, а затем со стремительно возрастающей силой

тысячи мельчайших струн, от которых дрожит грудь, все вязи и гирлянды колокольцев стали звенеть, подобно знойным полям кузнечиков, где кричит и звенит каждый листок. Этой ли, или другой силой — совершилось движение: ладья мерно поднялась вверх на высоту дыма костра и остановилась; то место, где только что стояла она, блестело пыльным булыжником.

Что освободилось, что скрылось в вспотевшей душе толпы, как только грянул этот удар, разверзший все рты, выпучивший все глаза, перехвативший все горла короткой судорогой, — отметить не дано никаким перьям; лишь слабое сравнение с картонной цирковой гирей, ухватясь за которую профан заранее натуживает мускулы, но, вмиг брошенный собственным усилием навзничь, еще не в состоянии понять, что случилось, — может быть уподоблено впечатлению, с каким отступили и разбежались все, едва Крукс поднялся вверх. Некоторое время он был неподвижен, затем с правильностью нарезов винта и с быстротой велосипеда стал уходить вверх мощной спиралью, пока ладья и сам он не уменьшились до размеров букета. Но здесь, порвав наконец все путы, настиг его вой и рев такого восторга, такого остервенелого и дикого

ликования, что шляпы, полетевшие вверх, казалось, не выдержали жара голов, накаленных самозабвением. Только мертвец, сохрани он из исчезнувших чувств своих единственное — чувство внимания, мог бы разобраться в бреде и слепоте криков, какие, перепутав друг в друге все концы и начала, напоминали скорее грохот грузовых телег, мчащихся вскачь, чем человеческие слова; уже не было ни скептиков, ни философов, ни претензий, ни самолюбий, ни раздражительности, ни иронии; как Кохинор, брошенный толпе нищих, взорвал бы наиопаснейшее из взрывчатых потемок души, так зрелище это, эта непобедимая очевидность ринулась на зрителей водопадом, перевернув все.

— Ура! Ура! Гип! Ура! — вопили энтузиасты, оглядываясь, вопят ли другие, и видя, что, надрываясь, кричат все, — били в ладоши, перебегая взад-вперед, толкая и тряся за руки тех, кто в свою очередь уже давно сам тряс их.

— Новая эра! Новая эра воздухоплавания! Гип, ура! Власть, полная победа над воздухом! Я умираю, мне дурно! — кричали дамы.

Другие, с глазами полными торжественных слез, степенно утирали их, приговаривая как в бреду: «Выше электричества; может быть, больше

радия… что мы знаем об этом?»

— О боже мой, — слышалось везде, где не находили уже ни слов, ни мыслей и могли только стонать.

Над всем этим, искрясь, едва слышно звеня и цветя подобно драгоценному украшению, покачивался, остановясь, шелковый прибор Крукса. Он там сидел как на стуле. Его губы пошевелились, он что-то сказал, и благодаря высоте внизу лишь через одно-два дыхания, как из самого воздуха, раздалось:

— Четыре тысячи колокольчиков. Но могло быть и меньше.

Ладья повернулась, двинулась по уклону кривой прочь так быстро, что никто не уследил направления, — стала точкой, побледнела и скрылась. Тогда, трепеща и плача от непонятной гордости, Тави сказала тем, кто успокаивал и утешал ее, допрашивая в то же время, кто такой Крукс, так как думали, что она близко знает его:

— Чему вы так удивляетесь? Аппарат тот изобретен и… имеет, конечно, ну… винты, и какие там надо двигатели. Летают же ваши аэропланы?! Я знала, что полетит. Уж очень мне понравились колокольчики!

VIII

Как часто, приветствуя покойный свет жизни, доверчиво отдаемся мы его успокоительной власти, не думая ни о чем ни в прошлом, ни в будущем; лишь настоящее, подобно листьям перед глазами присевшего под деревом путника, колышется и блестит, скрывая все дали. Но непродолжительно это затишье. Смолкла или нет та музыка, гром которой отрывал наше беспокойное «я» от уютных мгновений, — все равно; воскресает, усиливаясь, и заставляет встать, подобная крику, долгая звуковая дрожь. Она мощно звенит, и демон напоминания, в образе ли забытом, любимом; в надежде ли, протянувшей белую руку свою из черных пустынь грядущего; в поразившем ли мысль остром резце чужой мысли, — садится, смежив крылья, у твоих ног и целует в глаза…

С того дня, как навсегда ушел Друд, жизнь Руны Бегуэм стала неправильной; не сразу заметила она это. Поначалу неизменной текла и внешняя ее жизнь, но, подтачивая спокойную форму, неправилен стал тот свежий, холодный тон самодержавной души, силой которого владела она

днями и ночами своими. Не было в ней ни гнева, ни сожаления, ни разочарования, ни грусти, ни зависти; холодно отвернулась она от грез, холодно взглянула она на то, что встало непокорным перед ее волей, и оставила его вне себя. Она стала жить как жила раньше; немного повеселее, немного лишь просторнее и общительнее. Галль уехал с полком в отдаленную колонию; она пожалела об этом. Все реже, все мертвеннее, как болезнь или причуду, о которой не с кем говорить так, чтобы понял то и правильно оценил собеседник, вспоминала она дни, павшие как разрыв в пену ее жизни, и Друда вспоминала скорее как наитие, сверкнувшее формой человеческой, чем как живое лицо, руку которого держала в своей. Но отдыхом лишь мелькнул этот спокойный один месяц; уже мрак был близко; он постучал и вошел.

Он вошел в серый день тумана — в мозг, нервы и кровь, сразу, как, чуть покрапав, льет затем дождь. То было после беспокойного сна. Еще чуть светало; Руна проснулась и села, не зная, чем вернуть сон; сна не было, ни мыслей не было, ни раздражения — ничего.

Взгляд ее блуждал размеренно, от пола и мебели направляясь вверх, как смотрим мы в поисках

опорной точки для мысли. И вот увидела она, что спальня высока и светла, что музы и гении, сплетшиеся на фигурном плафоне, одержимы стройным полетом, и в чудовищной живости предстали ей неподвижные создания красок. «Они летят, летят», — сказала, присмирев, девушка; широко раскрыв глаза, смотрела она душой, теперь еще выше и дальше, за отлетающие пределы здания, в ночную пустоту неба. Тогда, с остротой иглы, приставленной к самым глазам, Друд вспомнился ей сразу, весь; высоко над собой увидела она его тень, движения и лицо. Он мчался, как брошенный, свистя, нож. Тогда не стало уже и малейшего уголка памяти, в котором не запылал бы нестерпимый свет точного, второго переживания; снова увидела она толпу, цирк и себя; хор музыки рванул по лицу ветром мелодии, и над озаренной ареной, поднявшись неуловимым толчком, всплыл, как поднятая свеча, тот человек с прекрасным и ужасным лицом.

Она дрогнула, вскочила, опомнилась, и страх тесно прильнул к ее быстро задышавшей груди. В уверенной тишине спальни никла роскошная пустота; в пустоте этой всплыло и двинулось из ее души все, равное высоте, — тени птиц, дым облаков и существа, лишенные форм, подоб-

ные силуэтам, мелькающим вкруг каретного фонаря. Она держала руку у сердца, боясь посмотреть назад, где звонок, — с холодными и бесчувственными ногами. И вот прямо против нее, помутнев, прозрачной стала стена; из стены вышел, улыбнулся и, поманив тихо рукой, скрылся, как пришел, Друд.

Тогда словно из-под нее вынули пол; страх и кровь бросились в голову; как в темном лесу, средь блеска и тишины роскошного своего уюта очутилась она, чувствуя кругом таинственную опасность, подкравшуюся неслышно. Боясь упасть, склонилась она к ковру, гордостью удержав крик. Но оцепеневшее сердце, вновь стукнув, пошло гудеть; мысли вернулись. Звонок! Спасительная точка фарфора! Она прижала ее, задыхаясь и изнемогая от нетерпения, боясь обернуться, чтобы не увидеть того, что, чудилось, смотрит из всех углов в спину. С наслаждением усталого вздоха смотрела Руна на практично-здоровое лицо молодой женщины, прерванный сон которой был спокоен, как ее перина. Вихрь рассеялся, обычное вновь стало обычным — вокруг.

— Поговори со мной и посиди здесь, — сказала горничной Руна, — мне не спится, не по себе; расскажи что-нибудь.

И пока рассвет не окружил штор светлой чертой, служанка, слово за словом, перешла к того рода болтовне, которая не утомляет и не развлекает, а помогает самому думать. Как жила, где служила раньше; что было у хозяев смешно, плохо или отлично. Руна вполслуха внимала ей, прислушиваясь, как больная, к щемящему душу жалу угрозы; слушала и перемогалась.

Немного прошло дней, и люди света, встречаясь или отписывая друг другу, стали твердить: «Вы будете на вечере Бегуэм?» — «Была ли у графа W Руна Бегуэм?» — «Кто был на празднике Бегуэм?» — «Представьте меня Руне Бегуэм». — «Расскажите о Руне Бегуэм». Как будто родилась вновь красавица Бегуэм и снова начала жить. Ее сумасшедшие заказы бросали в пот и азарт лучшие фирмы города; у ювелиров, портних, более важных и знаменитых, чем даже некоторые фамилии, у вилл и театров, у ярких, как пожар ночью, подъездов знати останавливалась теперь каждый день карета Бегуэм, смешавшей жизнь в упоительное однообразие праздника. Словно оглянувшись назад и спохватясь, вспомнила она, что ей лишь двадцать два года; что отчужденность, хотя бы и оригинального тона, гасит постепенно желания, лишая сердце золотого

узора и цветных гирлянд бесчисленных наслаждений. Щедрой рукой она повернула ключи, и, шумно приветствуя ее, грянули из всех дверей хоры привета; королевой общества, счастьем и целью столь многих любвей стала она, что уже в одном пожатии мужской руки слышала целую речь, — признание, или завистливый вздох, или же тот нервный трепет холодных натур, который обжигает как лед, действуя иногда сильнее всех монологов. Казалось, рауты и балы, приемы и вечера восприняли несравненный блеск, волнение тончайшего аромата, с тех пор как эта нежная и сильная красота стала улыбаться средь них; остроумнее становились остроумцы; наряднее — щеголи; особый свет, отблеск восхитительного луча, сообщался даже некрасивым и старым лицам, если находились те люди в ее обществе. Все обращалось к ней, все отмечало ее. Каждый, внимая ей или следя, как кружит она в паре с красивым фраком, где пробор и осанка, гордый глаз и бархатный ус тлеют, уничтожаясь близостью этого молодого огня, развевающего белый шлейф свой среди богатой и свободной толпы, думал, что здесь предел жизнерадостному покою, озаренному крылом счастья, что нет счастливей ее; и, так думая, не знали ничего — все.

«Забудьте, забудьте!» — слышала иногда Руна во взрыве ликующих голосов, в вырезе скрипичного такта или стука колес, ветром уносящих ее к новому оживлению; но «забудьте!» — само предательски напоминает о том, что тщится стереть. Не любовь, не сожаление, не страсть чувствовала она, но боль; нельзя было объяснить эту боль, ни про себя даже понять ее, как, в стороне от правильной мысли, часто понимаем мы многое, легшее поперек привычных нам чувств. Тоска губила ее. Куда бы ни приезжала она, в какое бы ни стала положение у себя дома или в доме чужом, не было ей защиты от впечатлений, грызущих ходы свои в недрах души нашей; то как молнии внезапно сверкали они, то тихо и исподволь, накладывая тяжесть на тяжесть, выщупывали пределы страданию. Смотря на купол театра, медленно поднимала она руку к глазам, чтобы закрыть начинающее возникать в высоте; высота кружилась; кружился, трепеща свод; свет люстр, замирая или разгораясь, ослеплял, кроя туманом блестящий поворот ярусов, внизу которых, подобная обмороку, светилась отвесная бездна. Тогда все впечатления, вся наличность момента, зрелища, сцены и любезного за спиной полушепота спокойных мужчин, чья одна бли-

зость была бы уже надежной защитой при всякой иной опасности, делались невыносимой обузой; и, выждав удар сердца, удар, рождающийся одновременно в висках и душе, к барьеру соседней ложи подходил Друд.

Тогда, бледнея и улыбаясь, она говорила окружающим, что ей нехорошо, затем уезжала домой, зная, что не уснет. Всю ночь в спальне и остальных помещениях ее дома горел свет; прислушиваясь к себе, как к двери, за которой, тихо дыша, стоит враг, сидела или ходила она; то рассмеявшись презрительно, но таким смехом, от которого еще холоднее и глуше в сердце, то плача и трепеща, боролась она со страхом, стремящимся сорвать крик. Но крик был только в душе.

— Довольно, — говорила она, когда несколько дней покоя и хорошего настроения давали уверенность, что бред этот рассеялся. Прекрасная, с прекрасной улыбкой всходила она по лестнице, где на поворотах, отраженная зеркалами, сопровождала ее от рамы до рамы вторая Руна, или усаживалась в полукруг кресел среди мелькающих вееров, или, опустя поводья, верхом двигалась по аллее, говоря спутникам те волнующие слова, в которых, как ни обманчиво близки они к счастливой черте скрытого обеща-

ния, незримой холодной гирей висит великое «нет», — все с той же мыслью «довольно» и даже без мысли этой, лишь в настроении счастливой свободы, вся собранная в пену и сталь. Тогда, смотря в зеркало с внезапной тоской, видела она, что в его глубине рядом с ней идет задумчивый Друд; что подобные жемчужным крыльям веера со свистом бьют воздух; что все громаднее, белее они, и чувство полета, острой и стремительной быстроты наполняло ее чудным мученьем. Она гладила лошадь, но, отвернув голову и собрав ноги, та, задрожав, не шла более; пятясь на месте, животное, казалось, жило в этот момент нервами своей госпожи, сердце которой билось, как копыта били песок; опустив голову, стоял, спокойной рукой держась за узду, Друд. Он взглянул и исчез.

IX

Чем дальше, тем страшнее было ей жить. Не стерпев, она обратилась к Грантому — одному из тех положительных, но мало знаменитых людей, к которым привлекает окружающая их атмосфера ученой самоуверенности и практической чистоты; чья лысая голова с дарвиновским

лицом и строго-человеческим взглядом поверх золотых очков как бы собирает нам тени и свет доверия в одном теплом порыве. Раздумывая о сумасшествии и опасаясь его, но не желая, однако, говорить все, Руна обошла это формой галлюцинации, сказав профессору, что иногда видит бесследно скрывшегося знакомого. Отношение свое к вымышленному лицу она перевела с подлинника, обозначив таким образом все тонкости впечатлений рисунком обычных встреч. Одно прибавила она, дабы характеризовать общую форму: «Казалось мне, что в натуре его лежит нечто поразительное и тайное, до тех пор занимавшее мои мысли, пока не стало безосновательным, странным предубеждением». Но сеть волнистых линий ее объяснения была в чем-то не вполне правильна, неровна была линия передачи этой, и Грантом почувствовал ложь.

– *Вам* хуже, если вы не вполне искренни, — сказал он, впрочем, не настаивая знать подробнее; выслушав и осмотрев Руну, он, пристукивая карандашом, как бы подчеркивая стуком некоторые слова, сказал ей: — Вы здоровы. Все нормально в вас; нормальны душа и тело. Я скажу более: физически вы безукоризненны. Немного поговорив с вами, я вижу, что крайняя нервность, вызванная

особыми обстоятельствами, проявляется тем более резко, что она находится в замкнутом кругу сильной воли, сдерживающей ее проявление. Об этом я хочу поговорить с вами подробнее; пока перейдем к лечению, поскольку вы в нем нуждаетесь.

Он испытующе взглянул на нее, но мельком; так смотрят, имея заднюю мысль; при мимолетности взгляда можно было счесть его смысл ошибкою беглого впечатления. Но тон, тон — этот безошибочный привкус речи — настроил Руну еще внимательнее, чем была она до сей минуты, — если вообще может быть различно внимателен человек, ждущий спасения. Грантом продолжал:

— Брак. Вот первое, что — хотите вы или не хотите — уничтожит вторую сферу, дверь которой в мгновения, не подлежащие учету науки, раскрывается перед вами внезапно, являя таинственное сверкание двойственных образов психофизического мира, которыми полно недоступное. Заметьте — оно открыто не всем.

Он замолчал, щурясь и всматриваясь сквозь очки глухим взглядом в бледные черты Руны; сведя брови, надменно улыбалась она, стараясь связать некоторые странные фразы Грантома с

особенностью своего положения. Казалось, он заметил ее усилие: едва чувствуемый оттенок расположения, большего, чем вправе ожидать *только* клиент, разом исчез, едва он, откинувшись по глубине кресла в тень лампы, вернулся к практическому совету.

— Здоровый человек любящей и сильной души, — не может быть, чтобы *вы* не встретили такое простое, но, с известной стороны, полное счастье, — такой человек, — говорю я, — брак и дети — словом, семья, — выведут вас теплой и верной рукой к мирному свету дня. Допустим, однако, что осуществлению этого мешают причины неустранимые. Тогда бегите в деревню, ешьте простую пищу, купайтесь, вставайте рано, пейте воду и молоко, забудьте о книгах, ходите босиком, чернейте от солнца, работайте до изнурения на полях, спите на соломе, интересуйтесь животными и растениями, смейтесь и играйте во все игры, где не обойтись без легкого синяка или падения в сырую траву вечером, когда душистое сено разносит свой аромат, смешанный с дымом труб, — и вы станете такой же, как все.

Спокойное слово развеселило и ободрило девушку.

— Да, я так сделаю, это прелестно, — сказала

она с воодушевлением, полным живописных картин; как бы уже став полудикой, сильной и загорелой, отважно взмахнула она рукой. — Я вытрясу там все яблони; а лазить через забор? Девочкой я лазила по деревьям. Грантом! Добрый Грантом! Спасите меня!

— Я спасу. — Он сказал это с задумчивостью и суровой энергией, но так, что следовало ожидать еще слов, быть может, условий. Затем Грантом повернул лампу, выказавшись в ярком свете ее весь, с улыбающимся неподвижно лицом. Улыбка собрала к его мило прищуренным глазам бодрого и умного старика сетку морщин, эти глаза теперь блестели остро, как искры очков. — Но слушайте, — внезапно оживляясь, сказал он, — не многим я говорю то, что вы услышите; лишь тем, кто отвечает мне складом души. *Вам* будет понятно сказанное. Не поразитесь и не смутитесь вопросом: уверены *ли* вы, что *это* — галлюцинация?

Подозревая хитрое испытание, Руна, несколько волнуясь, сказала:

— Да, я вполне уверена; странно было бы думать иначе; не так ли?

— Думать, — сказал Грантом, смотря на ее лоб, — *думать*. Или — знать. Что знаем мы о себе?

Однако мы действительно знаем нечто, стоящее за пределом чистого опыта. Не *думаете* ли вы, что нервность наша, общая сумма нервности, звучащей ныне таким знаменательным и высоким тембром, есть явление, свойственное и прежним векам? Отметим лишь эту громадную разницу, не задевая причин. Человек пятнадцатого столетия знал силу душевного напряжения, но не разветвлений его; во всяком случае, столь бесчисленных, столь подобных дробимости нитей асбеста; там, где человек пятнадцатого столетия просто кричал «хочу», нынешнее это «хочу» облечено в тончайшие ткани изменчиво противоречивых душевных веяний и напевов, где самая основа его есть уже не желание, а — мировоззрение. Теперь возьмем ближе. Мы вздрагиваем от фальшивой ноты, морщимся от неточного или неверного жеста; заразиться или заразить других своим настроением так обычно, что распространено во всех классах и условиях жизни; слова «я знал, что вы это скажете», «это самое я подумал», понимание с полуслова или даже при одном взгляде; оборачивание на взгляд в спину; ощущение, что перед нами кто-то был там, куда мы едва вошли; смена и глубина настроений — есть лишь жалкие и обыденнейшие примеры могущества нервного

восприятия нашего, принимающего размеры стихийные. Не думаете ли теперь вы, что, быть может, скоро наступит время, когда в этом сплетении, в этом сливающемся скоплении нервной силы исчезнут все условные преграды и средства общения? Что слово станет ненужным, ибо мысль будет познавать мысль молчанием, что чувства определятся в сложнейших формах; что в едином духовном том океане появятся души-корабли, двигаясь и правя наверняка? В какой же сфере действуют эти силы?

— Я пропущу, — продолжал он, понижая голос, — все соображения мои касательно этого пункта, как ни интересны они, чтобы подойти к главному, в связи с вами. Есть сфера — или должна быть — подобно тому, как должна была быть Америка, когда стало это ясно Колумбу, — в которой все отчетливые представления наши несомненно реальны. Этим я хочу сказать, что они получают существование в момент отчетливого усилия нашего. Поэтому я рассматриваю галлюцинацию как феномен строгой реальности, способной деформироваться и сгущаться вновь. Хотя мне ваш покой дорог, я со стеснением сочувствовал вам; я вздрагивал от радости вашей усыпить душу деревней. Если только у вас есть

сила, — терпение; есть сознание великой избранности вашей натуры, которой открыты уже сокровища редкие и неисчислимые, — введите в свою жизнь тот мир, блестки которого уже даны вам щедрой, тайной рукой. Помните, что страх уничтожает реальность, рассекающую этот мир, подобно мечу в неокрепших еще руках.

Руна, опустив глаза, слушала и не могла вскинуть ресницы. Грантом говорил медленно, но свободно, со сдержанной простой силой точного убеждения; но не поднимала она глаз, ожидая еще чего-то, что, казалось, — взгляни она, — не будет никогда сказано. Благодаря способности, присущей весьма многим, и инстинкту она завязала рот всем впечатлениям, лишь умом отмечая периоды речи Грантома, но мысленно не отвечая на них. Грантом продолжал:

— Реальности, о которых говорю я, — реальности подлинные, вездесущи, как свет и вода. Так, например, я, Грантом, ученый и врач, есть не совсем то, что думают обо мне; я — *Хозиреней*, человек, забывший о себе в некоторый момент, уже не подвластный памяти; ни лицо, ни вкусы мои, ни темперамент, ни привычки не имеют решительно ничего общего с Грантомом данного типа. Но об этом мы поговорим в другой раз.

Тогда Руна почувствовала, что должна и может посмотреть теперь так, как выразилось ее настроение. Она взглянула — с впечатлительностью охотника, палец которого готов потянуть спуск, и увидела Грантома иначе: глаза, с полосой белка над острым зрачком. Лицо, потеряв фокус — тот невидимый центр, к которому в гармонии тяготят все черты лица, напоминало грубый и жуткий рисунок, полный фальшивых линий. Перед ней сидел сумасшедший.

— Грантом, — мягко произнесла девушка, — так что же? Брак и деревня? *Не соединить ли мне это* — пока?

Грантом стронулся, пожал плечами, поднял брови и, вздохнув, поправил очки. Малейшего следа искажения не оставалось теперь на его лице, смотревшем из-под очков с вежливой сухостью человека, ошибшегося в собеседнике. Он наклонил голову и поднялся. Руна подала руку.

— Да, — подтвердил он, — все как я сказал или в том духе. Лекарства не нужны вам. Будьте здоровы.

И она вышла, раздумывая, — то ли говорил он, что поразило ее. Но он говорил *то*, именно *то*, и она не разгадала его особой *минуты*.

X

На другой день ей привезли розы из Арда; тот округ славился цветами, выращивая совершеннейшие сорта с простотой рая. Она разбиралась в их влажной красоте с вниманием и любовью матери, причесывающей спутанные кудри своего мальчика. Только теперь, когда все исключительное, как бы имея первый толчок в Друде, спокойно осиливало ее подобно магниту, располагающему железные опилки узором, прониклась и изумилась она естественным волшебством цветка, созданного покорить мир. Перед ней на круглом столе лежал благоухающий ворох, с темными зелеными листьями и покалывающей скользкой гладью твердых стеблей. Всепроникающий аромат, казалось, и был тем розовым светом, таящимся среди лепестков, какого лишены розы искусственные. Самые цветы покоились среди смелой листвы своей в чудесном разнообразии красоты столь прелестно-бесстыдной, какая есть в спящей, разметавшейся девушке. Бледный цвет атласисто завернувшихся лепестков нежно оттенял патрицианскую роскошь алого, как ночь, венчика, твердые лепестки которого, казалось,

связанные обетом, — рдели, не раскрываясь. Среди их пурпура и зари снегом, выпавшим в мае, пестрели белые розы, которыми, невольно окрашивая их, слово «роза» сообщает уютную жизненность, дышащую белым очарованием. И желтые — назвать ли их так, повторяя давний грех неверного слова, — нет, *не* золотые, *не* желтые, но то, что в яркой особенности этих слов останется недосказанным, — были среди прочих цариц подобны редкому бархату, в складки которого лег густой луч.

Руна разобрала их, погрузив в вазы, и там, краше всех тонких узоров дорогого стекла, стали они по предназначенным им местам встречать взгляды.

Пока девушка занималась этим, в ней складывалось письмо; но не сразу поняла она, что это — письмо. Рассеянно погружаясь в цветы и аромат их, равный самой любви, слышала она слова, возникающие в рисунке усилий, в душе движения пальцев и роз, в самом прикосновении. Вот расцепились стебли, соединить которые хотелось ей ради эффекта, мешал же тому завернувшийся внутрь бутон, и без звука началась речь: «Я хочу встретиться с вами, проверить и пересмотреть себя». Слова эти были обращены

к твердой и надежной руке, не похожей на женственную руку Лидса, приславшего тот цветник, каким увлеченно занималась она теперь, — к воображенной руке обращалась она, несуществующей, но необходимой, и в *такой* руке мысленно видела свои розы. «Возьмите их, — сказал тот, чьего лица не видела Руна, — не бойтесь ничего рядом со мной». На руку ее упал лепесток. «Я жду, что вы мне напишете», — подсказал он; тут же, уколов палец, от чего движение руки случайно соединило две розы, белую и бордо, она увидела их прижавшимися, в столь разной, но столь внутренне близкой и взаимно необходимой красе, что этого *не могло не быть*. «Что знаем мы о себе, и если я вам пишу, случайно ли это? Быть вместе — пока все, о чем думаю я. Рады ли вы этим словам?» — так, без мысли о незримом резце, ваяющем настроение, импровизировала она речь твердой руке; здесь подали ей письмо.

Оставив цветы, Руна стала читать любезное и остроумное повествование бравого балагура: лесть, шутки, наблюдения, остроты и гимны — то легкое, лишь спокойному сердцу внятное давление мужского пара, каким действуют психологи сердечного спорта. Без улыбки прочла она привычную и искусную лесть, но был там

постскриптум, где одно имя — *Галль* — тяжко взволновало ее: «Вот черная весть, естественно вызывающая почтительное молчание, — и я кладу перо; капитан Галль скончался в Азудже от лихорадки. Мир славной его душе».

Ее как бы хлестнуло по глазам, и, тронув их холодной рукой, еще раз прочла Руна красноречивый постскриптум. Все то же прочла она — ни больше, ни меньше; лишь больше — в своей душе, поняв, что письмо, едва родившееся в ней, пока она разбирала цветы, — смято уже этим ударом; что думалось и назначалось оно в Азуджу — *ради спасения* — погибшему офицеру.

XI

К концу сентября Руна переехала в Гвинкль, где горы обступают долину небесным снегом, строго наказав прислуге не сообщать никому ее адрес, и всем запретила писать себе. Ее круг, узнав это, переглянулся с церемонной улыбкой, приветствующей каприз, ставший законом.

Она сняла в деревенской семье комнату с бедной обстановкой, живя, как жили окружавшие ее люди. Преодолев насмешливые или недоброжелательные взгляды, работала она на

виноградниках и в садах, в изнеможении таская корзины, полные винограда и слив, копая землю, умываясь в ручье, засыпая и вставая с зарей, питаясь кислым хлебом и молоком, не зная книг, далеко уходя в лес, в дикой громаде которого печально рассматривала внутренний мир свой, как смотрят на драгоценный сосуд, теряющий замкнутое свое единство от расколовшей его трещины. Как ни уставала, как ни томилась она среди этого мира, где одинаково звучат ласка и брань, где позыв заменяет желание, где никто не видит листьев и цветов так, как видим мы их, будто читая книгу, — ничто не утратила она ни из осанки, ни из выражений своих и, содрогаясь тонким плечом под тяжестью фруктовых корзин, шла так же, как входила на бал. Она загорела, ее руки покраснели и стали портиться, но следовала она намеченному с упорством страдающего бессонницей, который, повернувшись лицом к стене и отсчитывая до ста, готов еще и еще повторять счет — пока не заснет. Так шла неделя, другая, на третьей почувствовала она, что хороша и мила ей эта раскинувшаяся цветущим трудом земля; что «я» и «она» можно соединить в «мы» без мысли, лишь вздохом успокоения. Она стала напевать, мирно улыбаться прохожим, шевелить носком

прут, устойчивость и мера вещей снова окружали ее. Руна окрепла.

Раз вечером утих ветер; западное небо побледнело и выяснилось, как зеркало, отразившее пустоту. Три облака встали над красной полосой горизонта — одно другого громаднее, медленно валились они к тускнеющему зениту, — обрывок великолепной страны, не знающей посещений. Едва наделяло воображение монументальную легкость этих эфемерид земной формой пейзажа, полного белым светом, как с чувством путника бродило уже вверху, в сказочном одиночестве непостижимой и вечной цели. Легко было задуматься без желаний, отчетливым сном раскрывшей глаза души над отблесками этой страны, но нелегко вернуться к себе, — печально и далеко звеня, падало, теряясь при этом, что-то, подобное украшению.

Не скоро заметила Руна, что к легкому ее созерцанию подошло беспокойство, но, различив среди светлых теней вечера темную глухую черту, встала, как при опасности. Протянув руку, отталкивала она этот набег — вихрь, какой — сердце не обмануло ее — возник в облачных садах Гесперид. Звонкие голоса играющих детей стали вдруг смутны, как за стеной; силы оставили ее;

беспомощно устремив взгляд на плавное движение облачного массива, увидела она, что прямо к ее лицу мчатся, подобно налетающей птице, блестящие задумчивые глаза, — ни черт, ни линий тела не было в ужасной игре той, — одни лишь, получившие невозможную жизнь среди алой зари, падая и летя, близились с воздушных стремнин глаза Друда. Как при встрече, были уже близки и ясны они, но, едва сердце несчастной стало на краю обморока, мгновенно исчезли.

Два дня Руна была больна, на третий, с внезапным отвращением к тому, что так еще недавно поддерживало и веселило ее, возвратилась домой. Она не потеряла надежды. Напротив, в новой надежде этой, так просто протянувшей ей руку, встретила она как бы старого друга, о котором забыла. Но друг был тут, рядом — стоило лишь с доверием обратиться к нему. Его голос был так же спокоен, как и в дни детства, — вечен, как шум реки, и прост, как дыхание. Следовало послушать, что скажет он, выслушать и поверить ему.

Тот день она провела тихо, не беспокоили ее ни мелочи жизни, ни страх, ни воспоминания. Прошлое двигалось как бы за прозрачной стеной, незыблемой и пропускающей душевные бедствия, и она тихо рассматривала его. Как

стемнело, Руна вышла одна, калиткой сада, в сеть второстепенных улиц города; за ними был переулок с маленькой церковью, стоявшей на небольшой площади. Вечерняя служба кончилась; несколько прохожих миновали ее, выйдя из освещенных дверей, в глубине которых блестели серебро и свеча. Уже разошлись все, храм был полутемен и пуст; церковный сторож, подметая за колоннами пол, передвигал огромную свою тень из угла в угол, сам оставаясь невидимым; мерный шум его щетки, потрескивание горящего воска и тишина, еще полная теплого церковного запаха, казалось, всегда были и всегда будут здесь, маня внутренно отдохнуть.

Хотя свечи догорали в приделах, сообщая лиловеющими огнями лицам святых особенное выражение тайной, ушедшей в себя жизни, алтарь был освещен ярко; блестели там цветные и золотые искры сосудов; огромные, снежной белизны свечи вздымали спокойное пламя к полутьме сводов, отблеск которого золотой водой струился по потемневшим краскам образа Богоматери бурь, лет тридцать назад заказанной и пожертвованной моряками Лисса. Буйная братия украшала драгоценность свою как могла. Не один изъеденный тропическими чесотками,

почерневший от спирта и зноя, начиненный болезнями и деяниями, о которых даже говорить надо, подумав, как то сказать, волосатый верзила, разучившись креститься лоб, а из молитв помня лишь «Дай», являлся сюда после многолетнего рейса, умытый и выбритый; дрожа с похмелья, оставлял он перед святой девушкой Назарета, что мог или хотел захватить. На деревянных горках лежали здесь предметы разнообразнейшие. Модели судов, океанские раковины, маленькие золоченые якоря, свертки канатов, перевитые кораллом и жемчугом, куски паруса, куски мачт или рулей — от тех, чье судно выдержало набег смерти; китайские ларцы, монеты всех стран; среди пестроты даров этих лежали на спине со злыми, топорными лицами деревянные идольчики, вывезенные бог весть из какой замысловатой страны. Смотря на странные эти коллекции, невольно думалось и о бедности и о страшном богатстве тех, кто может дарить так, сам искренне любуясь подарком своим, и ради него же лишний раз заходя в церковь, чтобы, рассматривая какого-нибудь засохшего морского ежа, повторить удовольствие, думая: «Ежа принес я; вот он стоит».

Среди этого вызывающего раздумье великоле-

пия, воздвигнутого людьми, знающими смерть и жизнь далеко не понаслышке, взгляд божественной девушки был с кротким и важным вниманием обращен к лицу сидящего на ее коленях ребенка, который, левой ручонкой держась за правую руку матери, детским жестом протягивал другую к зрителю, ладошкой вперед. Его глаза — эти всегда задумчивые глаза маленького Христа — смотрели на далекую судьбу мира. У его ног, нарисованный технически так безукоризненно, что, несомненно, искупал тем общие недочеты живописи, лежал корабельный компас.

Здесь Руна стала на колени с опущенной головой, прося и моля спасения. Но не сливалась ее душа с озаренным покоем мирной картины этой; ни простоты, ни легкости не чувствовала она; ни тихих, само собой возникающих единственно-нужных слов, ни — по-иному — лепета тишины; лишь ставя свое бедствие мысленно меж алтарем и собой, как приведенного насильно врага. Что-то неуловимое и твердое не могло раствориться в ней, мешая выйти слезам. И страстно слез этих хотелось ей. Как мысли, как душа, стеснено было ее дыхание, — больше и прежде всего чувствовала она себя, — такую, к какой привыкла, — и рассеянно наблюдая за собой, не могла выйти

из плена этого рассматривающего ее, — в ней же, — спокойного наблюдения. Как будто в теплой комнате босая на холодном полу стояла она.

— Так верю ли я? — спросила она с отчаянием.

— Верю, — ответила себе Руна, — верю, конечно, нельзя не знать этого, но отвыкла чувствовать я веру свою. Боже, окропи мне ее!

Измученная, подняла она взгляд, помня, как впечатление глаз задумавшегося ребенка подало ей вначале надежду увлекательного порыва. Выше поднялось пламя свечей, алтарь стал ярче, ослепительно сверкнул золотой узор церкви, как огненной чертой было обведено все по контуру. И здесь, единственный за все это время раз — без тени страха, так как окружающее самовнушенной защитой светилось и горело в ней, — увидела она сквозь золотой туман алтаря, что Друд вышел из рамы, сев у ног маленького Христа. В грязной и грубой одежде рыбака был он, словно лишь теперь вышел из лодки; улыбнулся ему Христос довольной улыбкой мальчика, видящего забавного дядю, и приветливо посмотрела Она. Пришедший взял острую раковину с завернутым внутрь краем и приложил к уху. «Вот шумит море», — тихо сказал он. «Шумит… море…» — шепнуло эхо в углах. И он подал раковину Христу,

чтобы слышал он, как шумит море в сердцах. Мальчик нетерпеливым жестом схватил ее, больше его головы была эта раковина, но, с некоторым трудом удержав ее при помощи матери, он стал так же, как прикладывал к уху Друд, слушать, с глазами, устремленными в ту даль, откуда рокотала волна. Затем палец взрослого человека опустился на стрелку компаса, водя ее взад и вперед — кругом. Ребенок посмотрел и кивнул.

Усмотрев неподвижно застывшую в земном, долгом поклоне женщину, сторож некоторое время ожидал, что она поднимется, — он собрался закрыть и запереть церковь. Но женщина не шевелилась. Тогда, окликнув, а затем тронув ее, испуганный человек принес холодной воды. Очнувшись, Руна отдала ему деньги, какие были с ней, и, сославшись на нездоровье, попросила позвать извозчика, что и было исполнено. Усталая и разбитая, как устают после долгого путешествия, она вернулась домой, спрашивая себя, стоит ли и можно ли теперь жить?

Часть III. Вечер и даль
I

К двенадцатому часу ночи Тави вернулась в Сан-Риоль. Все мелкие и большие события этого дня, подобных которым не было еще в ее жизни, ехали и высадились с ней, и она не могла прогнать их. Они жили и осаждали ее под знаком Крукса.

По стеклянной галерее старого дома, среди развешенного для сушки белья, ненужных ящиков и другого хлама, откатывая ногой пустую бутылку или спотыкаясь о кошку, Тави нащупала свою дверь и, усталой рукою вложив ключ, задумчиво повернула его. Здесь на нее напал малый столбняк, подобный большому столбняку в Лиссе, когда, приложив к губам кончик пальца, она выстояла не менее получаса у витрины в глубокой рассеянности Сократа, решая все и не решив ничего. Среди волнения и потуг малый столбняк этот разразился наконец многочисленными бурными вздохами, а также тщеславным взглядом на себя со стороны, как на бывалого человека — этакого тертого дядю, которого теперь трудно

удивить чем-нибудь.

Получив наконец окончательное круговое движение, ключ пропахал таинственные внутренности замка, став теплым от горячей руки, и вырвался из железа с треском, наполнившим сердце Тави уважением к себе, а также желанием совершить рывком что-нибудь, еще более отчетливое. Войдя, сумрачно осмотрелась она.

Запыленная электрическая лампочка, вокруг которой немедленно появились мухи, вспыхнула своей раскаленной петлей среди беспорядка, возвращаясь к которому после впечатлений иных, мы в первый раз замечаем его. Холодом и пустотой окружена каждая вещь; безжизненно, как засохший букет, в пыли и сору встречает нас покинутое жилище. Кажется, что год мы не были здесь, — так резка нетерпеливая жажда уюта, — с неприглядностью, оставшейся после торопливых и полных надежд сборов.

Все этажи этого дома были окружены крытыми стеклянными галереями, с выходящим на них рядом дверей тесных полуквартир, имевших кухню при самой двери, с небольшою за ней комнатою, два окна которой обращены на полузасохшие кусты пыльного двора. Здесь ютилась ремесленная беднота, мелкие торговцы,

благородные нищие и матросы. У Тави не было мебели, не было также никого родственников. Мебель в квартире осталась от прежнего жильца, пьяницы капитана, давно покинувшего свое ремесло; он умер собачьей смертью во время драки на Берадском мосту; шатнувшись, грузное тело багрового старика опрокинуло гнилые перила, и очевидцы могли рассказать только, что, падая, выругался он страшно и громко. Поток унес его тело, грехи и брань в острые расселины Ревущей щели; тело не было найдено. От него остались — комод, ящики которого распухали иногда по неизвестной причине, не закрываясь неделями; кровать, несколько ковровых складных стульев, шкап с тряпками и коробки из-под табаку, гипсовый раскрашенный сарацин да пара тарелок; остальное, если и было что получше, — исчезло.

Тави не помнила ни отца, ни матери; ее мать, бросив мужа, бежала с проезжим красивым казнокрадом; отец поступил на военную службу и погиб в сражении. Детство свое провела Тави у полуслепой двоюродной тетки, мучаясь, более чем старуха, ее болезнями и припарками, так как они отняли у нее много крови. На пятнадцатом году знакомый теткин книготорговец взял девушку в работу по лавке; она продавала книги и

жила впроголодь. Потом он разорился и умер, а Тави напечатала объявление.

Вот биография, в какой больше смысла, чем в блистательном отщелкивании подошв Казановы по полусветским и дворцовым паркетам мира. Но не об этом думала Тави, сев в кухне перед плитой и кипятя чай; так были резки новые ее впечатления, что она не отрывалась от них. Куда бы задумчиво ни посмотрела она, стена проваливалась в ночь светлым пятном, и в его лучистом дыме над свечами страшного гроба неслись серебряные гирлянды странного аппарата. То представлялось ей, что, как бы тронутый гигантским пальцем, кружится, пестрея, огромный диск города; то чувство случайно попавшего в сражение и благополучно его покинувшего человека поднималось вместе с благодарственным дымом от наболевших пяток к утомленным глазам; то искренно дивилась она, что не произошло чего-нибудь еще более ошеломительного.

— Тави, моя дорогая, — говорила девушка, — как ты на это смотришь? Знала ли я, что существуют города, где от тебя могут остаться только рожки да ножки? Воистину, Торп — Синяя Борода. Кто же такой Крукс? Но это, видимо, вполне порядочный человек. Все-таки он прост, как теленок.

Он мог бы прилететь в своем аппарате и сесть к ним прямо на стол.

Представив это, она залилась смехом, упав в ладони лицом; выразительная дрожь тихой забавы, смеха и удовольствия перебегала в заискрившихся ее глазах, посматривающих на воображаемое из-за пальцев, как из фаты. Она принадлежала к тем немногим поистине счастливым натурам, для которых все в мире так же просто, как их кроткое благодушие; аэроплан и бабочка едва ли сильно разнились на взгляд Тави, разве лишь тем, что у бабочки нет винта. Поэтому более удивительным казался ей неистовый восторг зрителей, чем самый эксперимент.

— Он поднялся, но он сказал, что поднимется; и сказал — почему: вибрация звуков, производимых колокольчиками. Как вышло красиво! Правду сказал кто-то, что искусство воздухоплавания начинает новую эру! Давно пора делать эти вещи красивыми и разнообразными, как делают же, например, мебель.

Сквозь такие мысли, полные острого воспоминания, как она была окружена любопытными, вообразившими, что именно эта девушка *все* знает, и как бегством спаслась от них, неотступно мерещилось лицо самого Крукса; все еще слы-

шала она его голос, как он сказал: «Мы скоро увидимся». Зачем он сказал это? Почему знает он, что Торп умер? Она стала наконец раздражаться, так как ни объяснить, ни придумать ничего не могла, даже в спине заныло от размышлений. «Спросил ли он, по крайней мере, — хочу ли я увидеть его?» — вот вопрос, о который споткнувшись, Тави начала повторять: «Хочу ли увидеть его?», «Хочу ли увидеть его?» — пока ей это не надоело. «Хочу. Да, хочу, и все тут; у него было ко мне хорошее отношение». От этой мысли почувствовала она себя сиротливоусталой, обобранной и затерянной; к глазам подступили слезы. Тави всплакнула, съела кусок хлеба, выпила чай, утихла и легла спать, твердо решив оживить завтрашний день рождения весельем и угощением немногих своих знакомых.

Повертываясь лицом к стене, тронула она грудь, чувствуя, что чего-то нет. Не было медальона, оставленного ею в лисском ломбарде.

— Но я выкуплю его, как продам шаль, — подумала девушка. — Заказываю себе видеть хороший сон, оч-чень интересный. Крукса хочу. Должно быть, увижу, как лечу с ним туда-сюда в этой его штуковине.

Ах, Крукс, не знаете вы, что одна думает о вас и

ничего не понимает и спит… спит… ссп…

Здесь трубочкой собрались губы, с приткнувшимся к ним указательным пальцем; затем Тави умолкла, видя все, чего не увидим мы.

II

В семь утра Тави проснулась, увидев все, что видим и мы. Минуты две возилась она с изгнанием ночной свежести, проникшей под одеяло, утыкала его вокруг себя, протерла глаза и восстановила момент. Он имел праздничный оттенок, с загадкой вчера и безденежьем сегодня. Меж настоящим и давно бывшим отрывком непостижимой истории лежало путешествие в Лисс.

Хотя, устав, спала она крепко, но проснулась так рано по внутреннему приказанию, какое бессознательно даем себе мы, если грядущий день ставит хлопотливые цели.

— Этого-то числа я родилась, — сказала девушка, вытаскивая из-под одеяла свои руки, гладя их и рассматривая как бы со стороны.

Со скорбью нашла она, что они достойны гримасы, во всяком случае не хороши так, как у статуй или на известных картинах. Но — ничего. Полюбовавшись на руки, с тревогой ощупала она

ноги, — не кривы ли они, — вдруг они кривы? Одну вытащила она из-под одеяла, подняв вверх, но, кроме белизны, прямизны и маленькой ступни, не заметила ничего. Вдруг представила она, что кто-то видит эти поучительные занятия, и, взрыв постель, скрылась в ней, как в воде, таща тут же со стула брошенную вчера одежду, и оделась для уюта под одеялом.

С шалью, увязанной в газеты, вышла она из кухни. Ей стали встречаться соседи. Веселая горбатая прачка бойко загремела за ней по лестнице, схватив ее руку и крича, как глухой:

— Разве не уезжала? Когда приехала?

Супруги Пунктир, заезжие актеры без сцены, кокетливые старички, поливали из чайника цветочные горшки; завидев Тави, дружно ринулись они к ней с жеманным любопытством в глазах.

— Устроили ли вы ваши дела, Тави? — сказала старушка; старик, приподняв одну бровь, готовил соответствующее выражение, в зависимости от того, какой будет ответ.

— Да, ваши дела, — повторил он. — Откройте в себе талант, талант к сцене, при выигрышной вашей фигуре…

Супруга перебила его ледяным взглядом, отчего, собрав плечи к ушам, умолк он со сладостью

и приятностью в лице, стряхивая с рукава ниточку.

— У кого же будете вы служить, моя милая? — осведомилась мадам Пунктир тоном легкого нездоровья.

Еще несколько лиц, в туфлях на босую ногу, с трубкой или шпилькой в зубах задали Тави те же вопросы, и всем им отвечала она, что не согласилась на скаредные условия при трудной работе.

— Ну, как-нибудь! — был общий ответ.

Короче всего поговорила девушка с Квангом, массивная фигура которого, сидя на тюфяке у дверей и протянув ноги поперек галереи, не убрала бы их, шествуй тут эскадрон; — их требовалось обойти или перешагнуть. Кванг был кочегар. Увидев Тави, он только дрогнул ногой, но не убрал ее, а почесал спину. Вынув изо рта трубку, он сказал в разбегающееся кольцо дыма:

— Не вышло?

— Нет, — бросила на ходу Тави. При этом разговаривающие даже не посмотрели друг другу в лицо.

— Кикс? — сказал Кванг.

— Фью, — свистнула Тави.

Кванг продолжал курить.

Наступал один из тех упоенных блеском сво-

им жарких и звонких дней, когда волнующаяся легкая свежесть нарядного утра подобна приветливой руке, трогающей глаза, перед тем как взглянуть им за огненную черту чувств в полном и тяжелом цвету. Торопясь до наступления жары вернуться домой, Тави шла скоро, попав в центр к открытию магазинов. Ей приходилось уже иметь дело с лавками, торгующими случайными вещами самого разнообразного назначения; в одну такую лавку и обратилась она.

— Эту шаль я продаю, — сурово сказала она торговцу, бросившему свой завтрак ради наживы.

Жуя, стал он рассматривать шаль, вертя ее перед кисло-угрюмым своим лицом так тщательно, как едва ли вертели ее ткачи.

— Пока вы смотрите, я поговорю в ваш телефон, — сказала девушка и, припомнив нужные номера, стала звонить.

— Квартира доктора Эммерсона, — сказал ей в ухо издалека женский голос.

— Ну, и что же вы хотите за вашу вещь? — спросил лавочник.

— Рита дома? — сказала Тави. — Тридцать она стоила, может быть, двадцать пять не разорит вас?

— Она дома, и я сейчас позову ее.

— Послушайте, барышня, — сказал торговец, — зачем говорить лишнее, когда я вам продам такую же, и еще лучше, за пятнадцать, две, три, сто штук продам.

— Ведь я продаю, — кротко ответила девушка. — Рита, ты? — «Да, я, кто это?» — голос был спокоен и глуховат. — Но это я, Тави.

— Берите двенадцать, — сказал лавочник.

— Лучше я брошу ее. — «Тави, что ты говоришь? Я не поняла». — Не смущайся, Рита, я говорю с тобой и еще с одним. Приходи сегодня ко мне вечером с твоим пузиковатым Бутсом. Это день рождения.

— Берите пятнадцать! — крикнул торгаш.

— Ну, что там поздравлять, — хорошо, я возьму пятнадцать, — стареем мы с тобой, Рита, легко ли нести почти два десятка?! Жду и угощу всякими штуками. Что? Ну, будь здорова.

Отойдя, подставила она руку, серьезно и грустно смотря, как хозяин лавки опускал в нее одну за другой серебряные монеты. Он делал это, оскалабясь и засматривая в лицо девушке.

— Будьте здоровы, — сказал он, — приносите что будет; мы все купим.

— Купить, перекупить, распропиторговать и распроперепродать, — рассеянно сказала Тави,

став на порог и оборачиваясь с задорной улыбкой, — но одного вы не купите.

— Ну, что такое? — задетый в торговом азарте, спросил лавочник, взбодрясь и потирая руки.

— Вы не купите дня рождения, как я купила его. Вот! — она сжала деньги, подняла руку и рассмеялась. — Не купите! Трафагатор, Эклиадор и Макридатор!

С тем, выпалив эти слова в подражание оккультному роману, который прочла недавно, смеясь выпорхнула и исчезла девушка на блеске раннего солнца, мешающего смотреть прямо белой слепотой в слезящихся глазах.

Купив, о чем мечтала еще вчера, — красную розу и белую лилию, Тави приколола их к платью. В ее корзинке лежали уже яйца, мясо, масло и мука; среди провизии торчало серебряное горлышко темной винной бутылки; несколько апельсинов рдели под батистовым локтем. Так, вооруженная, с сознанием подвига явилась она домой, присела, почмокала в хозяйственном раздумье и затопила плиту.

Разгоревшись, огонь вычертил щели чугунных досок. Комната и кухня пылали солнцем; уютен стал сам беспорядок; роза и лилия, в голубеньком молочном кувшине, поставленном на стол

с ополз шей скатертью, отрадно цвели. Смотря на них, Тави захотелось в сады, полные зеленого серебра лиственных просветов, где клумбы горят цветами и яркая, как громкое биение сердца, тишина властвует над чистой минутой. Опустив мясо в кастрюлю, посмотрела она вокруг и увидела простой, одинокий час, пригретый утренним солнцем. Тогда захотелось ей, чтобы сердце билось больно и сладко; варварски расправилась она со своими припасами и, наспех, притопывая от нетерпения ногой, шлепнула на мясо кусок масла, решив посолить потом, как будет готово; кипя и сердясь, протолкла в глиняной чашке муку, полив ее молоком и яйцами, размесила фарш и начинила пирог. По приближении к концу этих занятий представилось ей, как будет все вкусно; тогда, искательно посмотрев на пирог и мясо, уже несколько бережнее сунула она кушанье в духовой шкап; затем вымыла руки, схватила книгу и уселась против окна.

Тонкий запах розы противоречил убожеству. Жажда роскоши овладела Тави; опрокинув на платок из флакона каплю духов, вдохнула она аромат их с видом относительного удовлетворения и положила платок рядом на стол. Но было что-то в другой руке, и она разжала ее: упал на

колени кусок старого сыра, схваченного попутно, в рассеянности. Как водится, сыр просил хлеба. Нехотя придвинула она ногой стул, на котором со вчерашнего вечера лежала краюха, и ущипнула от корки. Сыр был так горек, что она плюнула, но, воодушевясь, старательно выскребла ножом плесень, снова уселась и стала жевать, не забывая прикладываться к платку; меж тем ее блестящие глаза быстро — взад-вперед — пересекали страницу.

В то время, как в духовой яростно скворчало мясо, вздувался и опадал пирог, решив лучше подгореть, чем уступить какой-то литературе, всадник из Сен-Круа по каменистой дороге, взбивая пыль, мчался к Алансонскому герцогу с известием о нападении англичан, и, держась за всадника, сидела пропитанная духами Тави. В то время как лорд, губернатор Калэ, требовал от Дианы невозможных страстей, — соус полился через край, но Тави ледяным взглядом сказала лорду: «О нет!» И когда рыцарь, герой всех времен и стран, освобождал пленницу, пирог, лопнув, выпустил часть начинки, а Тави, краснея, решила уже сказать рыцарю с огромным мечом: «Да».

О вы, люди, умершие люди, с детской чертой глаз, омраченных жизнью! Вам улыбаются и вас

приветствуют все, кто дышит воздухом беспокойным и сладким невозможной страны. Спала или нет Тави — не знала она; но, устав, видела, как среди армий англичан и французов появились индейцы. Переплет какой книги не удержал их? Все пропало. Проведя рукой по глазам, Тави очнулась и вернулась к хозяйству.

III

Убирая комнату, стирала она тряпкой пыль, гремела стульями, чистила и вытирала посуду, и от возни разгорелись ее нежные щеки. Чувствуя, что они горят, Тави подошла к зеркалу, фыркая и отплевываясь.

— Тьфу, тьфу! Как ведьма, как трубочист; не лучше я этого Сарацина!

Действительно ее нос был в пыли, полоса сажи марала щеку, а шея засерела от пыли. Уже Тави схватила полотенце, чтобы вытереться, но, подавленная, со вздохом опустила руку, качая головой:

— Не для кого мне прибираться и умываться; хороша я и так.

Действительно, она была *хороша* и так.

Нет более удобного момента описать женщину,

как когда она сама вспомнит об этом; описать, так сказать, при случае. Раз наступил такой случай, грешно было бы упустить его, ожидая нового случая. Вероятно, проницательный читатель заметил, что подчеркивая наши слова — «она была *хороша* и так», — то есть хороша, несмотря на запачканное пылью и сажей личико, мы разумеем не классическую гармонию очертаний, которой именно нельзя быть тронутой сажей, так как сажное пятно мгновенно обезобразит ее. Попробуйте произвести опыт со статуей, попачкав ее прекрасные, однако лишенные иного выражения, кроме выражения условного совершенства, черты чем-нибудь темным, хотя бы той же сажей, — мгновенно исчезнет очарование. Пятно или полоска придадут спокойствию совершенных форм мрамора гибельную черту, так же неумолимо поражающую *законченность*, как клякса на белом листе бумаги делает вдруг неопрятным весь лист. Равным образом красавица с головы до ног, женщина красоты безупречной и строгой, теряет все, если у ней запылится нос или осквернится щека чернильным пятном; такова природа всякого совершенства, могучего, но и беззащитного, если чему-нибудь в чем-нибудь резко уступило оно. Однако живая

и веселая девушка с неправильным, но милым и нежным лицом, с лучистым и теплым, как тихий звон, взглядом, выражение которого беспрерывно разнообразно; девушка, все время ткущая вокруг себя незримый след легких и беззаботных движений; худенькая, но хорошо сложенная, с открытым и чистым голосом, с улыбкой, мелькающей как трепет летней листвы, — может, не вредя себе ровно ничем, пачкаться и пылиться сколько душе угодно; ее вызывающая заботливую улыбку прелесть победит черное тягло сажи потому, что у нее более средств для этого, чем у неподвижной статуи или живой, но с медленным темпом излучаемых впечатлений богини. Может ли последняя запрыгать, хохоча и хлопая себя по бокам? Нет. Но это может всякая просто миловидная девушка, мало заботящаяся о том, как выглядит подобный эксперимент.

Вот все, что мы хотели сказать, воспользовавшись подходящим моментом. Меж тем, вытирая вещи, стоящие на комоде, Тави повела мысленную беседу с Сарацином из гипса. Не раз о его подножие пропавший капитан выколачивал трубку, чем сбил краску, окружив ноги Сарацина ужасными ямами. Сарацин, поднеся руку к глазам, смотрел вдаль, другой же рукой держался за

рукоять ятагана.

— Ну, как у вас в Сарацинии? — спросила девушка.

— Да ничего, помаленьку.

— Вот, говорят, вы просветили Испанию, — продолжала Тави, — были вы, говорят, велики, но умалились. Почему это?

— Я гипсовый, я не знаю, — сказал Сарацин.

— Слушай, — подбоченясь, заговорила девушка, — вынь же наконец свой ятаган, свистни им в воздухе и издай боевой клич; сколько лет держишься ты за эфес, а вытащить клинок не можешь. Воспрянь и изобрази!

— Это не выйдет, — отвечал Сарацин, — но вот что я скажу тебе, белая христианская девушка: я смотрю вдаль, где вижу твою судьбу.

Так ясно прозвучали эти слова, как будто Тави сама произнесла их. И от неподвижного взгляда гипсовой фигуры, с думой о его направлении, невольно обратила она свой взгляд в сторону, куда смотрел мавр; смотрел он на стену. Но за ее скучной границей сияла громадная орифламма мира, с мелькающим голубым зигзагом, который был как бы будущее самой Тави. Так часто, в тенях теней невидимого, чертит неразгаданные знаки наша душа, внимая и обещая им на языке раз-

мышляющего молчания все, что лишено слов.

За уборкой, мытьем посуды, беготней в лавочку, стряпней и различными касающимися всего этого соображениями прошел жаркий день, уступив душному вечеру. Но не было ничего забыто из происшествий памятного лисского дня; напротив, чем далее, чем упорнее и тяжелее катились мысли, тем непроницаемее становились события; была в них недоступная и непонятная связь. Как ни мучительно стягивала Тави узел из Крукса, *знавшего*, что Торп умер; из Крукса, сразившего толпу действиями, покрывшими оскорбительный гвалт воплем немедленного признания; из Крукса, сказавшего, что они скоро увидятся и что ей не надо будет больше служить, — вся сложная плетенка узла оставалась все же не чем иным, как неразделимым шнуром, стягивая который, лишь каменила она его, бессильная ни развязать, ни порвать. Смерть Торпа была, казалось, выбита двойным рельефом медали из одного с ней и Круксом куска. Размышляя о Круксе, не могла она отказать ему в силе и спокойной уверенности, наполняющих ожиданием, но, представляя себя с затерянной жизнью своей, она смущалась, недоумевая, что может быть общего у него с ней, — у человека, который не сегодня так завтра затмит,

может быть, Эдисона.

IV

К восьми вечера, соскучившись уже быть одна, Тави стремглав кинулась открывать дверь, услышав сиротливо-приличный стук, с каким входит человек, оглядывающийся на свои следы.

— Я тебя угадала, — крикнула она, — это ты, Рита, мышка, тихоня, и твой, надо быть, похудевший Бутс!

Рыженькая сухая девушка с мелкими чертами лица солидно переступила порог, оглядываясь на шествующего сзади поклонника.

— Это я, — протяжно сказала она, — но почему же Бутс похудел?

За ее спиной хихикнуло существо столь толстенькое и круглое, что, казалось, положенное на бок, могло бы вращаться оно в таком положении, подобно волчку, без опасения задеть ложе какой-либо второй точкой фигуры.

— Почему же Бутс похудел? Он кушает, слава богу. Но, милая, поздравляю тебя. Бутс, поздравляйте. Это тебе торт, Тави.

Взяв одной рукой торт и приняв коротенький поцелуй в губы, на который ответила порыви-

стым чмоком в ухо, другой рукой Тави уцепилась за Бутса, притянув его вплотную к себе. Бутс был человек двадцати двух лет, во всем цвете пышной полноты десятилетних великанчиков, при каждом повороте которых вспоминается младенец Гаргантюа.

— Так вы не хотите похудеть, Бутс, — сказала Тави, ущипнув его за вздрогнувший локоть, — жаль, а тогда вы мне стали бы больше нравиться! Как вы вспотели! Это вам воротничок жмет. Рита, ты не следишь, чтобы он всходил по лестнице тихо, — как у него сердце бьется, как дышит — бедный, бедный! Вам надо попудриться. Хотите, я вас попудрю?

Смеясь, она уже кинулась за пуховкой, но Бутс, подняв обе руки, защитился этим движением с самым жалким видом; искренний испуг и смятение выразились в побагровевшем его лице, а глаза стали влажны, но, поддавшись чему-то смешному, он неожиданно фыркнул, хихикнул и залился тихим смехом.

— По-пу… по-пудриться, — выговорил он наконец, задыхаясь и обтирая лицо платочком, — нет, нет, я никогда никогда, никогда… не… не пудрюсь! Благодарю вас. Будьте здоровы!

Эти, сказанные наспех, но с жаром отвращения

к пудре, слова Бутса заставили хозяйку шлепнуться на табурет, удерживая обессиливающий хохот руками, прижатыми к лицу; даже Рита рассмеялась с благодушным спокойствием.

— Однако, милочка, — осведомилась она, — ты так возбуждена, что мне стало тревожно. А? Что с тобой?

Новый стук в дверь перебил это замечание.

— Я весь вечер буду такая! — успела сказать Тави. — Видишь ли, моя милая, у меня нервы.

Все еще смеясь, открыла она дверь, приняв в объятия чернокудрявую, со смуглым лицом маленькой обезьянки, в огромной шляпе, Целестину Дюфор, некогда служившую вместе с ней в книжной торговле.

— Здравствуй, Целестиночка, здравствуй!

— Поздравляю, Тавушка, поздравляю!

— Да, старость не радость. Целестинка, негодная, с кем ты пришла? Ах, это твой брат!

Взявшись за руки, скакнули они друг перед другом разка три; затем Тави была изысканно и хлестко поздравлена Флаком, братом девушки; его манеры, насмешливое, самоуверенное лицо, особый лоск заученных и вертлявых жестов, популярных на публичных балах, делали этого юношу с пожившим лицом опытным кавалером,

сметливым в любую минуту.

— Цвести и украшать собой жизненный путь, цветя с каждым годом все пышнее и ярче! — так кончил он поздравление.

Внимательно, с подвижной улыбкой выслушав как выговор эту тираду, Тави торжественно подала ему вытянутую палкой руку и, неистово тряся руку любезного поздравителя, со вздохом произнесла:

— Ах! Вы пронзили мне сердце! Пронзил он мне сердце или нет? — тут же обратилась она серьезной скороговоркой по очереди ко всем: — Пронзил или нет? Пронзил или нет? Пронзил или нет? — наткнувшись на учтиво посторонившегося Бутса.

Умильно склонив голову, толстяк с азартом проклокотал:

— Нет, нет, нет! — и боязливо покосился на Риту, но его выходка была встречена милостивой гримасой.

Тут Тави собралась вытолкнуть гостей из кухни в освещенную чистую комнату, но сквозь полуприкрытую дверь донеслась снизу металлическая трель мандолин, на что Флак, поведя бровью, заметил:

— О, вот идут Ральф и Муррей!

Точно, два рослых молодых человека, выдвинув вперед такую же рослую, крупную, мужественного вида девушку с некрасивым, но приятным лицом, стали против двери, выставив одну ногу, и, тронув рукой бархатные береты, вырвали из струн «безумно-увлекательный» вальс. Так они и вошли с вальсом, так и раскланялись, не переставая играть. Тут самый очаровательный черт, который сидел когда-либо под юбкой, взвизгнув, дернул девушек за икры, со стоном кинулись они к кавалерам, приладились к их обнявшей руке и завертелись на одном месте, так как вертеться по кругу было бы немыслимо в такой тесноте даже цыплятам. Хотя Бутс более поворачивался, чем танцевал, Тави, казалось, была довольна.

— Но вы прелестно танцуете! — шепнула она. — Так легко, как пуховичок!

И добрый толстяк от всего сердца простил ей дерзновенную пудру. В это время высокая девушка, которую звали Алиса, прехладнокровно мяла и вертела в руках жеманно сияющую Риту; наконец Целестина стукнулась спиной об одного музыканта, и бал кончился.

— Как вы *более* живописны, — сказала Тави молодцам в беретах, чей одинаковый костюм состоял из голубых блуз с красными атласными

воротниками, — то мы устроим пестринку. Что, если посажу я вас одного рядом с собой, — именно вас, Муррей, ибо вы приятно мне улыбаетесь, к тому же белое мое платье и черный пояс — одно к другому подходит?! Ральф, деточка, идите сюда! Алиса, дай, дружок, я к тебе немножко прижмусь.

Они обнялись и погладили друг друга по голове со смехом и теплотой.

— Вот, как-то теперь отраднее, — ну, идите, идите садитесь, садитесь все, все, все! Этот стул хромой; этот хотя и не хромой, но хрупок для вас, Бутс; ну, все сели? Уф!

Так, болтая, смеясь, проталкивая одного и усаживая-пересаживая другого, Тави поместила всех за круглым столом, сама усевшись меж Алисой и Мурреем. Не без гордости смотрела она на стол. Алиса принесла сладкий пирог, Рита торт, Ральф вытащил колбасу, а Муррей коробку цукат; кроме того, перемигнувшись, басом пообещали они друг другу «выпить как следует», отчего дамы, хмыкнув, пожали плечами, спрашивая друг друга:

— Ты понимаешь что-нибудь? — Нет. А ты? — Еще меньше тебя!

С этого момента Тави можно было видеть в трех положениях: сидящей, ерзая на стуле, и пома-

хивающей перед собой указательным пальцем, держа остальной кулачок сжатым, словно в нем был орех; вставшей, чтобы, топнув, усилить тем значение каких-либо ее стремительных слов, и парящей в полусогнутом виде над заставленным посудой столом. Смеялась и говорила она без умолку, но как камень лежало что-то под сердцем, мешая вольно вздохнуть. Так ноет иногда зуб — ноет, когда вспомнишь о нем.

Как едят и пьют — нам известно, разве лишь если звякнет оброненная ложка или поперхнется, брызнув изо рта кофеем, смешливый сосед, вызвав визг и отодвигание стульев, стоит упомянуть об этом.

— Что же твоя поездка, Тави? — спросила Алиса, взглянув на ввернувшую словцо Риту.

— Ты не раздумала служить *вообще*? — сказала Рита. — Право, твой праздник хоть кому впору!

Тави перевернула блюдечко, подбросила, поймала его и стала еще подбрасывать, говоря:

— С этим делом прозевала, прозевала! Опоздала. Там нанялась другая.

Вдруг захотелось ей рассказать все, но, открыв рот и уже блеснув глазами, почувствовала, что не может. Есть минуты, которых нельзя коснуться без удивления, а может быть, и усмешки со сторо-

ны слушателя, во всяком случае рассказывают их с глазу на глаз, а не в трепете веселого вечерка.

— А… э… э… — этими щебетовидными звуками ограничился ее слабый порыв; она порозовела и толкнула Муррея, написав ему пальцем на щеке: «Фью».

— Оставим это, — равнодушно сказала Тави, — сегодня мне не хочется говорить о моей неудаче.

— Ну, так и быть! — вскричал Ральф, хлопая себя по колену. — Займемся существенным. Неси бутылки, Муррей, а штопор у меня есть.

Ни слова не говоря, Муррей поднялся с лунатическим лицом, вышел и вернулся с бутылками, висящими у него горлышками меж пальцев, как гроздья.

— Вот так ручища, — сказал Флак. — Но где же было это добро?

— Боясь, что мы застанем всех пьяными, — сказал Муррей, — и не желая никому гибели, я оставил их в галерее.

Похохотав, компания стала рассматривать ярлыки. Целестина, обводя пальцами буквы, прочла: «Ром».

— Ром! — вскричала она с ужасом. — Но это нас убьет! Ты станешь пить эту гадость, Алиса? А ты, Рита? Я — нет, ни за что!

— Есть и мускат, — вежливо возразил Ральф, — вот он, водичка для канареек, позор пьющих и нищета философии!

— А что это такое? — спросила Рита, серьезно приглядываясь к бутылке.

— Простая касторка, — сказал Муррей.

Наконец переговорили и перешутили по этому поводу все, и Муррей стал наливать; дамы протягивали ему стаканы, прижимая отмеривающий пальчик почти к самому дну, но постепенно поднимая его выше, как повышался уровень булькающего из бутылки вина.

— А моя, моя, моя скромненькая бутылочка, что я купила, — сказала Тави, — мне подавать ли ее?

— Непременно, непременно! — вскричали мужчины, Бутс тихо потел, кланялся и сиял, вытирая лицо.

— Так выпьем! — предложил более других нетерпеливый Флак.

Тут кто пригубил, кто опрокинул, и стройные поздравления зашумели вкруг Тави, которая, поперхнувшись слегка вином, чихнула, нервно помахав рукой в знак благодарности.

— Всем, всем, всем! — сказала она, тут же подумав: «Интересно, как поздравил бы меня таинственный мой знакомый Крукс?»

Но мысли ее перебились возгласом:

— Так должен я рассказать, — продолжал возгласивший — это был Муррей, — что в преинтереснейшем номере сегодняшней газеты прочел я поразительнейшую вещь, — и я думал, Тави, что вы, может быть, вчера слышали об этом, так как были в Лиссе.

— Я тоже читала. Глупости, — сказала, прожевывая пирог, Рита. — Что-то невероятное.

— Так вы не знаете? — закричал Муррей. — Со мной есть эта газета. Речь идет о новом изобретателе. Он полетел так, что все ахнули. Неужели вы не слыхали ничего?

Удерживая знаки тревожного волнения, Тави невинно обратила к нему лицо, мигая с внимающим недоумением, слегка окрашенным беззаботным усилием памяти.

— Я слышала, — протяжно сказала она, — я слышала что-то такое, что-то в этом роде, но, надо думать, я задремала и заспала что говорили в вагоне. Ну, почитайте!

Муррей развернул газету, отыскивая статью, поразившую его.

— Тише, — сказала Рита, хотя все молча ожидали чтения; Муррею же никак не удавалось сразу разыскать нужный столбец. Общество,

покашливая, ожидало начала чтения. Было тихо; этой тишине ответила вдруг ставшая неприятно ясной внешняя тишина дома; как будто разом погрузился он в сон, как бы заснул и весь город.

— Что это, как тихо везде! — заметила, нервно оглядываясь, Алиса. — Неужели уже так поздно?

— Вот, — сказал, раскладывая газету, Муррей. — Судите сами, какое волнение произошло в Лиссе. Слушайте! — Но он остановился, как немедленно остановили свое внимание на другом все: быстрый громкий стук заставил оцепенеть чтеца и слушателей.

— Это что такое? — воскликнула Тави, но еще громче и требовательнее грянули новые удары и, слабо побледнев, двинулась она с обеспокоенным лицом в кухню, жестом приглашая сидеть всех спокойно. У двери ее опередил Муррей; отстранив девушку, он сильно распахнул дверь; за ней, во тьме, пошевелилась толпа.

Кто понял, кто успел понять, в чем дело, — уже вскрикнули и повскакали, грохоча стульями, но Тави, прижав рукой грудь, шаг за шагом отступала к комнате.

— Гром и молния! — сказал, оглядывая гостей, Флак; как он, оглядывались друг на друга все, видя, что бледны и поражены. Но Тави с упавшим

сердцем могла только быстро дышать, не веря глазам. Шесть жандармов окружало ее; еще двое, войдя, остановились у двери; остальные, разъединив гостей, наполнили всю квартиру, став зорки и неподвижны, и в лицах их сверкнуло что-то цепное, готовое сорваться по приказанию.

Как вещь, которой только что любовались мы покойно и беззаботно, вырванная мгновенно из рук чужим, полным ненависти движением, исчезает со сразившей настроение болью внутреннего удара, так мгновенно вырван был, сломан и отброшен веселый цвет этого вечера. Страх вдвинул томительное жало в упавшие сердца бледных гостей; вскочив, вскрикнули и переглянулись они, видя по лицам других, как бледны сами, как схвачены и потрясены видом оружия.

— Тави! — вскричала Алиса.

— Я отказываюсь понимать что-нибудь, — с сердцем сказала девушка, мрачно рассматривая остановившегося на пороге человека в черном мундире, в свою очередь, пристально смотревшего на нее. У него был привычно отмечающий центр сцены взгляд; в руке он держал портфель, сжимая другой рукой острый свой подбородок.

— Так объясните, что это все значит, — сказала Тави, стараясь улыбнуться, — это вы привели

их? Смотрите, как перепугали вы нас. Я еще вся дрожу. Ведь вы ошиблись, конечно? Тогда извинитесь и уйдите; и то еще я посмотрю, как прощу вас. Это помещение занимаю я. Меня зовут Тави Тум. Вот все, что вам было *не нужно* знать.

— Тави Тум, — сказал неизвестный, — установить вашу личность — как раз то, что нам нужно. Вы арестованы.

Эти слова вывели из оцепенения всех. Тави, двинув плечом, оттолкнула легшую на него руку жандарма и ушла в угол, повернувшись с тронутым слезами и надменной улыбкой лицом. Ральф и Муррей бросились к середине комнаты, мешая схватить хозяйку.

— Вы совершенно сошли с ума, — горячо заговорил Муррей, протягивая руки, чтобы задержать двинувшихся солдат, — стыдитесь!.. Нет более безобидного и кроткого существа, чем эта девушка, на которую вы нападаете всемером!

Его отбросило движение локтя.

— Здесь есть человек, который знает, что делает, — резко ответил чиновник. — Или вы хотите, чтобы я арестовал также и вас?

Целестина, бросившись на кровать, горько рыдала; Рита, трепеща, бессмысленно твердила, оглядываясь с жалким смехом:

— Уйдемте, уйдемте отсюда! Боже мой, какой ужас!

Но Бутс, вдруг налившись кровью, затопал ногами, схватил и швырнул стул.

— Не сметь, я не дам! — азартно закричал он.

— Молчать! — громко сказал жандарм. Но, уже струсив сам, Бутс умолк с негодующим видом, помялся и стих.

Теперь, когда сказано было все самое страшное, наступила, как это бывает в случаях быстрого и напряженного действия, краткая тишина, подобная ужасной картине, неподвижной, но красноречиво памятной навсегда. Все взгляды были устремлены на пленницу, пытавшуюся тщетно вырваться из четырех сильных рук, механически державших ее. Плача, с открытыми мстительными глазами, с презрительно стиснутым, но полным слез ртом, меж тем как лицо дергалось и тосковало совершенно уже по-детски, Тави перестала наконец рваться и выкручивать руки, но, сколько могла, сжав руки, резко и внушительно потрясла ими. Она говорила и задыхалась:

— Я требую, — сказала она со всем пылом отчаяния, — чтобы вы объяснили мне вашу шутку! Сегодня мой праздник, день рождения моего, а вы

взяли меня, как уличную воровку! Вот мои гости, мои друзья, — что подумают они обо мне?!

— Тави, дурочка! — поспешила перебить ее, утирая слезы, Алиса, — не говори глупостей!

— Подумаем, что ты ребячий кипяток, — сказал, сжимая ей руку, Муррей. — Послушай, с этими людьми препирательства бесполезны. Мы останемся ждать тебя. Не бей их и поезжай, когда так. Ошибка слишком груба. Черт их знает, что они там напутали.

— Одно слово, — сказала Тави человеку, руководившему арестом, — какая причина вашего мерзкого дела?

— Вам будут даны объяснения на месте, — сказал тот, двигая взглядом солдат по направлению к выходу. — Я действую по приказанию и ничего ровно не знаю.

— Лжете, — ответила Тави с гневом и горечью, — лжете, вы лгать привыкли. Что делать вам здесь с целым отрядом? Я снова вас спрашиваю: зачем эта подлость?

— Довольно, — сказал чиновник, — попрощайтесь и идите беспрекословно вниз. Вас отвезут. Ну, господа, — он обратился к гостям, — вас всех я задержу несколько времени. Предстоит обыск. Пока он не окончится, никто отсюда не выйдет.

— Дайте же мне обнять их, — сказала Тави жандармам. Ее отпустили; она обняла друзей, привстав на носки, когда дошло дело до Муррея и Ральфа, и, целуя, вымазала слезами всех. Солдаты не отходили от нее ни на шаг; ей подали шляпу, шарф, теплый жакет. Тыча в его затерявшиеся рукава дрожащими руками, она наспех собралась, ответила восклицаниям воздушными поцелуями, помахала рукой, вышла в громе сабель и сапогов и, заметив, что чиновник обернулся на замедление с таким видом, словно хотел прикрикнуть, спокойно показала язык.

V

Стиснув зубы, глотая слезы и трепеща, как бы толкаемая убийственным ветром, Тави быстро пошла по галерее, среди тесно шагавших вокруг солдат. На дворе, внизу, двигались фонари, стучали копыта; из дверей соседних квартир выглядывали дети и женщины, уцепившись друг за друга, словно им тоже грозила беда. Со страхом и вопросом смотрели они на помутившееся лицо девушки. Тави из последних сил кивала или беспомощно улыбалась тем, кого знала. Когда шествие равнялось с такой выпускающей свет и

голоса дверью, она резко прихлопывалась и из-за нее доносились глухие ругательства. Солдаты спешили; двое шли впереди, махая рукой убраться с дороги тем, кто шел случайно навстречу, и человек мигом прижимался к стене; лишь Кванг, ставший неподвижно по самой середине прохода, с пыхающей в зубах трубкой, отошел так медленно, что жандарм угрожающе потянул саблю.

— Я ничего не думаю! — успел крикнуть Кванг девушке. — До свиданья с торжеством!

Тави блеснула ему глазами так выразительно, что он понял все ее смятение.

— Ну да, — донеслось ей вслед, — схватили как птицу, и ничего более.

Еще эти темные, но горячие слова грели ее порывом теплого ветра, как все внезапно остановились: на лестницу вбежал солдат крича:

— Карета уехала! Там перебесились все лошади: дрожат и рвутся, кучер ничего не мог сделать. Рванул, и понесли!

Гул восклицаний покрыл эти слова; меж тем шествие сбилось в кучу, и, когда выровнялось, уже прозвучали торопливые приказания. С глубоким наслаждением слушала Тави, как часть солдат, покинув ее, загремела по ступеням вниз — что-то улаживать и выяснять.

— Вот вам, — сказала она сквозь зубы. — Лошади-то умнее вас!

Оставшиеся с ней, подталкивая ее, свели девушку на озаренный окнами дома двор, где, повскакав в седла, с трудом удерживали чем-то напуганных лошадей; они ржали и били копытами, пятясь или шарахаясь с фырканьем, полным ужаса.

— Ну, что же делать? — сказал кто-то с досадой.

— Сажай девушку на седло, — крикнул другой. — Смотрите в оба и помните, что случай опасный!

— Оружие наготове!

— Стой: держи арестованную посередине!

— Чего он боится? — прозвучал осторожный шепот.

— Это никому неизвестно, тут сам черт не поймет ничего.

Тави подвели к лошади; к ней протянулась рука нагнувшегося в седле солдата; другой, сзади девушки, неожиданно и сильно приподнял ее. Она рванулась, ударив с отчаянием ногой в бок коня, отчего тот внезапно проскакал в ворота на улицу, откуда гулкий, раскалывающий треск подков по булыжнику дал понять всем, что всадник

едва сдерживает готовое закусить удила животное; оно храпело и ржало. Тогда раздались крики бешенства кинувшихся кончать дело людей.

— Ну и черт эта девчонка, — сказал тот, кто держал Тави.

— Не хочу, — мрачно сказала она, борясь с увлекающим ее хаосом хватки и возни жестких рук, сопротивляться которым более почти не могла.

— Что за ночь! — раздалось над ее ухом.

— Давайте ближе фонарь! — кричали в стороне.

— Не могу справиться, — сказал жандарм в седле, с которым должна была ехать Тави. — Станьте по сторонам и придержите за узду этого дьявола.

Было темно, как человеку с завязанными глазами: ни звезд, ни луны; редкие фонари окраины мерцали издалека. Порывами налетал ветер. Казалось, в таком мраке навсегда забыт день и что пропало все, кроме стука и голосов. Фонарь, поданный торопливой рукой, озарил Тави каски державших ее солдат и задранную уздой вверх лошадиную голову, с безумием в огромных глазах; из ее рта текла пена.

Теперь все крики и голоса были в затылок девушке; наконец ее почти бросили на седло, где, схваченная за талию неподатливой, как обруч,

рукой, очутилась она сидящей с пылающим лицом, сожженным высохшими слезами.

— Скачи, Прост! — крикнули солдату, увозящему Тави. — Эй, расступись, все по седлам и догоняйте его; смотри в оба!

— Пусти лошадь, — сказал жандарм.

Державшие коня отбежали; солдат метнулся, ахнул и, прежде чем смолк в оцепеневшем слухе гром хлопнувшего как бы по лицу выстрела, разжал руки, валясь головой вниз, а Тави, потеряв равновесие, скользнула с седла; нога ее подвернулась, и, упав, она подумала, что убита. Лошадь, заржав, исчезла.

Взрыв криков, топот и лязг сабель рванулись со всех сторон. Встав, Тави прислонилась к стене, где тотчас ее схватили, тряся с исступлением и злобой, так как подумали, что выстрелила она.

— Обыщите, отнимите револьвер! — переговаривались перед ее лицом. — Свяжите ее!

Оскорбленная грубым прикосновением, Тави ловко вывернула руку, ударив по лицу ближайшего; в то же время три выстрела, гулко толкнув тьму, с блеском, секнувшим глаза как бы посреди самой свалки, перевернули все; качаясь, двое солдат отошли и повалились со стоном; остальные, вне себя, ринулись куда попало, хватая и

отталкивая впопыхах друг друга.

— Нас убивают! Чего смотрите, надо оцепить дом и всю улицу! На лошадей! Где арестованная?!

Застыв, прижалась Тави к стене, с поднятой для защиты рукой; изнемогая от страха, стала она кричать, в то время как паника и грохот лошадиных копыт вместе с меловым мельканием сабель кружились кругом нее, подкашивая колени. Вдруг в самое ее ухо прозвучал быстрый шепот:

— Сдержитесь, в полном молчании повинуйтесь мне.

— А кто это? — таким же шепотом, задыхаясь, спросила девушка.

— Я — Крукс.

Она не успела опомниться, как вокруг ее спины обвилась резким и спокойным усилием твердо отрывающая от земли рука; в то же время шум свалки отдалился, как если бы на нее бросили большое сукно.

VI

Он поднял ее в руках, обвив ими легкое тело девушки так покойно, как будто ничто не угрожало ему, и неторопливо поправился, когда

заметил, что ее плечо стиснуто его левой рукой. Но были уже притуплены ее чувства, и только глубокий вздох, вбирающий с болью новую силу изнемогшему сердцу, показал Друду, как было тяжело и как стало теперь легко ей. Она была потрясенно-тиха и бесконечно блаженно-слаба. Но чувство совершенной безопасности охватило уже ее ровным теплом; она как бы скрылась в сомкнувшейся за ней толще стены. Это впечатление поддерживалось решительной тишиной, в далях которой мелькали лишь подобные шуму платья или плеску глухой струи неровные и ничтожные звуки, отчего подумала она, что скрыта где-то поблизости дома, в месте случайном, но недоступном. По ее лицу скользил, холодя висок, ветер, что могло быть только на открытом пространстве.

— Помогите же мне, — сказала она едва слышно, — все объясните мне, и как можно скорее, мне плохо; рассудок покидает меня. Вы ли это? Где я теперь?

— Терпи и верь, — сказал Друд. — Еще не время для объяснения; пока лучше молчи. Я без угрозы говорю это. Тебе очень неловко?

— Нет, ничего. Но не надо больше меня держать. Я встану, пустите.

— И этому будет время. Там, где мы стоим, сыро. Я по колено в воде.

Тави инстинктивно поджала ноги. «Ты» Друда не тронуло ничего в ее прижавшейся к спасению и защите душе; он говорил «ты» с простотой владеющего положением человека, не придавая форме значения. Она умолкла, но нестихающий ветер загадкой лился в лицо, и девушка не могла ничего понять.

— Я не буду говорить, — виновато сказала Тави, — но можно мне спросить вас об *одном* только, в два слова?

— Ну говори, — кротко согласился Друд.

— Отчего так тихо? Почему ветер в этих стенах?

— Ветер дует в окно, — сказал, помолчав, Друд, — мы в старом складе; окно склада разрушено; он ниже земли; вода и ветер гуляют в нем.

— Мы не потонем?

— Нет.

— Я только два слова, и ничего больше, молчу.

— Я это вижу.

Она затихла, покачивая ногой, висевшей на сгибе Друдова локтя, с целью испытать его настроение, но Друд сурово подобрал ногу, сказав:

— Чем меньше ты будешь шевелиться, тем

лучше. Жди и молчи.

— Молчу, молчу, — поспешно отозвалась девушка; странное явление опрокинуло все ее внимание на круг световой пыли, неподвижно стоящий прямо под ней фосфорическим туманным узором; по нему с медленностью мух бродили желтая и красная точки.

— Что светится? — невольно спросила она. — Как угольки рассыпаны там; объясните же мне, наконец, Крукс, дорогой мой, — вы спасли и добры, но зачем не сказать сразу?

Думая, что она заплачет, Друд осторожно погладил ее засвеженную ветром руку.

— В сыром погребе светится, гниет свод; гнилые балки полны микроскопических насекомых; под нами вода и поблескивающая светом в ней отражена гниль. Вот все, — сказал он, — скоро конец.

Она поверила, посмотрела вверх, но ничего не увидела; стоял ветреный мрак, скованный тишиной, меж тем отражения в воде, о которых говорил Друд, меняясь и переходя из узора в узор, вычертились рассеянным полукругом. Ее томление, наконец, достигло предела; жажда уразуметь происходящее стала болью острого исступления — еще немного, и она разразилась бы рыданиями и воплем безумным. Ее дрожь

усилилась, дыхание было полно стона и тоски. Поняв это, Друд стиснул зубы, каменея от напряжения, увеличившего быстроту вдвое; наконец мог он сказать:

— Смотри. Видишь это окно?

Глотая слезы, Тави протерла глаза, смотря по некоторому уклону вниз, где, без перспективы, что придавало указанному Друдом явлению мнимо-доступную руке близость, сиял во тьме узкий вертикальный четырехугольник, внутренность которого дымилась смутными очертаниями; всмотревшись, можно было признать четырехугольник окном; оно увеличивалось с той незаметной ощутительностью, какую дает пример часовой стрелки, если не отрывать от нее глаз. Момент этот, прильнув к магниту опрокинутого сознания, расположился, как железные опилки, неподвижным узором; страх исчез; веселое, бессмысленное «ура!», хватив через край, грянуло в уши Друда ликованием все озарившей догадки, и Тави заскакала в его руках подобно схваченному во время игры козленку.

— Ничего больше, как страннейший распричудливый сон, — сказала она, посмеиваясь, — ну-с, теперь мы с вами поговорим. Во сне не стыдно; никто не узнает, что делаешь и говоришь. Что

хочу, то и выпалю; жаль, что я вижу вас только во сне. А не проснуться ли мне? Но сон не страшен уже… Нам кое-что надо бы выяснить, уважаемый Монте-Кристо. Не смейте, не смейте прижимать крепко! Но держать можете. Во сне я не постесняюсь, велика важность. Знайте, что вы приятны моему сердцу. А я вам приятна? Где ваша машина с колокольчиками? Почему знали вы, что умер старик? Кто вы, скажите мне, таинственный человек? И как вы живете? Не скучно ли, не тяжело ли вам среди бездарных глупцов?

Говоря так, смеялась и трясла она его послушную руку, прижимаясь к его груди, где чувствовала себя уютно, размышляя в то же время о правах сновидения не без упрека себе, но в лени и усталости чрезвычайной.

— Краснею ли я? — думала она вслух.

— Так это твой сон? — спросил Друд так особенно, как звучат голоса во сне.

— Ну да, сон, — беззаботно твердила девушка, держа его руку и смотря на налетающее окно, — сон, — повторила она, подняв голову, чтобы рассмотреть кирпичную кладку. Окно охватило их и перебросилось взад.

— Сон, — растирая глаза, сказала, топнув ногой, Тави. Друд уже опустил ее. Отекшие ноги застави-

ли ее опереться на стол, и от движения, звякнув, жестяная кружка перекатилась по плите пола. Стеббс молча поднял ее, светясь и улыбаясь всем своим существом.

Она вздрогнула, выпрямилась и перевела взгляд со Стеббса на Друда; отступила, волнуясь, взяла кружку и бросила вновь, прислушиваясь, как звякнула жесть. Неразложимый на призраки голос предмета открыл истину.

— Это не сон, — медленно выговорила, садясь и складывая руки, девушка; сверкнуло все и раздалось в ней чудным ударом.

Друд посмотрел на Стеббса, сказав рукой, что надо уйти. Тави, сжав руки, переступила шага два ближе, так что Друд был с ней теперь рядом.

— Посмотрите на меня *долго*!

Он посмотрел с тем выражением, желание какого угадал в ней, — покорно и просто.

— Теперь не смотрите на меня.

— Бог с тобой, я не смотрю, — взволнованно проговорил Друд, — сядь и овладей сердцем своим. В себе ты найдешь все.

— Не трогайте, не разговорите меня, — чуть слышно сказала Тави. — Иначе что-то спутается…

Но не по силам было ей происшедшее во всем

размахе его. Она встрепенулась.

— Очень много всего, — сказала Тави, взглядывая на Друда с бледным и тяжелым лицом.

Факты были сильнее ее, и она не могла одолеть их ни рассуждением, ни волнением; так резко жизнь бросила ее на другой берег, с которого прежний виден только в тумане, а этот поразителен, но молчит.

— Еще болят руки, так стиснул меня солдат. Спрашивается — за что?

— За тобой следили, думая, что узнают, где найти Друда. Мы перекинулись словами, когда мои колокольчики были еще потехой, когда ты славным сердцем своим встала на защиту осмеянного. Поэтому за тобой шел, а потом ехал приличный человек с умным лицом. Меня зовут Друд — ты слышала обо мне?

С ее лица не сходила задумчивость и покорность, а взгляд, блуждая с тихой рассеянностью, был полон *тени* — он не играл, не блестел. Ее впечатления остановились, застилая сознание огромным слепым пятном, и Друд понимал это, но не тревожился.

— Нет, не слышала, — сказала, по-прежнему безучастно, девушка, — а вы кто?

— Я человек, такой же, как ты. Я хочу, чтобы

тебе было покойно.

— Мне покойно. Мне хорошо с вами. Здесь так хорошо сидеть. А это — что? — Тави слабо повела рукой. — Ведь это — старинный замок?

— Это маяк, Тави; но он, а также все приюты мои, — их много, — для тебя замки и будут замками. Все это для тебя и тебе.

Она подумала, потом улыбнулась.

— Вот как! Но что же… что же… чем же я отличилась?

— Наверное, тем, что ты сама не знаешь этого. Но я шел, ты остановила меня. Правда, немного прошло времени, однако пора мне заботиться о тебе и с открытым сердцем слушать тебя. Мы, одинокие среди множества нам подобных, живем по другим законам. Час, год, пять или десять лет — не все ли равно? Ошибался и я, но научился не ошибаться. Я тебя зову, девушка, сердце, родное мне, идти со мной в мир недоступный, может быть, всем. Там тихо и ослепительно. Но тяжело одному сердцу отражать блеск этот; он делается как блеск льда. Будешь ли ты со мной топить лед?

— Я все скажу… Я скажу все; но я *сейчас* не могу. — Она дышала слабо и тихо; ее взгляд был странно покоен; временами она шептала про

себя или покачивала головой. — Я ведь нетребовательна; мне все равно; мне только чтобы не было горести.

— Тави, — сказал Друд так громко, что кровь вернулась к ее лицу, — Тави, очнись!

Она посмотрела на свои руки, провела пальцами по глазам.

— Разве я сплю?! Но верно — все в тумане кругом. Что это? Что со мной? Очните меня!

Он положил руку на ее голову, потом погладил, как разволновавшегося ребенка.

— Сейчас ты станешь сама собой, Тави; туман рассеется, и все будет ни чудесным, ни странным; все просто, когда двое думают об одном. Смотри — стол; на нем хлеб, яичница, кофейник и чашки; в помещении этом живет смотритель маяка, Стеббс — плохой поэт, но хороший друг. Он правда друг мне, и я это ценю. Здесь родился и твой образ — год назад, ночью, когда играли мы на стеклянной арфе из пузырьков; а потом я уже видел тебя всегда, пока не нашел. Вот и все; такое же, как и у других, и люди такие же. Только одному из них — мне — суждено было не знать ни расстояний, ни высоты; во всем остальном значительно уступаю я Стеббсу; он и сильнее, и проворнее, а также отлично ныряет, чему я не мо-

гу научиться, а потому иногда завидую. Хочешь, я позову Стеббса?

— Хочу. — Она взглянула снизу на стоящего перед ней Друда, потом схватила его руку своими обеими ручками и, зажмурясь, крепко потрясла ее, натужив лицо; открыла глаза и рассмеялась смехом, полным тихого удовольствия. — Вы еще мне много покажете?

— Довольно, чтобы тебе не было никогда скучно. Стеббс!

Он стал звать, открыв дверь.

— Иду, иду! — сказал Стеббс с лестницы, где стоял, ожидая зова. Он был причесан, был вымыт, и, хотя дело происходило ночью, его брюки были отчищены бензином и мылом.

— Как хорошо! — сказал он. — Какая отличная ночь! Не хочется оторвать глаз от звездных миров, и я рассматривал их... Что вы сказали?

— Стеббс, — перебил его Друд, — сядь; второй раз мы прощаемся с тобой так внезапно. Но со мной жизнь, которую я искал, и ей нужен глубокий отдых. Есть также сведения о маяке у тех, кого мы не любим. Поэтому я не задержусь, только поем. Но ты будешь извещен скоро и явишься навсегда.

— Спасибо, Гора, — сказал Стеббс. — Как зовут

нового друга?

Друд засмеялся:

— «Великий маленький друг» — зовут его, Тави зовут ее, «Быстрый ручей», «Пленительный звон»...

— Да, нас четырнадцать, — прибавила Тави, — но не все пересчитаны. Остальных, впрочем, вы знаете... А это правда, я — друг вам, друг, но только ведь навсегда?!

— Он знает это. Он — Гора, — сказал Стеббс, наполняя тарелку девушки. Но она не могла есть, лишь выпила, торопясь, кофе и снова стала смотреть поочередно на Друда и Стеббса, в то время как Стеббс спрашивал, куда отправится теперь Друд. Его мучило любопытство. Девушка была не совсем в его вкусе, но Друд принес и берег ее, поэтому Стеббс рассматривал Тави с недоумением почтальона, вскрывшего шифрованное письмо. Но ему было суждено привыкнуть и привязаться к ней очень скоро — гораздо скорее, чем думал в эту минуту он, мысленно сопоставлявший всегда с Друдом Венеру Тангейзера, какой изображена она на полотне, меньше — Диану, еще меньше — Психею; его *психологическое* разочарование было все же приятным.

Любопытный, как коза, Стеббс остерегся однако

спрашивать о событиях, зная вперед, что не получит ответа, так как никогда Друд не торопился открывать душу тем, кто *не теперь* тронул ее. Но он сказал все же немного:

— Ты будешь думать, что я ее спас, как узнаешь впоследствии что было; нет — она спасение носила в груди своей. Мы шли по одной дороге, я догнал, и она обернулась, и так пойдем вместе теперь.

Затем он встал, принес большое одеяло и подошел к девушке, говоря:

— Не будем медлить, здесь не место засиживаться, воспользуемся темнотой и этим отдыхом, чтобы продолжать путь. Утром не будет уже загадок тебе, я скажу все, но дома. Да, у меня есть дом, Тави, и не один; есть также много друзей, на которых я могу положиться, как на себя. Не бойся ничего. Время принесет нам и простоту, и легкость, и один взгляд на все, и много хороших дней. Тогда эту резкую ночь мы вспомним как утешение.

Красная как пион, с отважными слезами в глазах, Тави скрестила руки, и Друд плотно укутал ее, обвязав, чтобы не свалилось одеяло, вязаным шарфом Стеббса. Теперь имела она забавный вид и чувствовала это, слегка шевеля руками, чтобы

ощутить взрослость.

— Все гудит внутри, — призналась она, — о-о! сердце стучит, руки холодные. Каково это — быть *птицей*?! А?

Все трое враз начали хохотать до боли в боках, до спазм, так что нельзя было ничего сказать, а можно только трясти руками. Тут, более от страха, чем от естественной живости, на Тави напало озорство, и она стала покачиваться, приговаривая:

— Сезам, Сезам, отворись! Избушка на курьих ножках, стань к лесу задом, а ко мне передом! — С нежностью и тревогой посмотрел на нее Друд. — О, не сердитесь, милый! — пламенно вскричала она, пытаясь протянуть руки, — не сердитесь, поймите меня!

— Как же сердиться, — сказал Друд, — когда стало светло? Нет. — Он застегнул пояс, накрыл голову и махнул рукой Стеббсу. — Я тороплюсь. Сколько раз прощался уже я с тобой, но все-таки мы встречаемся и будем встречаться. Не грусти.

Он подошел к Тави; невольно отступила она, обмерла и очнулась, когда Друд легко поднял ее. Но уже двинулось кругом все, подобно обвалу; замораживая и щекоча, от самых ног поднялся к сердцу лед, пространство раздалось, гул сказки

покрыл ропот далекой, внизу, воды, и ветер застрял в ушах.

— Тави? — вопросительно сказал Друд, чувствуя, что он вновь равен для нее летящей стремглав ночи, что он — Гора.

— Ау! — слабо выскочило из одеяла. Но тотчас с восторгом освободила и подняла она голову, крича, как глухому: — Что это светится там, внизу? Это гнилые балки, дерево гниет, светится, вот это что! И пусть никто не поверит, что можно жить так, пусть даже и не знает никто! Теперь не отделить меня от вас, как носик от чайника. Это так в песне поется… — Она оборвала, но сквозь зубы взволнованно и сердито окончила: — «Ты мне муж будешь, а я буду твоя жена», а перед тем так: «Если меня не забудешь, как волну забывает волна… та-та-та-та-та-та-та-та будешь и… та-та-та, та-та-та… жена».

Она уже плакала, так печально показалось ей вдруг, что «волну забывает волна». Затем стал говорить Друд и сказал все, что нужно для глубокой души.

Как все звуки земли имеют отражение здесь, так все, прозвучавшее на высоте, таинственно раздается внизу. В тот час — в те минуты, когда два сердца терпеливо учились биться согласно,

седой мэтр изящной словесности, сидя за роскошным своим столом в сутане а-ля Бальзак и бархатной черной шапочке, среди описания великосветского раута, занявшего четыре дня и выходящего довольно удачно, почувствовал вдруг прилив томительных и глухих строк мелькающего стихотворения. Бессильный отстранить это, он стал писать на полях что-то несвязное. И оно очертилось так:

Если ты не забудешь,
Как волну забывает волна,
Ты мне мужем приветливым будешь,
А я буду твоя жена.

Он прочел, вспомнил, что жизнь прошла, и удивился варварской версификации четверостишия, выведенного рукой, полной до самых ногтей почтения, с каким пожимали ее.

Не блеск ли ручья, бросающего веселые свои воды в дикую красоту потока, видим мы среди водоворотов его, рассекающего зеленую страну навеки запечатленным путем?

Исчез и не исчез тот ручей, но, зачерпнув воду потока, не пьем ли с ней и воду ручья? Разно — есть смех, похожий на наш, и есть печали, тронувшие бы и нашу душу. В одном движении

гаснет форма и порода явлений. Ветер струит дым, флюгер и флаг рвутся, вымпел трепещет, летит пыль; бумажки, сор, высокие облака, осенние листья, шляпа прохожего, газ и кисея шарфа, лепестки яблонь — все стремится, отрывается, мчится и — в этот момент — одно. Глухой музыкой тревожит оно остановившуюся среди пути душу и манит. Но тяжелей камня душа: завистливо и бессильно рассматривает она ожившую вихрем даль, зевает и закрывает глаза.

VII

В течение пяти месяцев шесть замкнутых, молчаливых людей делали одно дело, связанные общим планом и общей целью; этими людьми двигал руководитель, встречаясь и разговаривая с ними только в тех случаях, когда это было совершенно необходимо. Они получали и расходовали большие суммы, мелькая по всем путям сообщения с неутомимостью и настойчивостью, способными организовать великое переселение или вызвать войну. Если у них не хватало денег или встречались препятствия, рассекаемые, единственно, золотым громадным мечом, — треск телеграмм перебегал по стране, вручая

замкнутый трепет свой белой руке, открывавшей нетерпеливым женским движением матовые стекла банковых кабин, где причесанный человек нумеровал, подписывал и методично оканчивал дело превращения еще не высохшей подписи в цветные брикеты ассигнаций или золотых свертков, оттягивающих руку к земле.

Вначале маршруты шестерых, посвятивших, казалось, всю жизнь свою тому делу, для которого их призвал руководитель, охватывали огромные пространства. Их пути часто пересекались. Иногда они виделись и говорили о своем, получая новые указания, после чего устремлялись в места, имеющие какое-либо отношение к их задаче, или возвращались на старый след, устанавливая новую точку зрения, делающую путь заманчивее, задачу — отчетливее, приемы — просторнее. Они были все связаны, и в то же время каждый был одинок.

Постепенно их путешествия утрачивали грандиозный размах, сосредоточиваясь вокруг нескольких линий, отмеченных на своеобразной карте, в которой мы не поняли бы ничего, сложными знаками. От периферии они стягивались, кружась, к некоему центру или, вернее, к территории с неустойчивыми границами, в пределах

которых цель чувствовалась более отчетливо, более вероятно, хотя и определяясь немногими шансами простой случайности, но все же возбуждая решительные надежды.

Уже мерещилась некая глухая развязка. Уже факты, несколько раз проверенные, повторялись блестящей беглой чертой, подобной отдаленной вспышке беззвучного выстрела; уже прямой след кинулся под ноги, мгновенно сцепив все тщательные соображения в одно последнее действие… действие развернулось, руки, схватив пустоту, дрогнули, немея в изнеможении, и обратный удар вдребезги разнес таинственные тенета. Затем наступил день, в свете которого ошеломляюще ясно стало на свои места все, видимое обыкновенными глазами обыкновенных людей, — как не было ничего.

Мы возвращаемся к Руне Бегуэм, душа которой подошла к мрачной черте. Ее голос стал сух, взгляд неподвижно спокоен, движения усталы и резки. Но ни разу за все время, что искала смерти пламенному сердцу невинного и бесстрашного человека, она не назвала вещи их настоящими именами и не подумала о них в ужасной тоске. Она гибла и защищалась с холодным отчаянием, найдя опору в уверенности, что смерть

Друда освободит и успокоит ее. Эта уверенность, подобная наитию или порыву, вызванному нестерпимой мукой, но длящемуся бесконечно, создала цель, доверенную руководителю, и только с ним говорила она об этом, но всегда с просьбой как можно менее беспокоить ее.

Нет дела и цели, какие рано или поздно не овладели бы всей мыслью и всей душой какого-нибудь одного человека, дотоле, быть может, жившего без особых планов, но с предчувствием и настроением своей роли. Его надо было извлечь из ровной травы голов, узнать и отметить среди множества подобных ему лицом, среди двойников с обманчивым впечатлением оригинала. Казалось, ничто подобное не совместимо с силами и опытом девушки, отъезд и приезд которой отмечался светской газетной хроникой в повышенном тоне. Действительно, она не могла совершить это при всем сознании особенностей задачи и ясном отчете самой себе, что надо было бы сделать; предстоял публичный вызов или пересмотр населения нескольких городов с испытаниями, занявшими бы не один год.

Нужный человек пришел сам, как будто бы ловил минуту изнеможения, чтобы постучать, войти и заговорить. Был слышен по пустынной

ночной улице стук колес, звучавший все громче, и Руна, отогнав сон, — вернее, мертвую неподвижность мысли, с какой пыталась забыться на жегшей щеку подушке, — прислушивалась к шуму невидимого экипажа.

— Кто едет ночью? куда? — спрашивала она, невольно замечая, что прислушивается со странным ожиданием, что кровь дико стучит; казалось, к ней именно направлен был этот одинокий стук ночи. Все громче звучал он, отчетливее и поспешнее становилась его трескучая трель; кто-то спешил, и Руна приподнялась, вслушиваясь, не загремят ли снова колеса. Но шум стих против ее дома; другой шум, возникающий лениво и смутно, коснулся напряженного слуха; тихий, как пение комара, далекий звонок, еще звонок — ближе, стук отдаленной двери, шорох и замирание смутных шагов. Не выдержав, она позвонила сама, с облегчением чувствуя, как это самостоятельное действие выводит ее из оцепенения.

Тихо постучав, вошла горничная.

— К вам приехали, — сказала она, — и мы не могли ничего сделать. Карета с гербами: из нее вышел человек, настойчиво приказавший передать вам письмо. «Едва его прочтут, — сказал он, — как вы получите приказание немедленно

провести меня к госпоже вашей». Мы посоветовались. Видя, что не решаются беспокоить вас, он роздал нам, смеясь, по несколько золотых монет. Нам стало ясно, что такое, по-видимому, важное лицо не решится беспокоить вас по-пустому. «Рискнем!» — подумали мы…

— Как! — невольно возмутясь, сказала Руна. — Лишь несколько золотых монет… Я посмотрю это письмо. Горе вам, если оно недостаточно серьезно для такого неслыханно дерзкого посещения.

Она разорвала конверт, мрачно смотря на горничную, успевшую запинаясь пролепетать:

— Никто не знает, почему мы пустили его. В нем что-то есть, будто он знает, что делает. Он так спокоен.

Руна уже не слышала ее. Устремив взгляд на атласный листок, она видела и переживала слово — одно слово — «Друд»; сама фраза могла показаться бессмыслицей всякой иной душе. Она прочла: «По следам Друда» — более ничего не было в той записке, но этого оказалось довольно.

— Подайте одеться, — быстро сказала девушка, мгновенно сжав письмо, как сжимают платок, — ведите этого человека в мраморную гостиную.

Тогда среди ночи вспыхнули обращенные к саду окна. Ярко озарил свет статуи и ковры;

неестественным оживлением веяло от этого часа ночной тревоги, замкнутой в беззвучное колесо тайны. Болезненно владея собой, вошла Руна с холодным и неподвижным лицом, увидев там человека, обратившего к ней полуприкрытый взгляд узких тяжелых глаз. Эти глаза выражали острую, почти маниакальную внимательность, равную неприятно-резкому звуку; вокруг скул темного лица вились седые, падающие локонами на грудь волосы, оживляя восемнадцатое столетие. Кривая линия бритого рта окрашивала все лицо мрачным светом, напоминающим улыбку Джоконды. Такое лицо могло бы заставить вздрогнуть, если, напевая, беззаботно обернуться к нему. Он был в черном сюртуке и шляпу держал в руках.

Руна вошла с вопросом, но лишь взглянула на посетителя, как понятно стало ей, что не нужен вопрос. Это было как бы продолжением только что примолкшего разговора.

— Я не назову себя, — сказал неизвестный, — а также не объясню вам, почему только теперь, но не позже, не раньше, вхожу сюда. Но вы ждали меня, и я пришел.

Дрожа, знаком пригласила она его сесть и, стиснув руки, села сама, по праву ожидая неслы-

ханного. Без жестов и улыбки продолжал свою речь гость; он сложил на остром колене желтые руки, став более неподвижен, чем мраморные Леандр и Геро сзади него со скорбью и смертью своей. Он сказал:

— Я знаю, как вы живете, знаю, что ваша жизнь полна вечного страха, что ваша молодость гаснет. И я также знаю, что, думая в одном направлении, всегда думая об одном и том же, без тени надежды победить этот след молнии, опалившей вас среди вашего прекрасного голубого дня, вы пришли к спокойному и задумчивому решению.

Этими словами ее состояние было схвачено и показано ей самой.

— Ваше имя, — сказала она, отшатываясь, и так хрипло, что было близко к вскрику. — Первый раз я вас вижу. Который раз видите вы меня? Разве я говорила с вами? Где? Скажите, кто предал меня? Да, я уже не живу; я грежу и погибаю.

— Кто бы я ни был, — сказал неизвестный, изменив своей неподвижности и слегка покачиваясь с глубокой и зловещей рассеянностью, — я, как и вы, — враг ему, следовательно, — друг ваш. Отныне, если наш разговор соединит нас, вы будете звать меня просто — «Руководитель». Друд более жить не должен. Его существование

нестерпимо. Он вмешивается в законы природы, и сам он — прямое отрицание их. В этой натуре заложены гигантские силы, которые, захоти он обратить их в любую сторону, создадут катастрофы. Может быть, я один знаю его тайну; сам он никогда не откроет ее. Вы встретили его в момент забавы — сверкающего вызова всем, кто, встречая его в толпе, далек от иных мыслей, кроме той, что видит обыкновенного человека. Но его влияние огромно, его связи бесчисленны. Никто не подозревает, кто он, — одно, другое, третье, десятое имя открывают ему доверчивые двери и уши. Он бродит по мастерским молодых пьяниц, внушая им или обольщая их пейзажами неведомых нам планет, насвистывает поэтам оратории и симфонии, тогда как жизнь вопит о неудобоваримейшей простоте; поддакивает изобретателям, тревожит сны и вмешивается в судьбу. Неподвижную, раз навсегда данную как отчетливая картина жизнь волнует он, и меняет, и в блестящую даль, смеясь, движет ее. Но мало этого. Есть жизни, обреченные суровым законом бедности к страданиям безысходным; холодный лед крепкой коркой лежит на их неслышном течении; и он взламывает этот лед, давая проникать солнцу в тьму глубокой воды. Он определяет

и разрешает случаи, по его воле начинающие сверкать сказкой. Мир полон его слов, тонких острот, убийственных замечаний и душевных движений без ведома относительно источника, распространившего их. Этот человек должен исчезнуть.

Где слабый ненавидит — сильный уничтожает. Воля и золото говорят теперь между собой. Совершите траты необходимые, быть может, безумные; но помните, что нет спасения без борьбы; не вы нанесете этот удар. Начнем издалека, уверенно сжимая кольцом. По свету бродят цыгане, и они знают многое, что никому не доступно, кроме их грязных кочевий. Они жадны и скрытны. Однако под рукой у меня есть несколько людей особой породы, углубленных, как и я, в рассматривание дымных фигур жизни, в мелькающий и едва слышный трепет ее. Мы сходим по золотой тропе к этим оборванным волосатым кочевникам, где под полами цветных шатров таятся хитрая красота и сведения самого различного свойства, по тем линиям, на какие нам надо ступить. Но не будем пренебрегать также помощью официальной, лишь с осторожностью и выбором чрезвычайными, если не хотим, чтобы поиски наши стали достоянием всех. В этом случае наши карты бу-

дут смешаны и поражены тем противоречием, в какое станем мы с задачей своей к прочей действительности.

Чем более слушала его Руна, тем яснее возникала ее надежда; и уже не хотелось ей ни о чем спрашивать, но лишь, единственно, действовать. Глухая пелена укрыла ее душу; без жестокости, без ясного отчета себе, на что решается, блаженно смеясь, сказала она:

— Будьте Руководителем. Я ничего не пожалею на это, ни о чем не вздохну, но буду ждать терпеливо и дам все, что нужно.

Она вышла и принесла все деньги, какие были у нее в этот момент, также принесла чек на крупную сумму.

— Довольно ли этого?

— Пока довольно, — сказал гость, — теперь я могу отлично провести время. А что, безумная девушка, скажете вы, если одно из самых замечательных мошенничеств разыгралось только что на ваших глазах?

Но она улыбнулась — так слабо, как слабо подействовала на нее шутка.

— Вы правы, — сказал посетитель, вставая и отвешивая глубокий поклон. — Когда придет время, я извещу вас обо всем важном. Спокойной ночи.

Он сказал это с резкой улыбкой, пристально посмотрев на нее.

Выразилась ли в жестких словах этих ее собственная жажда отлетевшего в бред и ужас покоя, или было задето что-нибудь еще, более значительное, — но мгновенной болью исказилось лицо девушки. Вздрогнув, выпрямилась и овладела она собой.

— Идите, — сказала она, быстро и тяжело дыша, — вас зовет пославшая сюда ночь. Идите и убейте его.

— Я выйду и стану на его след; и буду идти по следу не отрываясь, — сказал Руководитель. — Я спешу, ухожу.

Он вышел; его карета отъехала; быстро отлетающий стук колес, прогремев у подъезда, стал вскоре смутным жужжанием. Прислушиваясь к нему, Руна говорила с собой, сжимая руку, смеялась и плакала.

* * *

С той ночи стало медленнее идти время. Ее тревога росла; неподвижное упорство человека, вынужденного ожидать пассивно и, может быть, в те часы, когда ломаются самые острые углы тайного действия, скользящего по земле, росло в

ней костенеющей массой, мрачно сжимая губы всякий раз, когда ясно представляла она конец. По-прежнему мелькали среди ее дней улыбка или лицо Друда, данного как бы навсегда в спутники, но уже не так потрясая, не так *сбрасывая* могучим толчком, как то было недавно. Теперь смутно мерещилось ей рядом с ним другое лицо, но с неуловимыми и тонкими очертаниями, едва выраженным намеком беспокойного света; то пропадало, то появлялось это лицо, и она не могла отчетливо уловить его. Меж тем ее пораженная мысль двигалась по кругу, стиснувшему в себе чувство безотчетной утраты и тупой страх душевной болезни. Это состояние, усиливаясь, ослабевая и вновь усиливаясь, достигло наконец мрачных пустынь, в свинцовом свете которых гнется и кричит жизнь.

На второй день после того как Друд, смеясь, перешел границу, раскинутую страшной охотой, Руководитель посетил Руну в последний раз. Как приговор, выслушала она его слова, не поднимая взгляда, лишь тихо перебирая рукой кисть веера; бледней жемчуга было ее лицо. Казалось, сама ненависть, принявшая жуткий человеческий облик, сидит с ней. Его слова шипели и жгли, и он с трудом, сквозь разорванное злобой дыхание,

быстро, как выстрелы, бросал их:

— Не было ни одного момента в связи всех действий и слов наших, не проверенного с точностью астрономического хронометра. Друзья были приведены к молчанию; предатели выслежены и убиты; все негодное, бездарное в этом деле было обречено ничтожеству и бездействию. Мы предусмотрели случайности, высчитали миллионные части шансов, — больше чем исчисляет сама природа, производя живое существо, сделали мы, но лучший момент упущен. Как, где, кем допущена ошибка? Еще не ясно это, но что в том? Какую черту, какой оттенок мысли кого-либо из связанных с нами людей упустили мы или придали ей неточное значение? А! Я опять спрашиваю этот пустой воздух, когда он уже пуст и невинен! когда можно смотреть вверх только на птиц! когда струсившее, или слабое, или сманенное им сердце, покойно улыбаясь, ложится спать, тихо вздохнув!

Он умолк, и Руна подняла глаза. Но более испугалась она теперь, чем когда-либо в худшие минуты своего бреда. Само бешенство с дергающимся синим лицом сгибалось перед ней, и залитые мраком глаза неистово ссекали острым блеском своим вздрогнувший взгляд девушки.

— Мне нехорошо, — сказала она, — идите; все кончено. И все кончено между нами.

Вдруг слабым стал его голос; плечи поникли, взгляд потух, руки, растерянно и беспомощно дрожа, как будто искали опоры. Он встал, осунувшись; вяло и тускло осмотревшись, скорбно повел он бровью и направился к выходу.

— Я только старик, — услышала девушка, — силы оставляют меня, слабеет зрение, — и жизнь, данная на один порыв, восстанет ли опять стальным блеском своим? Я сломан: борьба вничью.

Он удалился, шепча и покачивая головой в свете огромных дверей, делающих его *старинную* фигуру легкой, как марионетка; забыв о нем, Руна сошла вниз. Ее вело желание двигаться, в то время как смерть была уже решена уснувшей ее душой. Но Руна не знала этого.

Она оделась и вышла, рассеянно кивнув слуге на вопрос, которого и не поняла и не слышала. У нее не было цели, но двигаться среди вечерней толпы манило ее холодным отдыхом шумного и пестрого одиночества. Обычно сияли окна; дрожащие лучи моторов, обгоняя лошадей и людей, то ослепляли спереди прямо в глаза, то брызгали из-за спины, двигаясь и исчезая среди пересекающих теней. Густая толпа двигалась ей навстречу,

раскалываясь перед этим бледным и прекрасным лицом с точностью водораздела, обливающего скалу; небрежно и тихо шла девушка, не замечая ничего, кроме золотых цепей вечерней иллюминации, рассеивающей под небом прозрачный голубой газ. Временами ее внимание отмечало что-нибудь, немедленно принимающее гигантские размеры, как если бы это явление подавляло все остальное: газету величиной в дом, женское или мужское лицо со страниц «Пищи богов», ширину улицы, казавшейся озаренной пропастью, щель или плиту тротуара, делавшиеся немедленно центром, вокруг которого гремел город.

Постепенно толпа становилась гуще и шире, в ней замечался некоторый беспорядок, разраставшийся в легкую давку. Слышались вопросы и возгласы. Сколько могла, Руна продвигалась вперед, пока не была вынуждена остановиться. Под ее рукой шмыгали дети; ряды спин, сомкнутых перед ней, скрывали сцену или событие, вокруг которого установилось цепляющееся за любопытство молчание; если кто на мгновение оборачивался из переднего ряда, в его лице светилось сдержанное волнение.

С сознанием, что происходящее или происшедшее там каким-то особым образом относится

к ней, хотя никак не могла бы сказать, почему это, а не другое чувство вызвано было уличным внезапным затором, Руна громко и спокойно произнесла:

— Пропустите меня.

Этот тон, выработанный столетиями, действовал всегда одинаково. Часть людей отскочила, часть, изогнувшись, вытолкнута была раздавшейся массой, и девушка вошла в круг.

Она не замечала теперь, что привлекла больше внимания, чем человек, лежавший ничком в позе прильнувшего к тротуару, как бы слушая подземные голоса. У самых ее ног блестел расползающийся кровяной развод с терпким сырым запахом. Лежащий был прекрасно одет, его темные волосы мокли в крови, и на ней же лежали полусогнутые пальцы левой руки.

Безмолвно, глубоко и тяжко вздыхая, смотрела Руна на этого человека, уступая одну мысль другой, пока, молниями сменяя друг друга, не разразились они полной и веселой отрадой. В этот момент девушка была совершенно безумна, но видела, *для себя*, с истиной, не подлежащей сомнению, — того, кто так часто, так больно, не ведая о том сам, вставал перед ее стиснутым сердцем. Вдруг смолкли и отступили все, едва

заговорила она.

— Вы говорите, — тихо сказала Руна, уловив часть беглого разговора, — что этот человек — самоубийца? Что он бросился из окна? О нет! Вот он — враг мой. Земля сильнее его; он мертв, мертв, да; и я вновь буду жить как жила.

Улыбаясь, осмотрела она всех, кто, внимательно шепча что-то соседу, сам пристально смотрел на нее и, встав на колени, прижала к губам теплую тяжелую руку умершего. Со стуком упала рука, когда девушка поднялась.

— Прости, — сказала она. — Все прости. В том мире, где теперь ты, нет ненависти, нет страстей; ты мертв, и я отдохну.

Она откинулась, обмерла и, потеряв сознание, стала биться в руках тех, кто, подскочив, успел ее удержать. Обычная в таких случаях суматоха окончилась появлением врача и вызовом собственного экипажа Руны, так как некоторые из толпы узнали ее.

Вот все, что надо, что можно, что следовало сказать об этой крупной душе, легшей ничком. Но еще несколько слов, может быть, совершенно удовлетворят пытливого читателя, думающего дальше, чем автор, и в одной истории отыскивающего другую, пока не будут исчерпаны все жизни,

все любви, все встречи и случаи, пока кроткие могильные холмы, пестреющие зеленью и цветами, не прикроют жизни и дела всех героев, всех людей этого скромного повествования о битвах и делах душевных. Так, следуя за выздоровевшей, но совершенно забывшей все девушкой, отметим мы и ее брак с Квинсеем, твердой рукой протянувшим ей новые, не менее чудесные цветы жизни, и возвращение жизнерадостности, — и все, чем дышит и живет человек, когда судьба благоприятна ему. Только иногда, обращая взгляд к небу, где вольные черты птиц от горизонта до горизонта ведут свой невидимый голубой путь, Руна Квинсей пыталась припомнить нечто, задумчиво сдвигая тонкие брови свои; но момент гас, и лишь его тень, светлым эхом возвращаясь издали, шептала слова, — подслушанные ли где, или возникшие чужой волей? — быть может, слышанные еще в детстве:

Если ты не забудешь,

Как волну забывает волна…

14 ноября 1921 г. – 28 марта 1923 г.

Золотая цепь

I

«Дул ветер...» — написав это, я опрокинул неосторожным движением чернильницу, и цвет блестящей лужицы напомнил мне мрак той ночи, когда я лежал в кубрике «Эспаньолы». Это суденышко едва поднимало шесть тонн; на нем прибыла партия сушеной рыбы из Мазабу. Некоторым нравится запах сушеной рыбы.

Все судно пропахло ужасом, и, лежа один в кубрике, с окном, заткнутым тряпкой, при свете скраденной у шкипера Гро свечи, я занимался рассматриванием переплета книги, страницы которой были выдраны неким практичным чтецом, а переплет я нашел.

На внутренней стороне переплета было написано рыжими чернилами:

«Сомнительно, чтобы умный человек стал читать такую книгу, где одни выдумки».

Ниже стояло:

«Дик Фармерон. Люблю тебя, Грета. Твой Д.».

На правой стороне человек, носивший имя Лазарь Норман, расписался двадцать четыре раза с хвостиками и всеобъемлющими росчерками. Еще кто-то решительно зачеркнул рукописание

Нормана и в самом низу оставил загадочные слова:

«Что знаем мы о себе?»

Я с грустью перечитывал эти слова. Мне было шестнадцать лет, но я уже знал, как больно жалит эта пчела — Грусть. Надпись в особенности терзала тем, что недавно парни с «Мелузины», напоив меня особым коктейлем, испортили мне кожу на правой руке, выколов татуировку в виде трех слов: «Я все знаю». Они высмеяли меня за то, что я читал книги, — прочел много книг и мог ответить на такие вопросы, какие им никогда не приходили в голову.

Я засучил рукав. Вокруг свежей татуировки розовела вспухшая кожа. Я думал, так ли уж глупы эти слова «Я все знаю»; затем развеселился и стал хохотать — понял, что глупы. Опустив рукав, я выдернул тряпку и посмотрел в окно.

Казалось, у самого лица вздрагивают огни гавани. Резкий, как щелчки, дождь бил в лицо. В мраке суетилась вода, ветер скрипел и выл, раскачивая судно. Рядом стояла «Мелузина»: там мучители мои, ярко осветив каюту, грелись водкой. Я слышал, что они говорят, и стал прислушиваться внимательнее, так как разговор шел о каком-то доме, где полы из чистого серебра, о

сказочной роскоши, подземных ходах и многом подобном. Я различал голоса Патрика и Моольса, двух рыжих свирепых чучел. Моольс сказал:

— Он нашел клад.

— Нет, — возразил Патрик, — он жил в комнате, где был потайной ящик; в ящике оказалось письмо, и он из письма узнал, где алмазная шахта.

— А я слышал, — заговорил ленивый, укравший у меня складной нож, Каррель — Гусиная шея, — что он каждый день выигрывал в карты по миллиону!

— А я думаю, что продал он душу дьяволу, — заявил Болинас, повар, — иначе так сразу не построишь дворцов.

— Не спросить ли у «Головы с дыркой», — осведомился Патрик (это было прозвище, которое они дали мне), — у Санди Пруэля, который *все знает*?

Гнусный — о, какой гнусный! — смех был ответом Патрику. Я перестал слушать. Я снова лег, прикрывшись рваной курткой, и стал курить табак, собранный из окурков в гавани. Он производил крепкое действие — в горле как будто поворачивалась пила. Я согревал свой озябший нос, пуская дым через ноздри.

Мне следовало быть на палубе: второй матрос «Эспаньолы» ушел к сестре, а шкипер и его брат

сидели в трактире, — но было холодно и мерзко вверху. Наш кубрик был простой дощатой норой с двумя настилами из голых досок и сельдяной бочкой — столом. Я размышлял о красивых комнатах, где тепло, нет блох. Затем я обдумал только что слышанный разговор. Он встревожил меня, — как будете встревожены вы, если вам скажут, что в соседнем саду опустилась жар-птица или расцвел розами старый пень.

Не зная, о ком они говорили, я представил человека в синих очках, с бледным, ехидным ртом и большими ушами, сходящего с крутой вершины по сундукам, скованным золотыми крепами.

«Почему ему так повезло, — думал я, — почему?..»

Здесь, держа руку в кармане, я нащупал бумажку и, рассмотрев ее, увидел, что эта бумажка представляет точный счет моего отношения к шкиперу, — с 17 октября, когда я поступил на «Эспаньолу», по 17 ноября, то есть по вчерашний день. Я сам записал на ней все вычеты из моего жалованья. Здесь были упомянуты: разбитая чашка с голубой надписью: «Дорогому мужу от верной жены»; утопленное дубовое ведро, которое я сам, по требованию шкипера, украл на палубе «Западного зерна»; похищенный кем-то

у меня резиновый плащ, раздавленный моей ногой мундштук шкипера и разбитое, все мной, стекло каюты. Шкипер точно сообщал каждый раз, что стоит очередное похождение, и с ним бесполезно было торговаться, потому что он был скор на руку.

Я подсчитал сумму и увидел, что она с избытком покрывает жалованье. Мне не приходилось ничего получать. Я едва не заплакал от злости, но удержался, так как с некоторого времени упорно решал вопрос — «Кто я — мальчик или мужчина?» Я содрогался от мысли быть мальчиком, но, с другой стороны, чувствовал что-то бесповоротное в слове «мужчина»; мне представлялись сапоги и усы щеткой. Если я мальчик, как назвала меня однажды бойкая девушка с корзиной дынь, — она сказала: «Ну-ка, посторонись, мальчик», — то почему я думаю о всем большом: книгах, например, и о должности капитана, семье, ребятишках, о том, как надо басом говорить: «Эй вы, мясо акулы!» Если же я мужчина — что более всех других заставил меня думать оборвыш лет семи, сказавший, становясь на носки: «Дай-ка прикурить, дядя!» — то почему у меня нет усов и женщины всегда становятся ко мне спиной, словно я не человек, а столб?

Мне было тяжело, холодно, неуютно. Был ветер. «Вой!» — говорил я, и он выл, как будто находил силу в моей тоске. Крошил дождь. «Лей!» — говорил я, радуясь, что все плохо, все сыро и мрачно, — не только мой счет со шкипером. Было холодно, и я верил, что простужусь и умру, мое неприкаянное тело…

II

Я вскочил, услышав шаги и голоса сверху; но то не были голоса наших. Палуба «Эспаньолы» приходилась пониже набережной, так что на нее можно было спуститься без сходни. Голос сказал: «Никого нет на этом свином корыте». Такое начало мне понравилось, и я с нетерпением ждал ответа. «Все равно», — ответил второй голос, столь небрежный и нежный, что я подумал, не женщина ли отвечает мужчине. «Ну, кто там?! — громче сказал первый. — В кубрике свет; эй, молодцы!»

Тогда я вылез и увидел, — скорее различил во тьме, — двух людей, закутанных в непромокаемые плащи. Они стояли оглядываясь, потом заметили меня, и тот, что был повыше, сказал:

— Мальчик, где шкипер?

Мне показалось странным, что в такой тьме можно установить возраст. В этот момент мне хотелось быть шкипером. Я бы сказал — густо, окладисто, с хрипотой — что-нибудь отчаянное, например: «Разорви тебя ад!» — или: «Пусть перелопаются в моем мозгу все тросы, если я что-нибудь понимаю!»

Я объяснил, что я один на судне, и сказал также, куда ушли остальные.

— В таком случае, — заявил спутник высокого человека, — не спуститься ли в кубрик? Эй, юнга, посади нас к себе, и мы поговорим, — здесь очень сыро.

Я подумал… Нет, я ничего не подумал. Но это было странное появление, и, рассматривая неизвестных, я на один миг отлетел в любимую страну битв, героев, кладов, где проходят, как тени, гигантские паруса и слышен крик — песня — шепот: «Тайна — очарование! Тайна — очарование!» «Неужели *началось*?» — спрашивал я себя; мои колени дрожали.

Бывают минуты, когда, размышляя, не замечаешь движений, поэтому я очнулся, лишь увидев себя сидящим в кубрике, против посетителей — они сели на вторую койку, где спал Эгва, другой матрос, и сидели согнувшись, чтобы не стукнуться о потолок-палубу.

«Вот это люди!» — подумал я, почтительно рассматривая фигуры своих гостей. Оба они мне понравились каждый в своем роде. Старший, широколицый, с бледным лицом, строгими серыми глазами и едва заметной улыбкой, должен был, по моему мнению, годиться для роли отважного

капитана, у которого есть кое-что на обед матросам, кроме сушеной рыбы. Младший, чей голос казался мне женским, — увы! — имел небольшие усы, темные пренебрежительные глаза и светлые волосы. Он был на вид слабее первого, но хорошо подбоченивался и великолепно смеялся. Оба сидели в дождевых плащах; у высоких сапогов с лаковыми отворотами блестел тонкий рант, — следовательно, эти люди имели деньги.

— Поговорим, молодой друг! — сказал старший. — Как ты можешь заметить, мы не мошенники.

— Клянусь громом! — ответил я. — Что ж, поговорим, черт побери!..

Тогда оба качнулись, словно между ними ввели бревно, и стали хохотать. Я знаю этот хохот. Он означает, что или вас считают дураком, или вы сказали безмерную чепуху. Некоторое время я обиженно смотрел, не понимая, в чем дело, затем потребовал объяснения в форме, достаточной, чтобы остановить потеху и дать почувствовать свою обиду.

— Ну, — сказал первый, — мы не хотим обижать тебя. Мы засмеялись потому, что немного выпили. — И он рассказал, какое дело привело их на судно, а я, слушая, выпучил глаза.

Откуда ехали эти два человека, вовлекшие меня в похищение «Эспаньолы», — я хорошенько не понял, — так был я возбужден и счастлив, что соленая, сухая рыба дядюшки Гро пропала в цветном тумане истинного, неожиданного похождения. Одним словом, они ехали, но опоздали на поезд. Опоздав на поезд, опоздали благодаря этому на пароход «Стим», единственное судно, обходящее раз в день берега обоих полуостровов, обращенных друг к другу остриями своими: «Стим» уходит в четыре, вьется среди лагун и возвращается утром. Между тем неотложное дело требует их на мыс Гардена, или, как мы назвали его, «Троячка» — по образу трех скал, стоящих в воде у берега.

— Сухопутная дорога, — сказал старший, которого звали Дюрок, — отнимет два дня, ветер для лодки силен, а быть нам надо к утру. Скажу прямо, чем раньше, тем лучше… и ты повезешь нас на мыс Гардена, если хочешь заработать. Сколько ты хочешь получить, Санди?

— Так вам надо поговорить со шкипером, — сказал я и вызвался сходить в трактир, но Дюрок, двинув бровью, вынул бумажник, положил его на колено и звякнул двумя столбиками золотых монет. Когда он их развернул, в его ладонь про-

лилась блестящая струя, и он стал играть ею, подбрасывать, говоря в такт этому волшебному звону.

— Вот твой заработок сегодняшней ночи, — сказал он, — здесь тридцать пять золотых. Я и мой друг Эстамп знаем руль и паруса и весь берег внутри залива; ты ничем не рискуешь. Напротив, дядя Гро объявит тебя героем и гением, когда, с помощью людей, которых мы тебе дадим, вернешься ты завтра утром и предложишь ему вот этот банковый билет. Тогда вместо одной галоши у него будут две. Что касается этого Гро, мы, откровенно говоря, рады, что его нет. Он будет крепко скрести бороду, потом скажет, что ему надо пойти посоветоваться с приятелями. Потом он пошлет тебя за выпивкой «спрыснуть» отплытие и напьется, и надо будет уговаривать его оторваться от стула, — стать к рулю. Вообще будет так ловко с ним, как, надев на ноги мешок, танцевать.

— Разве вы его знаете? — изумленно спросил я, потому что в эту минуту дядя Гро как бы побыл с нами.

— О нет! — сказал Эстамп. — Но мы… гм… слышали о нем. Итак, Санди, плывем.

— Плывем… О рай земной! — Ничего худого не

чувствовал я сердцем в словах этих людей, но видел, что забота и горячность грызут их. Мой дух напоминал трамбовку во время ее работы. Предложение заняло дух и ослепило меня. Я вдруг согрелся. Если бы я мог, я предложил бы этим людям стакан грога и сигару. Я решился без оговорок, искренно и со всем согласясь, так как все было правда и Гро сам вымолил бы этот билет, если бы был тут.

— В таком случае… Вы, конечно, знаете… Вы не подведете меня, — пробормотал я.

Все переменилось: дождь стал шутлив, ветер игрив, сам мрак, булькая водой, говорил «да». Я отвел пассажиров в шкиперскую каюту и, торопясь, чтобы не застиг и не задержал Гро, развязал паруса, — два косых паруса с подъемной реей, снял швартовы, поставил кливер, и, когда Дюрок повернул руль, «Эспаньола» отошла от набережной, причем никто этого не заметил.

Мы вышли из гавани на крепком ветре, с хорошей килевой качкой, и, как повернули за мыс, у руля стал Эстамп, а я и Дюрок очутились в каюте, и я воззрился на этого человека, только теперь ясно представив, как чувствует себя дядя Гро, если он вернулся с братом из трактира. Что он подумает обо мне, я не смел даже представить, так

как его мозг, верно, полон был кулаков и ножей, но я отчетливо видел, как он говорит брату: «То ли это место, или нет? Не пойму».

«Верно, то, — должен сказать брат. — Это самое место и есть, — вот тумба, а вот свороченная плита; рядом стоит “Мелузина”… да и вообще…»

Тут я увидел самого себя с рукой Гро, вцепившейся в мои волосы. Несмотря на отдаляющее меня от беды расстояние, впечатление это предстало столь грозным, что, поспешно смигнув, я стал рассматривать Дюрока, чтобы не удручаться.

Он сидел боком на стуле, свесив правую руку через его спинку, а левой придерживая сползший плащ. В этой же левой руке его дымилась особенная, плоская папироса с золотом на том конце, который кладут в рот; и ее дым, задевая мое лицо, пахнул, как хорошая помада. Его бархатная куртка была расстегнута у самого горла, обнажая белый треугольник сорочки; одна нога отставлена далеко, другая — под стулом, а лицо думало, смотря мимо меня; в этой позе заполнил он собой всю маленькую каюту. Желая быть на своем месте, я открыл шкафчик дяди Гро согнутым гвоздем, как делал это всегда, если мне не хватало чего-нибудь по кухонной части (затем

запирал), и поставил тарелку с яблоками, а также синий графин, до половины налитый водкой, и вытер пальцем стаканы.

— Клянусь брамселем, — сказал я, — славная водка! Не пожелаете ли вы и товарищ ваш выпить со мной?

— Что ж, это дело! — сказал, выходя из задумчивости, Дюрок. Заднее окно каюты было открыто. — Эстамп, не принести ли вам стакан водки?

— Отлично, дайте, — донесся ответ. — Я думаю, не опоздаем ли мы?

— А я хочу и надеюсь, чтобы все оказалось ложной тревогой, — крикнул, полуобернувшись, Дюрок. — Миновали ли мы Флиренский маяк?

— Маяк виден справа, проходим под бейдевинд.

Дюрок вышел со стаканом и, возвратясь, сказал:

— Теперь выпьем с тобой, Санди. Ты, я вижу, малый не трус.

— В моей семье не было трусов, — сказал я со скромной гордостью. На самом деле никакой семьи у меня не было. — Море и ветер — вот что люблю я!

Казалось, мой ответ удивил его; он посмотрел

на меня сочувственно, словно я нашел и поднес потерянную им вещь.

— Ты, Санди, или большой плут, или странный характер, — сказал он, подавая мне папиросу. — Знаешь ли ты, что я тоже люблю море и ветер?

— Вы должны любить, — ответил я.

— Почему?

— У вас такой вид.

— Никогда не суди по наружности, — сказал улыбаясь Дюрок. — Но оставим это. Знаешь ли ты, пылкая голова, куда мы плывем?

Я, как мог взросло, покачал головой и ногой.

— У мыса Гардена стоит дом моего друга, Ганувера. По наружному фасаду в нем сто шестьдесят окон, если не больше. Дом в три этажа. Он велик, друг Санди, очень велик. И там множество потайных ходов, есть скрытые помещения редкой красоты и множество затейливых неожиданностей. Старинные волшебники покраснели бы от стыда, что так мало придумали в свое время.

Я выразил надежду, что увижу столь чудесные вещи.

— Ну, это как сказать! — ответил Дюрок рассеянно. — Боюсь, что нам будет не до тебя. — Он повернулся к окну и крикнул: — Иду вас сменить!

Он встал. Стоя, он выпил еще один стакан, потом, поправив и застегнув плащ, шагнул в тьму. Тотчас пришел Эстамп, сел на покинутый Дюроком стул и, потирая закоченевшие руки, сказал:

— Третья смена будет твоя. Ну, что же ты сделаешь на свои деньги?

В ту минуту я сидел, блаженно очумев от загадочного дворца, и вопрос Эстампа что-то у меня отнял. Не иначе как я уже связывал свое будущее с целью прибытия. Вихрь, мечты!

— Что я сделаю? — переспросил я. — Пожалуй, я куплю рыбачий баркас. Многие рыбаки живут своим ремеслом.

— Вот как?! — сказал Эстамп. — А я думал, что ты подаришь что-нибудь своей *душеньке*.

Я пробормотал что-то, не желая признаться, что моя душенька — вырезанная из журнала женская голова, страшно пленившая меня, — лежит на дне моего сундучка.

Эстамп выпил, стал рассеянно и нетерпеливо оглядываться. Время от времени он спрашивал, куда ходит «Эспаньола», сколько берет груза, часто ли меня лупит дядя Гро и тому подобные пустяки. Видно было, что он скучает и грязненькая, тесная, как курятник, каюта ему противна. Он был совсем не похож на своего приятеля,

задумчивого, снисходительного Дюрока, в присутствии которого эта же вонючая каюта казалась блестящей каютой океанского парохода. Этот нервный молодой человек стал мне еще меньше нравиться, когда назвал меня, может быть по рассеянности, «Томми», — и я басом поправил его, сказав:

— Санди, Санди мое имя, клянусь Лукрецией!

Я вычитал, не помню где, это слово, непогрешимо веря, что оно означает неизвестный остров. Захохотав, Эстамп схватил меня за ухо и вскричал: «Каково! Ее зовут Лукрецией, ах ты, волокита! Дюрок, слышите? — закричал он в окно. — Подругу Санди зовут Лукреция!»

Лишь впоследствии я узнал, как этот насмешливый, поверхностный человек отважен и добр, — но в этот момент я ненавидел его наглые усики.

— Не дразните мальчика, Эстамп, — ответил Дюрок.

Новое унижение! — от человека, которого я уже сделал своим кумиром. Я вздрогнул, обида стянула мне лицо, и, заметив, что я упал духом, Эстамп вскочил, сел рядом со мной и схватил меня за руку, но в этот момент палуба поддала вверх и он растянулся на полу. Я помог ему встать,

внутренне торжествуя, но он выдернул свою руку из моей и живо вскочил сам, сильно покраснев, отчего я понял, что он самолюбив, как кошка. Некоторое время он молча и надувшись смотрел на меня, потом развеселился и продолжал свою болтовню.

В это время Дюрок прокричал: «Поворот!» Мы выскочили и перенесли паруса к левому борту. Так как мы теперь были под берегом, ветер дул слабее, но все же мы пошли с сильным боковым креном, иногда с всплесками волны на борту. Здесь пришло мое время держать руль, и Дюрок накинул на мои плечи свой плащ, хотя я совершенно не чувствовал холода. «Так держать», — сказал Дюрок, указывая румб, и я молодцевато ответил: «Есть так держать!»

Теперь оба они были в каюте, и я сквозь ветер слышал кое-что из их негромкого разговора. Как сон, он запомнился мне. Речь шла об опасности, потере, опасениях, чьей-то боли, болезни; о том, что «надо точно узнать». Я должен был крепко держать румпель и стойко держаться на ногах сам, так как волнение метало «Эспаньолу» как качель; поэтому за время вахты своей я думал больше удержать курс, чем что другое. Но я по-прежнему торопился доплыть, чтобы наконец

узнать, с кем имею дело и для чего. Если бы я мог, я потащил бы «Эспаньолу» бегом, держа веревку в зубах.

Недолго побыв в каюте, Дюрок вышел; огонь его папиросы направился ко мне, и скоро я различил лицо, склонившееся над компасом.

— Ну что, — сказал он, хлопая меня по плечу, — вот мы подплываем. Смотри!

Слева, во тьме, стояла золотая сеть далеких огней.

— Так это и есть тот дом? — спросил я.

— Да. Ты никогда не бывал здесь?

— Нет.

— Ну, тебе есть что посмотреть.

Около получаса мы провели, обходя камни — «Троячки». За береговым выступом набралось едва ветра, чтобы идти к небольшой бухте, и, когда это было наконец сделано, я увидел, что мы находимся у склона садов или рощ, расступившихся вокруг черной огромной массы, неправильно помеченной огнями в различных частях. Был небольшой мол; по одну сторону его покачивались, как я рассмотрел, яхты.

Дюрок выстрелил, и немного спустя явился человек, ловко поймав причал, брошенный мной. Вдруг разлетелся свет, — вспыхнул на конце мо-

ла яркий фонарь, и я увидел широкие ступени, спускающиеся к воде, яснее различил рощи.

Тем временем «Эспаньола» ошвартовалась, и я опустил паруса. Я очень устал, но меня не клонило в сон, напротив, — резко, болезненно-весело и необъятно чувствовал я себя в этом неизвестном углу.

— Что, Ганувер? — спросил, прыгая на мол, Дюрок у человека, нас встретившего. — Вы нас узнали? Надеюсь. Идемте, Эстамп. Иди с нами и ты, Санди, ничего не случится с твоим суденышком. Возьми деньги, а вы, Том, проводите молодого человека обогреться и устройте его всесторонне, затем вам предстоит путешествие. — И он объяснил, куда отвести судно. — Пока прощай, Санди! Вы готовы, Эстамп? Ну, тронемся, и дай Бог, чтобы все было благополучно.

Сказав так, он соединился с Эстампом, и они, сойдя на землю, исчезли влево, а я поднял глаза на Тома и увидал косматое лицо с огромной звериной пастью, смотревшее на меня с двойной высоты моего роста, склонив огромную голову. Он подбоченился. Его плечи закрыли горизонт. Казалось, он рухнет и раздавит меня.

III

Из его рта, ворочавшего, как жернов соломинку, пылающую искрами трубку, изошел мягкий, приятный голосок, подобный струйке воды.

— Ты капитан, что ли? — сказал Том, поворачивая меня к огню, чтобы рассмотреть. — У, какой синий! Замерз?

— Черт побери! — сказал я. — И замерз, и голова идет кругом. Если вас зовут Том, не можете ли вы объяснить всю эту историю?

— Это какую же такую историю? — Том говорил медленно, как тихий, рассудительный младенец, и потому было чрезвычайно противно ждать, когда он договорит до конца. — Какую же это такую историю? Пойдем-ка поужинаем. Вот это будет, думаю я, самая хорошая история для тебя.

С этим его рот захлопнулся, словно упал трап. Он повернул и пошел на берег, сделав мне рукой знак следовать за ним.

От берега по ступеням, расположенным полукругом, мы поднялись в огромную прямую аллею и зашагали меж рядов гигантских деревьев. Иногда, слева и справа, блестел свет, показывая в глубине спутанных растений колонны или угол

фасада с массивным узором карнизов. Впереди чернел холм; и, когда мы подошли ближе, он оказался группой человеческих мраморных фигур, сплетенных над колоссальной чашей в белеющую, как снег, группу. Это был фонтан. Аллея поднялась ступенями вверх, еще ступени — мы прошли дальше — указывали поворот влево; я поднялся и прошел арку внутреннего двора. В этом большом пространстве, со всех сторон и над головой ярко озаренном большими окнами, а также висячими фонарями, увидел я в первом этаже вторую арку поменьше, но достаточную, чтобы пропустить воз. За ней было светло, как днем; три двери, с разных сторон, открытые настежь, показывали ряд коридоров и ламп, горевших под потолком. Заведя меня в угол, где, казалось, некуда уже идти дальше, Том открыл дверь, и я увидел множество людей вокруг очагов и плит; пар и жар, хохот и суматоха, грохот и крики, звон посуды и плеск воды; здесь были мужчины, подростки, женщины, и я как будто попал на шумную площадь.

— Постой-ка, — сказал Том, — я поговорю тут с одним человеком, — и отошел, затерявшись. Тотчас я почувствовал, что мешаю, — меня толкнули в плечо, задели по ногам, бесцеремонная

рука заставила отступить в сторону, а тут женщина стукнула по локтю тазом, и уже несколько человек крикнули ворчливо-поспешно, чтобы я убрался с дороги. Я тронулся в сторону и столкнулся с поваром, несшимся с ножом в руке, сверкая глазами, как сумасшедший. Едва успел он меня выругать, как толстоногая девчонка, спеша, растянулась на скользкой плите с корзиной, и прибой миндаля подлетел к моим ногам; в то же время трое, волоча огромную рыбу, отпихнули меня в одну сторону, повара в другую и прокатили миндаль рыбьим хвостом. Было весело, одним словом. Я, сказочный богач, стоял, зажав в кармане горсть золотых и беспомощно оглядываясь, пока наконец в случайном разрыве этих спешащих, бегающих и орущих людей не улучил момента отбежать к далекой стене, где сел на табурет и где меня разыскал Том.

— Пойдем-ка, — сказал он, заметно весело вытирая рот.

На этот раз идти было недалеко, — мы пересекли угол кухни и через две двери поднялись в белый коридор, где в широком помещении без дверей стояло несколько коек и простых столов.

— Я думаю, нам не помешают, — сказал Том и, вытащив из-за пазухи темную бутылку, степенно

опрокинул ее в рот так, что булькнуло раза три. — Ну-ка, выпей, а там принесут что тебе надо, — и Том передал мне бутылку.

Действительно, я в этом нуждался. За два часа произошло столько событий, а главное — так было все это непонятно, что мои нервы упали. Я не был собой, — вернее, одновременно я был в гавани Лисса и здесь, так что должен был отделить прошлое от настоящего вразумляющим глотком вина, подобного которому не пробовал никогда. В это время пришел угловатый человек со сдавленным лицом и вздернутым носом, в переднике. Он положил на кровать пачку вещей и спросил Тома:

— Ему, что ли?

Том не удостоил его ответом, а взяв платье, передал мне, сказав, чтобы я одевался.

— Ты в лохмотьях, — говорил он, — вот мы тебя нарядим. Хорошенький ты сделал рейс, — прибавил Том, видя, что я опустил на тюфяк золото, которое мне было теперь некуда сунуть на себе. — Прими же приличный вид, поужинай и ложись спать, а утром можешь отправляться куда хочешь.

Заключение этой речи восстановило меня в правах, а то я уже начинал думать, что из меня

будут, как из глины, лепить, что им вздумается. Оба мои пестуна сели и стали смотреть, как я обнажаюсь. Растерянный, я забыл о подлой татуировке и, сняв рубашку, только успел заметить, что Том, согнув голову вбок, трудится над чем-то очень внимательно.

Взглянув на мою голую руку, он провел по ней пальцем.

— Ты все знаешь, — пробормотал он, озадаченный, и стал хохотать, бесстыдно воззрившись мне в лицо. — Санди! — кричал он, тряся злополучную мою руку. — А знаешь ли ты, что ты парень с гвоздем?! Вот ловко! Джон, взгляни сюда, тут ведь написано бесстыднейшим образом: «Я все знаю!»

Я стоял, прижимая к груди рубашку, полуголый, и был так взбешен, что крики и хохот пестунов моих привлекли кучу народа и давно уже шли взаимные, горячие объяснения: «В чем дело?» А я только поворачивался, взглядом разя насмешников — человек десять набилось в комнату. Стоял гам: «Вот этот! Все знает! Покажите-ка ваш диплом, молодой человек». — «Как варят соус тортю?» — «Эй, эй, что у меня в руке?» — «Слушай, моряк, любит ли Тильда Джона?» — «Ваше образование, объясните течение звезд и прочие планеты!» Наконец, какая-то замызганная дев-

чонка с черным, как у воробья, носом положила меня на обе лопатки, пропищав: «Папочка, не знаешь ты, сколько трижды три?»

Я подвержен гневу, и, если гнев взорвал мою голову, не много надо, чтобы, забыв все, я рванулся в кипящей тьме неистового порыва дробить и бить что попало. Ярость моя была ужасна. Заметив это, насмешники расступились, кто-то сказал: «Как побледнел, бедняжка, сейчас видно, что над чем-то задумался!» Мир посинел для меня, и, не зная, чем запустить в толпу, я схватил первое попавшееся — горсть золота, швырнув ее с такой силой, что половина людей выбежала, хохоча до упаду. Уже я лез на охватившего мои руки Тома, как вдруг стихло: вошел человек лет двадцати двух, худой и прямой, очень меланхоличный и прекрасно одетый.

— Кто бросил деньги? — сухо спросил он.

Все умолкли, задние прыскали, а Том, смутясь было, но тотчас развеселясь, рассказал, как была история.

— В самом деле, есть у него на руке эти слова, — сказал Том, — покажи руку, Санди, что там, ведь с тобой просто шутили.

Вошедший был библиотекарь владельца дома, Поп, о чем я узнал после.

— Соберите ему деньги, — сказал Поп, потом подошел ко мне и заинтересованно осмотрел мою руку. — Это вы написали сами?

— Я был бы последний дурак, — сказал я. — Надо мной издевались, над пьяным, напоили меня.

— Так… а все-таки, может быть, хорошо все знать. — Поп, улыбаясь, смотрел, как я гневно одеваюсь, как тороплюсь обуться. Только теперь, немного успокаиваясь, я заметил, что эти вещи — куртка, брюки, сапоги и белье — были хотя скромного покроя, но прекрасного качества, и, одеваясь, я чувствовал себя как рука в теплой мыльной пене.

— Когда вы поужинаете, — сказал Поп, — пусть Том пришлет Паркера, а Паркер пусть отведет вас наверх. Вас хочет видеть Ганувер, хозяин. Вы моряк и, должно быть, храбрый человек, — прибавил он, подавая мне собранные мои деньги.

— При случае в грязь лицом не ударю, — сказал я, упрятывая свое богатство.

Поп посмотрел на меня, я — на него. Что-то мелькнуло в его глазах — искра неизвестных соображений.

— Это хорошо, да… — сказал он и, странно взглянув, ушел. Зрители уже удалились; тогда, подведя меня за рукав к столу, Том указал на

поданный ужин. Кушанья были в тарелках, но вкусно ли, — я не понимал, хотя съел все. Есть не торопился. Том вышел, и, оставшись один, я пытался, вместе с едой, усвоить происходящее. Иногда волнение поднималось с такой силой, что ложка не попадала в рот. В какую же я попал историю и что мне предстоит дальше?! Или был прав бродяга Боб Перкантри, который говорил, что «если случай поддел тебя на вилку, знай, что перелетишь на другую».

Когда я размышлял об этом, во мне мелькнули чувство сопротивления и вопрос: «А что, если, поужинав, я надену шапку, чинно поблагодарю всех и, гордо, таинственно отказываясь от следующих, видимо готовых подхватить, „вилок“, выйду и вернусь на „Эспаньолу“, где на всю жизнь случай этот так и останется „случаем“, о котором можно вспоминать целую жизнь, делая какие угодно предположения относительно „могшего быть“ и „неразъясненного сущего“». Как я представил это, у меня словно выхватили из рук книгу, заставившую сердце стучать, на интереснейшем месте. Я почувствовал сильную тоску, и, действительно, случись так, что мне велели бы отправляться домой, я, вероятно, лег бы на пол и стал колотить ногами в совершенном отчаянии.

Однако ничего подобного пока мне не предстояло, — напротив, случай, или как там ни называть это, продолжал вить свой вспыхивающий шнур, складывая его затейливой петлей под моими ногами. За стеной (а, как я сказал, помещение было без двери, — ее заменял сводчатый широкий проход) несколько человек, остановясь — или сойдясь случайно, — вели разговор, непонятный, но интересный, — вернее, он был понятен, но я не знал, о ком речь. Слова были такие:

— Ну что, опять, говорят, свалился?!

— Было дело, попили. Споят его, как пить дать, или сам сопьется.

— Да уж спился.

— Ему пить нельзя, а все пьют, такая компания.

— А эта шельма, Дигэ, чего смотрит?

— А ей-то что?!

— Ну как что! Говорят, они в большой дружбе или просто амуры, а может быть, он на ней женится.

— Я слышал, как она говорит: «Сердце у вас здоровое; вы, говорит, очень здоровый человек, не то, что я».

— Значит, пей; значит, можно пить, а всем известно, что доктор сказал: «Вам вино я воспрещаю

безусловно. Что хотите, хоть кофе, но от вина вы можете помереть, имея сердце с пороком».

— Сердце с пороком, а завтра соберется двести человек, если не больше. Заказ у нас на двести. Как тут не пить?

— Будь у меня такой домина, и я пил бы на радостях.

— А что? Видел ты что-нибудь?

— Разве увидишь? По-моему, болтовня, один сплошной слух. Никто ничего не видал. Есть, правда, некоторые комнаты закрытые, но пройдешь все этажи, — нигде ничего нет.

— Да, поэтому это есть секрет.

— А зачем секрет?

— Дурак! Завтра все будет открыто, понимаешь? Торжество будет, торжественно это надо сделать, а не то что кукиш в кармане. Чтобы было согласное впечатление. Я кое-что слышал, да не тебе скажу.

— Стану ли я еще тебя спрашивать?! — Они поругались и разошлись. Только утихло, как послышался голос Тома; ему отвечал серьезный голос старика. Том сказал:

— Все здесь очень любопытны, а я, пожалуй, любопытнее всех. Что за беда?! Говорят, вы думали, что вас никто не видит. А видел — и он клянется

— Кваль, Кваль клянется, что с вами шла из-за угла, где стеклянная лестница, молоденькая такая уховертка и лицо покрыла платком.

Голос, в котором было больше мягкости и терпения, чем досады, ответил:

— Оставьте это, Том, прошу вас. Мне ли, старику, заводить шашни! Кваль любит выдумывать.

Тут они вышли и подошли ко мне; спутник подошел ближе, чем Том. Тот остановился у входа, сказал:

— Да, не узнать парня. И лицо его стало другим, как поел. Видели бы вы, как он потемнел, когда прочитали его скоропечатную афишу.

Паркер был лакей, — я видел такую одежду, как у него, на картинах. Седой, остриженный, слегка лысый, плотный человек этот в белых чулках, синем фраке и открытом жилете носил круглые очки, слегка прищуривая глаза, когда смотрел поверх стекол. Умные морщинистые черты бодрой старухи, аккуратный подбородок и мелькающее сквозь привычную работу лица внутреннее спокойствие заставили меня думать, не есть ли старик главный управляющий дома, о чем я его и спросил. Он ответил:

— Кажется, вас зовут Сандерс. Идемте, Санди, и постарайтесь не производить меня в высшую

должность, пока вы здесь не хозяин, а гость.

Я осведомился, не обидел ли я его чем-нибудь.

— Нет, — сказал он, — но я не в духе и буду придираться ко всему, что вы мне скажете. Поэтому вам лучше молчать и не отставать от меня.

Действительно, он шел так скоро, хотя мелким шагом, что я следовал за ним с напряжением.

Мы прошли коридор до половины и повернули в проход, где за стеной, помеченная линией круглых световых отверстий, была винтовая лестница. Взбираясь по ней, Паркер дышал хрипло, но и часто, однако быстроты не убавил. Он открыл дверь в глубокой каменной нише, и мы очутились среди пространств, сошедших, казалось, из стран великолепия воедино, — среди пересечения линий света и глубины, восставших из неожиданности. Я испытывал, хотя тогда не понимал этого, как может быть тронуто чувство формы, вызывая работу сильных впечатлений пространства и обстановки, где невидимые руки поднимают все выше и озареннее само впечатление. Это впечатление внезапной прекрасной формы было остро и ново. Все мои мысли выскочили, став тем, что я видел вокруг. Я не подозревал, что линии, в соединении с цветом и светом, могут улыбаться, останавливать, за-

держивать вздох, изменить настроение; что они могут произвести помрачение внимания и странную неуверенность членов.

Иногда я замечал огромный венок мраморного камина, воздушную даль картины или драгоценную мебель в тени китайских чудовищ. Видя все, я не улавливал почти ничего. Я не помнил, как мы поворачивали, где шли. Взглянув под ноги, я увидел мраморную резьбу лент и цветов. Наконец Паркер остановился, расправил плечи и, поддав грудь вперед, ввел меня за пределы огромной двери. Он сказал:

— Санди, которого вы желали видеть, — вот он, — затем исчез. Я обернулся — его не было.

— Подойдите-ка сюда, Санди, — устало сказал кто-то. Я огляделся, заметив в туманно-синем, озаренном сверху пространстве, полном зеркал, блеска и мебели, несколько человек, расположившихся по диванам и креслам, с лицами, повернутыми ко мне. Они были разбросаны, образуя неправильный круг. Вглядываясь, чтобы угадать, кто сказал «подойдите», я обрадовался, увидев Дюрока с Эстампом; они стояли, куря, подле камина и делали мне знаки приблизиться. Справа, в большой качалке, полулежал человек лет двадцати восьми, с бледным, приятным ли-

цом, завернутый в плед, с повязкой на голове. Слева сидела женщина. Около нее стоял Поп. Я лишь мельком взглянул на женщину, так как сразу увидел, что она очень красива, и оттого смутился. Я никогда не помнил, как женщина одета, кто бы она ни была, так и теперь мог лишь заметить в ее темных волосах белые искры и то, что она охвачена прекрасным синим рисунком хрупкого очертания. Когда я отвернулся, я снова увидел ее лицо про себя, — немного длинное, с ярким маленьким ртом и большими глазами, смотрящими как будто в тени.

— Ну, скажи, что ты сделал с моими друзьями? — произнес закутанный человек, морщась и потирая висок. — Они как приехали на твоем корабле, так не перестают восхищаться твоей особой. Меня зовут Ганувер. Садись, Санди, ко мне поближе.

Он указал кресло, в которое я и сел не сразу, так как оно все поддавалось и поддавалось подо мной, но наконец укрепился.

— Итак, — сказал Ганувер, от которого слегка пахло вином, — ты любишь «море и ветер»!

Я молчал.

— Не правда ли, Дигэ, какая сила в этих простых словах, — сказал Ганувер молодой даме. — Они

встречаются, как две волны.

Тут я заметил остальных. Это были двое немолодых людей. Один — нервный человек с черными баками, в пенсне с широким шнурком. Он смотрел выпукло, как кукла, не мигая и как-то странно дергая левой щекой. Его белое лицо в черных баках, выбритые губы, имевшие слегка надутый вид, и орлиный нос, казалось, подсмеиваются. Он сидел, согнув ногу треугольником на колене другой, придерживая верхнее колено прекрасными матовыми руками и рассматривая меня с легким сопением. Второй был старше, плотен, брит и в очках.

— Волны и эскадрильи! — громко сказал первый из них, не изменяя выражения лица и воззрясь на меня, рокочущим басом. — Бури и шквалы, брасы и контрабасы, тучи и циклоны, цейлоны, абордаж, бриз, муссон, Смит и Вессон!

Дама рассмеялась. Улыбнулись все остальные, только Дюрок остался — с несколько мрачным лицом — безучастным к этой шутке и, видя, что я вспыхнул, перешел ко мне, сев между мной и Ганувером.

— Что ж, — сказал он, кладя мне на плечо руку, — Санди служит своему призванию как может. Мы еще поплывем, а?

— Далеко поплывем, — сказал я, обрадованный, что у меня есть защитник.

Все снова стали смеяться, затем между ними произошел разговор, в котором я ничего не понял, но чувствовал, что говорят обо мне, легонько подсмеиваясь или серьезно, — я не разобрал. Лишь некоторые слова, вроде «приятное исключение», «колоритная фигура», «стиль», запомнились мне в таком странном искажении смысла, что я отнес их к подробностям моего путешествия с Дюроком и Эстампом.

Эстамп обратился ко мне, сказав:

— А помнишь, как ты меня напоил?

— А разве вы напились?

— Ну как же, я упал, здорово стукнулся головой о скамейку. Признайся — «огненная вода», «клянусь Лукрецией», — вскричал он, — честное слово, он поклялся Лукрецией! К тому же он «все знает», честное слово!

Этот предательский намек вывел меня из глупого оцепенения, в котором я находился; я подметил каверзную улыбку Попа, поняв, что это он рассказал о моей руке, и меня передернуло.

Следует упомянуть, что к этому моменту я был чрезмерно возбужден резкой переменой обста-

новки и обстоятельств, неизвестностью, что за люди вокруг и что будет со мной дальше, а также наивной, но твердой уверенностью, что мне предстоит сделать нечто особое именно в стенах этого дома, — иначе я не восседал бы в таком блестящем обществе. Если мне не говорят, что от меня требуется, — тем хуже для них; опаздывая, они, быть может, рискуют. Я был высокого мнения о своих силах. Уже я рассматривал себя, как часть некой истории, концы которой запрятаны. Поэтому, не переводя духа, сдавленным голосом, настолько выразительным, что каждый намек достигал цели, я встал и отрапортовал:

— Если я что-нибудь знаю, так это следующее. Приметьте. Я знаю, что никогда не буду насмехаться над человеком, если он у меня в гостях и я перед тем делил с ним один кусок и один глоток. А главное, — здесь я разорвал Попа глазами на мелкие куски, как бумажку, — я знаю, что никогда не выболтаю, если что-нибудь увижу случайно, пока не справлюсь, приятно ли это будет кое-кому.

Сказав так, я сел. Молодая дама, пристально посмотрев на меня, пожала плечами. Все смотрели на меня.

— Он мне нравится, — сказал Ганувер. — Однако не надо ссориться, Санди.

— Посмотри на меня, — сурово сказал Дюрок; я посмотрел, увидел совершенное неодобрение и рад был провалиться сквозь землю. — С тобой шутили и ничего более. Пойми это!

Я отвернулся, взглянув на Эстампа, затем на Попа. Эстамп, нисколько не обиженный, с любопытством смотрел на меня, потом, щелкнув пальцами, сказал: «Ба!» — и заговорил с неизвестным в очках. Поп, выждав, когда утих смешной спор, подошел ко мне.

— Экий вы горячий, Санди, — сказал он. — Ну, здесь нет ничего особенного, не волнуйтесь, только впредь обдумывайте ваши слова. Я вам желаю добра.

За все это время мне, как птице на ветке, был чуть заметен, в отношении всех здесь собравшихся, некий, очень замедленно проскальзывающий между ними тон выражаемой лишь взглядами и движениями тайной зависимости, подобной ускользающей из рук паутине. Сказался ли это преждевременный прилив нервной силы, перешедший с годами в способность верно угадывать отношение к себе впервые встречаемых людей, — но только я очень хорошо чувствовал, что Ганувер думает одинаково с молодой дамой, что Дюрок, Поп и Эстамп отделены от всех, кроме Га-

нувера, особым, неизвестным мне, настроением и что, с другой стороны, дама, человек в пенсне и человек в очках ближе друг к другу, а первая группа идет отдаленным кругом к неизвестной цели, делая вид, что остается на месте. Мне знакомо преломление воспоминаний, — значительную часть этой нервной картины я приписываю развитию дальнейших событий, к которым я был причастен, но убежден, что те невидимые лучи *состояний* отдельных людей и групп теперешнее ощущение хранит верно.

Я впал в мрачность от слов Попа; он уже отошел.

— С вами говорит Ганувер, — сказал Дюрок; встав, я подошел к качалке.

Теперь я лучше рассмотрел этого человека, с блестящими, черными глазами, рыжевато-курчавой головой и грустным лицом, на котором появилась редкой красоты тонкая и немного больная улыбка. Он всматривался так, как будто хотел порыться в моем мозгу, но, видимо, говоря со мной, думал о своем, очень, может быть, неотвязном и трудном, так как скоро перестал смотреть на меня, говоря с остановками:

— Так вот, мы это дело обдумали и решили, если ты хочешь. Ступай к Попу, в библиотеку,

там ты будешь разбирать... — Он не договорил, что разбирать. — Нравится он вам, Поп? Я знаю, что нравится. Если он немного скандалист, то это полбеды. Я сам был такой. Ну, иди. Не бери себе в поверенные вино, милый ди-Сантильяно. Шкиперу твоему послан приятный воздушный поцелуй, — все в порядке.

Я тронулся, Ганувер улыбнулся, потом крепко сжал губы и вздохнул. Ко мне снова подошел Дюрок, желая что-то сказать, как раздался голос Дигэ:

— Этот молодой человек не в меру строптив.

Я не знал, что она хотела сказать этим. Уходя с Попом, я отвесил общий поклон и, вспомнив, что ничего не сказал Гануверу, вернулся. Я сказал, стараясь не быть торжественным, но все же слова мои прозвучали как команда в игре в солдатики:

— Позвольте принести вам искреннюю благодарность. Я очень рад работе, эта работа мне очень нравится.

Затем я удалился, унося в глазах добродушный кивок Ганувера и думая о молодой даме с глазами в тени. Я мог бы теперь без всякого смущения смотреть в ее прихотливо-красивое лицо, имевшее выражение как у человека, которому быстро и тайно шепчут на ухо.

IV

Мы перешли электрический луч, падавший сквозь высокую дверь на ковер неосвещенной залы, и, пройдя далее коридором, попали в библиотеку. С трудом удерживался я от желания идти на носках, — так я казался сам себе громок и неуместен в стенах таинственного дворца. Нечего говорить, что я никогда не бывал не только в таких зданиях, хотя о них много читал, но не был даже в обыкновенной красиво обставленной квартире. Я шел разинув рот. Поп вежливо направлял меня, но, кроме «туда», «сюда», не говорил ничего. Очутившись в библиотеке — круглой зале, яркой от света огней, в хрупком, как цветы, стекле, — мы стали друг к другу лицом и уставились смотреть — каждый на новое для него существо. Поп был несколько в замешательстве, но привычка владеть собой скоро развязала ему язык.

— Вы отличились, — сказал он, — похитили судно, славная штука, честное слово!

— Едва ли я рисковал, — ответил я, — мой шкипер, дядюшка Гро, тоже, должно быть, не внакладе. А скажите, почему они так торопились?

— Есть причины! — Поп подвел меня к столу с книгами и журналами. — Не будем говорить сегодня о библиотеке, — продолжал он, когда я уселся. — Правда, что я за эти дни все запустил, — материал залежался, но нет времени. Знаете ли вы, что Дюрок и другие в восторге? Они находят вас… вы… одним словом, вам повезло. Имели ли вы дело с книгами?

— Как же, — сказал я, радуясь, что могу наконец удивить этого изящного юношу. — Я читал много книг. Возьмем, например, «Роб-Роя» или «Ужас таинственных гор», потом «Всадник без головы»…

— Простите, — перебил он, — я заговорился, но должен идти обратно. Итак, Санди, завтра мы с вами приступим к делу или лучше — послезавтра. А пока я вам покажу вашу комнату.

— Но где же я и что это за дом?

— Не бойтесь, вы в хороших руках, — сказал Поп. — Имя хозяина Эверест Ганувер, я — его главный поверенный в некоторых особых делах. Вы не подозреваете, каков этот дом.

— Может ли быть, — вскричал я, — что болтовня на «Мелузине» сущая правда?

Я рассказал Попу о вечернем разговоре матросов.

— Могу вас заверить, — сказал Поп, — что отно-

сительно Ганувера все это выдумка, но верно, что такого другого дома нет на земле. Впрочем, может быть, вы завтра увидите сами. Идемте, дорогой Санди; вы, конечно, привыкли ложиться рано и устали. Осваивайтесь с переменой судьбы.

«Творится невероятное», — подумал я, идя за ним в коридор, примыкавший к библиотеке, где были две двери.

— Здесь помещаюсь я, — сказал Поп, указывая одну дверь, и, открыв другую, прибавил: — А вот ваша комната. Не робейте, Санди, мы все люди серьезные и никогда не шутим в делах, — сказал он, видя, что я, смущенный, отстал. — Вы ожидаете, может быть, что я введу вас в позолоченные чертоги? (А я как раз так и думал.) Далеко нет. Хотя жить вам будет здесь хорошо.

Действительно, это была такая спокойная и большая комната, что я ухмыльнулся. Она не внушала того доверия, какое внушает настоящая ваша собственность, — например, перочинный нож, — но так приятно охватывала входящего. Пока что я чувствовал себя гостем этого отличного помещения с зеркалом, зеркальным шкапом, ковром и письменным столом, не говоря о другой мебели. Я шел за Попом с сердцебиением. Он толкнул дверь вправо, где в более узком про-

странстве находилась кровать и другие предметы роскошной жизни. Все это с изысканной чистотой и строгой приветливостью призывало меня бросить последний взгляд на оставляемого позади дядюшку Гро.

— Я думаю, вы устроитесь, — сказал Поп, оглядывая помещение. — Несколько тесновато, но рядом библиотека, где вы можете быть сколько хотите. Вы пошлете за своим чемоданом завтра.

— О да, — сказал я, нервно хихикнув. — Пожалуй, что так. И чемодан и все прочее.

— У вас много вещей? — благосклонно спросил он.

— Как же, — ответил я, — одних чемоданов с воротничками и смокингами около пяти.

— Пять?.. — Он покраснел, отойдя к стене у стола, где висел шнур с ручкой как у звонка. — Смотрите, Санди, как вам будет удобно есть и пить: если вы потянете шнур один раз, — по лифту, устроенному в стене, поднимется завтрак. Два раза — обед, три раза — ужин; чай, вино, кофе, папиросы вы можете получить когда угодно, пользуясь этим телефоном. — Он растолковал мне, как звонить, затем сказал в блестящую трубку: — Алло! Что? Ого, да, здесь новый жилец. — Поп обернулся ко мне: — Что вы желаете?

— Пока ничего, — сказал я со стесненным дыханием. — Как же едят в стене?

— Боже мой! — Он встрепенулся, увидев, что бронзовые часы письменного стола указывают 12. — Я должен идти. В стене не едят, конечно, но… но открывается люк, и вы берете. Это очень удобно как для вас, так и для слуг… Решительно ухожу, Санди. Итак, вы на месте, и я спокоен. До завтра.

Поп быстро вышел, еще более быстрыми услышал я в коридоре его шаги.

V

Итак, я остался один.

Было от чего сесть. Я сел на мягкий предупредительно пружинистый стул, перевел дыхание. Потикиванье часов вело многозначительный разговор с тишиной.

Я сказал: «Так здорово. Это называется влипнуть. Интересная история».

Обдумать что-нибудь стройно у меня не было сил. Едва появлялась связная мысль, как ее честью просила выйти другая мысль. Все вместе напоминало кручение пальцами шерстяной нитки. «Черт побери!» — сказал я наконец, стараясь во что бы то ни стало овладеть собой, и встал, жаждя вызвать в душе солидную твердость. Получилась смятость и рыхлость. Я обошел комнату, механически отмечая: «Кресло, стол, шкап, ковер, картина, шкап, зеркало». Я заглянул в зеркало. Там металось подобие франтоватого красного мака с блаженно-перекошенными чертами лица. Они достаточно точно отражали мое состояние. Я обошел все помещение, снова заглянул в спальню, несколько раз подходил к двери и прислушивался, не идет ли кто-нибудь с новым смятением

моей душе. Но было тихо. Я еще не переживал такой тишины — отстоявшейся, равнодушной и утомительной. Чтобы как-нибудь перекинуть мост меж собой и новыми ощущениями, я вынул свое богатство, сосчитал монеты, тридцать пять золотых монет, но почувствовал себя уже совсем дико. Фантазия моя обострилась так, что я отчетливо видел сцены самого противоположного значения. Одно время я был потерянным наследником знатной фамилии, которому еще не находят почему-то удобным сообщить о его величии. Контрастом сей блистательной гипотезе явилось предположение некой мрачной затеи, и я, не менее основательно, убедил себя, что стоит заснуть, как кровать нырнет в потайной трюм, где, при свете факелов, люди в масках приставят мне к горлу отравленные ножи. В то же время врожденная моя предусмотрительность, держа в уме все слышанные и замеченные обстоятельства, тянула к открытиям, по пословице «Куй железо, пока горячо». Я вдруг утратил весь свой жизненный опыт, исполнившись новых чувств с крайне занимательными тенденциями, но вызванными все же бессознательной необходимостью действия в духе своего положения.

Слегка помешавшись, я вышел в библиотеку,

где никого не было, и обошел ряды стоящих перпендикулярно к стенам шкапов. Время от времени я нажимал что-нибудь, — медный гвоздь, резьбу украшений, холодея от мысли, что потайной трюм окажется на том месте, где я стою. Вдруг я услышал шаги, голос женщины, сказавший: «Никого нет», — и голос мужчины, подтвердивший это угрюмым мычанием. Я испугался — метнулся, прижавшись к стене между двух шкапов, где еще не был виден, но, если бы вошедшие сделали пять шагов в эту сторону, новый помощник библиотекаря, Санди Пруэль, явился бы их взору, как в засаде. Я готов был скрыться в ореховую скорлупу, и мысль о шкапе, очень большом, с глухой дверью без стекол, была при таком положении совершенно разумной. Дверца шкапа не была прикрыта совсем плотно, так что я оттащил ее ногтями, думая хотя стать за ее прикрытием, если шкап окажется полон. Шкап должен был быть полон, — в этом я давал себе судорожный отчет, и, однако, он оказался пуст, спасительно пуст. Его глубина была достаточной, чтобы стать рядом троим. Ключи висели внутри. Не касаясь их, чтобы не звякнуть, я притянул дверь за внутреннюю планку, отчего шкап моментально осветился, как телефонная будка.

Но здесь не было телефона, не было ничего. Одна лакированная геометрическая пустота. Я не прикрыл двери плотно, опять-таки опасаясь шума, и стал, весь дрожа, прислушиваться. Все это произошло значительно быстрее, чем сказано, и, дико оглядываясь в своем убежище, я услышал разговор вошедших людей.

Женщина была Дигэ, — с другим голосом я никак не смешал бы ее замедленный голос особого оттенка, который бесполезно передавать, по его лишь ей присущей хладнокровной музыкальности. Кто мужчина, — догадаться не составляло особого труда: мы не забываем голоса, язвившего нас. Итак, вошли Галуэй и Дигэ.

— Я хочу взять книгу, — сказала она подчеркнуто громко. Они переходили с места на место.

— Но здесь действительно никого нет, — проговорил Галуэй.

— Да. Так вот, — она словно продолжала оборванный разговор, — это непременно случится.

— Ого!

— Да. В бледных тонах. В виде паутинных душевных прикосновений. Негреющее осеннее солнце.

— Если это не самомнение.

— Я ошибаюсь?! Вспомни, мой милый, Ричарда

Брюса. Это так естественно для него.

— Так. Дальше! — сказал Галуэй. — А обещание?

— Конечно. Я думаю, — через нас. Но не говори Томсону. — Она рассмеялась. Ее смех чем-то оскорбил меня. — Его выгоднее, для будущего, держать на втором плане. Мы выделим его при удобном случае. Наконец, просто откажемся от него, так как положение перешло к нам. Дай мне какую-нибудь книгу… на всякий случай… Прелестное издание, — продолжала Дигэ тем же намеренно громким голосом, но, расхвалив книгу, перешла опять в сдержанный тон. — Мне показалось, должно быть. Ты уверен, что не подслушивают? Так вот, меня беспокоят… эти… эти…

— Кажется, старые друзья; кто-то кому-то спас жизнь или в этом роде, — сказал Галуэй. — Что могут они сделать, во всяком случае?!

— Ничего, но это сбивает.

Далее я не расслышал.

— Заметь. Однако пойдем, потому что твоя новость требует размышления. Игра стоит свеч. Тебе нравится Ганувер?

— Идиот!

— Я задал неделовой вопрос, только и всего.

— Если хочешь знать. Даже скажу больше, — не будь я так хорошо вышколена и выветрена, в складках сердца где-нибудь мог бы завестись этот самый микроб — страстишка. Но бедняга слишком… последнее перевешивает. Втюриться совершенно невыгодно.

— В таком случае, — заметил Галуэй, — я спокоен за исход предприятия. Эти оригинальные мысли придают твоему отношению необходимую убедительность, — совершенствуют ложь. Что же мы будем говорить Томсону?

— То же, что и раньше. Вся надежда на тебя, дядюшка. «Вас ис дас?» Только он ничего не сделает. Этот кинематографический дом выстроен так конспиративно, как не снилось никаким Медичи.

— Он влопается.

— Не влопается. За это-то я ручаюсь. Его ум стоит моего, по своей линии.

— Идем. Что ты взяла?

— Я поищу, нет ли… Замечательно овладеваешь собой, читая такие книги.

— Ангел мой, сумасшедший Фридрих никогда не написал бы своих книг, если бы прочел только тебя.

Дигэ перешла часть пространства, направляясь

в мою сторону. Ее быстрые шаги, стихнув, вдруг зазвучали, как показалось мне, почти у самого шкапа. Каким ни был я новичком в мире людей, подобных жителям этого дома, но тонкий мой слух, обостренный волнениями этого дня, фотографически точно отметил сказанные слова и вылущил из непонятного все подозрительные места. Легко представить, что могло произойти в случае открытия меня здесь. Как мог осторожно и быстро, я совсем прикрыл щель двери и прижался в угол. Но шаги остановились на другом месте. Не желая испытать снова такой страх, я бросился шарить вокруг, ища выхода — куда! — хотя бы в стену. И тут я заметил, справа от себя, в той стороне, где находилась стена, узкую металлическую защелку неизвестного назначения. Я нажал ее вниз, вверх, вправо, в отчаянии, со смелой надеждой, что пространство расширится, — безрезультатно. Наконец я повернул ее влево. И произошло — ну, не прав ли я был в самых сумасбродных соображениях своих? — произошло то, что должно было произойти здесь. Стена шкапа бесшумно отступила назад, напугав меня меньше, однако, чем только что слышанный разговор, и я скользнул на блеск узкого, длинного, как квартал, коридора, озаренного

электричеством, где было, по крайней мере, куда бежать. С неистовым восторгом повел я обеими руками тяжелый вырез стены на прежнее место, но он пошел, как на роликах, и так как он был размером точно в разрез коридора, то не осталось никакой щели. Сознательно я прикрыл его так, чтобы не открыть даже мне самому. Ход исчез. Меж мной и библиотекой стояла глухая стена.

VI

Такое сожжение кораблей немедленно отозвалось в сердце и уме, — сердце перевернулось, и я увидел, что поступил опрометчиво. Пробовать снова открыть стену библиотеки не было никаких оснований, — перед глазами моими был тупик, выложенный квадратным камнем, который не понимал, что такое «Сезам», и не имел пунктов, вызывающих желание нажать их. Я сам захлопнул себя. Но к этому огорчению примешивался возвышенный полустрах (вторую половину назовем ликование) — быть одному в таинственных, запретных местах. Если я чего опасался, то, единственно, большого труда выбраться из тайного к явному, — обнаружение меня здесь хозяевами этого дома я немедленно смягчил бы рассказом о подслушанном разговоре и вытекающем отсюда желании скрыться. Даже не очень сметливый человек, услышав такой разговор, должен был настроиться подозрительно. Эти люди, ради целей — откуда мне знать — каких? — беседовали секретно, посмеиваясь. Надо сказать, что заговоры вообще я считал самым нормальным явлением и был бы очень непри-

ятно задет отсутствием их в таком месте, где обо всем надо догадываться; я испытывал огромное удовольствие, более — глубокое интимное наслаждение, но оно, благодаря крайне напряженному сцеплению обстоятельств, втянувших меня сюда, давало себя знать, кроме быстрого вращения мыслей, еще дрожью рук и колен; даже когда я открывал, а потом закрывал рот, зубы мои лязгали, как медные деньги. Немного постояв, я осмотрел еще раз этот тупик, пытаясь установить, где и как отделяется часть стены, но не заметил никакой щели. Я приложил ухо, не слыша ничего, кроме трения о камень самого уха, и, конечно, не постучал. Я не знал, что происходит в библиотеке. Быть может, я ждал недолго, может быть, прошло лишь пять, десять минут, но, как это бывает в таких случаях, чувства мои определили время, насчитывая такой срок, от которого нетерпеливой душе естественно переходить к действию. Всегда, при всех обстоятельствах, как бы согласно я ни действовал с кем-нибудь, я оставлял кое-что для себя и теперь тоже подумал, что надо воспользоваться свободой в собственном интересе, вдосталь насладиться исследованиями. Как только искушение завиляло хвостом, уже не было для меня удержу стремиться всем существом к

сногсшибательному соблазну. Издавна страстью моей было бродить в неизвестных местах, и я думаю, что судьба многих воров обязана тюремной решеткой вот этому самому чувству, которому все равно — чердак или пустырь, дикие острова или неизвестная чужая квартира. Как бы там ни было, страсть проснулась, заиграла, и я решительно поспешил прочь.

Коридор был в ширину с полметра, да еще, пожалуй, и дюйма четыре сверх того; в вышину же достигал четырех метров; таким образом, он представлялся длинной, как тротуар, скважиной, в дальний конец которой было так же странно и узко смотреть, как в глубокий колодец. По разным местам этого коридора, слева и справа, виднелись темные вертикальные черты — двери или сторонние проходы, стынущие в немом свете. Далекий конец звал, и я бросился навстречу скрытым чудодейственным таинствам.

Стены коридора были выложены снизу до половины коричневым кафелем, пол — серым и черным в шашечном порядке, а белый свод, как и остальная часть стен, до кафеля на правильном расстоянии друг от друга, блестел выгнутыми круглыми стеклами, прикрывающими электрические лампы. Я прошел до первой вертикальной

черты слева, принимая ее за дверь, но вблизи увидел, что это узкая арка, от которой в темный, неведомой глубины низ сходит узкая витая лестница со сквозными чугунными ступенями и медными перилами. Оставив исследование этого места, пока не обегу возможно большего пространства, чтобы иметь сколько-нибудь общий взгляд для обсуждения похождений в дальнейшем, я поторопился достигнуть отдаленного конца коридора, мельком взглядывая на открывающиеся по сторонам ниши, где находил лестницы, подобные первой, с той разницей, что некоторые из них вели вверх. Я не ошибусь, если обозначу все расстояние, от конца до конца прохода, в 250 футов, и когда я пронесся по всему расстоянию, то, обернувшись, увидел, что в конце, оставленном мной, ничто не изменилось; следовательно, меня не собирались ловить.

Теперь я находился у пересечения конца прохода другим, совершенно подобным первому, под прямым углом. Как влево, так и вправо открывалась новая однообразная перспектива, все так же неправильно помеченная вертикальными чертами боковых ниш. Здесь мной овладело, так сказать, равновесие намерения, потому что ни в одной из предстоящих сторон или крыльев по-

перечного прохода не было ничего отличающего их одну от другой — что могло бы обусловить выбор, — они были во всем и совершенно равны. В таком случае довольно оброненной на полу пуговицы или иного подобного пустяка, чтобы решение «куда идти» выскочило из вязкого равновесия впечатлений. Такой пустяк был бы толчком. Но, посмотрев в одну сторону и обернувшись к противоположной, можно было одинаково легко представить правую сторону левой, левую правой или наоборот. Странно сказать, я стоял неподвижно, озираясь и не подозревая, что некогда осел между двумя стогами сена огорчался, как я. Я словно прирос. Я делал попытки двигаться то в одну, то в другую сторону и неизменно останавливался, начиная решать снова то, что еще никак не было решено. Возможно ли изобразить эту физическую тоску, это странное и тупое раздражение, в котором я отдавал себе отчет даже тогда; колеблясь беспомощно, я чувствовал, как начинает подкрадываться, уже затемняя мысли, страх, что я останусь стоять всегда. Спасение было в том, что я держал левую руку в кармане куртки, вертя пальцами горсть монет. Я взял одну из них и бросил ее налево, с целью вызвать решительное усиление; она по-

катилась; и я отправился за ней только потому, что надо было ее поднять. Догнав монету, я начал одолевать второй коридор, с сомнениями, не предстанет ли его конец пересеченным так же, как там, откуда я едва ушел, так расстроясь, что еще слышал сердцебиение.

Однако, придя в этот конец, я увидел, что занимаю положение, замысловатее прежнего, — ход замыкался в тупик, то есть был ровно обрезан совершенно глухой стеной. Я повернул вспять, рассматривая стенные отверстия, за которыми, как и прежде, можно было различить опускающиеся в тень ступени. Одна из таких ниш имела не железные, а каменные ступени, числом пять; они вели к глухой, плотно закрытой двери, однако, когда я ее толкнул, она поддалась, впустив меня в тьму. Зажегши спичку, увидел я, что стою на нешироком пространстве четырех стен, обведенных узкими лестницами, с меньшими наверху площадками, примыкающими к проходным аркам. Высоко вверху тянулись другие лестницы, соединенные перекрестными мостиками.

Цели и ходы этих сплетений я, разумеется, не мог знать, но, имея как раз теперь обильный выбор всяческих направлений, подумал, что хорошо было бы вернуться. Эта мысль стала

особенно заманчива, когда спичка потухла. Я истратил вторую, но не забыл при этом высмотреть выключатель, который оказался у двери, и повернул его. Таким образом, обеспечив свет, я стал снова смотреть вверх, но здесь, обронив коробку, нагнулся. Что это?! Чудовища сошлись ко мне из породившей их тайны или я головокружительно схожу с ума? Или бред овладел мной?

Я так затрясся, мгновенно похолодев в муке и тоске ужаса, что, бессильный выпрямиться, уперся руками в пол и грохнулся на колени, внутренне визжа, так как не сомневался, что провалюсь вниз. Однако этого не случилось. У моих ног я увидел разбросанные бессмысленные глаза существ с мордами, напоминающими страшные маски. Пол был прозрачен. Воткнувшись под ним, вверх, к самому стеклу, торчало устремленное на меня множество глаз со зловещей окраской; круг странных контурных вывертов, игл, плавников, жабр, колючек; иные, еще более диковинные, всплывали снизу, как утыканные гвоздями пузыри или ромбы. Их медленный ход, неподвижность, сонное шевеление, среди которого вдруг прорезывало зеленую полутьму некое гибкое, вертлявое тело, отскакивая и кидаясь, как мяч, — все их движения были страшны

и дики. Цепенея, чувствовал я, что повалюсь и скончаюсь от перерыва дыхания. На счастье мое, взорванная таким образом мысль поспешила соединить указания вещественных отношений, и я сразу понял, что стою на стеклянном потолке гигантского аквариума, достаточно толстом, чтобы выдержать падение моего тела.

Когда смятение улеглось, я, высунув язык рыбам в отместку за их пучеглазое наваждение, растянулся и стал жадно смотреть. Свет не проникал через всю массу воды; значительная часть ее — нижняя — была затенена снизу, отделяя вверху уступы искусственных гротов и коралловых разветвлений. Над этим пейзажем шевелились медузы и неизвестно что, подобное висячим растениям, привешенным к потолку. Подо мной всплывали и погружались фантастические формы, светя глазами и блестя заостренными со всех сторон панцирями. Я теперь не боялся: вдоволь насмотревшись, я встал и пробрался к лестнице; шагая через ступеньку, поднялся на ее верхнюю площадку и вошел в новый проход.

Как было светло там, где я шел раньше, так было светло и здесь, но вид прохода существенно отличался от скрещений нижнего коридора. Этот проход, имея мраморный пол из серых с синими

узорами плит, был значительно шире, но заметно короче; его совершенно гладкие стены были полны шнуров, тянущихся по фарфоровым скрепам, как струны, из конца в конец. Потолок шел стрельчатыми розетками; лампы, блестя в центре клинообразных выемок свода, были в оправе красной меди. Ничем не задерживаясь, я достиг загораживающей проход створчатой двери не совсем обычного вида: она была почти квадратных размеров, а половины ее раздвигались, уходя в стены. За ней оказался род внутренности большого шкапа, где можно было стать троим. Эта клетка, выложенная темным орехом, с небольшим зеленым диванчиком, как показалось мне, должна составлять некий ключ к моему дальнейшему поведению, хотя и загадочный, но все же ключ, так как я никогда не встречал диванчиков там, где, видимо, не было в них нужды; но раз он стоял, то стоял, конечно, ради прямой цели своей, то есть чтоб на него сели. Не трудно было сообразить, что сидеть здесь, в тупике, должно лишь ожидая — кого? или чего? — мне это предстояло узнать. Не менее внушителен был над диванчиком ряд белых костяных кнопок. Исходя опять-таки из вполне разумного соображения, что эти кнопки не могли быть устроены для вредных или вообще

опасных действий, так что, нажимая их, я могу ошибиться, но никак не рискую своей головой, — я поднял руку, намереваясь произвести опыт.

Совершенно естественно, что в моменты действия с неизвестным воображение торопится предугадать результат, и я, уже нацелив палец, остановил его тыкающее движение, внезапно подумав: не раздастся ли тревога по всему дому, не загремит ли оглушительный звон? Хлопанье дверей, топот бегущих ног, крики: «Где? Кто? Эй! Сюда!» — представились мне так отчетливо в окружающей меня совершенной тишине, что я сел на диванчик и закурил. «Н-да-с! — сказал я. — Мы далеко ушли, дядюшка Гро, а ведь как раз в это время вы подняли бы меня с жалкого ложа и, согрев тумаком, приказали бы идти стучать в темное окно трактира «Заверни к нам», «чтоб дали бутылку»... Меня восхищало то, что я ничего не понимаю в делах этого дома, в особенности же совершенная неизвестность, как и что произойдет через час... день... минуту... как в игре. Маятник мыслей моих делал чудовищные размахи, и ему подвертывались всяческие картины, вплоть до появления карликов. Я не отказался бы увидеть процессию карликов, — седобородых, в колпаках и мантиях, крадущихся вдоль стены с хитрым

огнем в глазах. Тут стало мне жутко; решившись, я встал и мужественно нажал кнопку, ожидая, не откроется ли стена сбоку. Немедленно меня качнуло, клетка с диванчиком поехала вправо так быстро, что мгновенно скрылся коридор и начали мелькать простенки, то запирая меня, то открывая иные проходы, мимо которых я стал кружиться безостановочно, ухватясь за диван руками и тупо смотря перед собой на смену препятствий и перспектив.

Все это произошло в том категорическом темпе машины, против которого ничто не в состоянии спорить внутри вас, так как протестовать бессмысленно. Я кружился, описывая замкнутую черту внутри обширной трубы, полной стен и отверстий, правильно сменявших одно другое, и так быстро, что не решался выскочить в какой-нибудь из беспощадно исчезающих коридоров, которые, явясь на момент вровень с клеткой, исчезали, как исчезали в свою очередь разделяющие их глухие стены. Вращение было заведено, по-видимому, надолго, так как не уменьшалось и, раз начавшись, пошло гулять, как жернов в ветреный день. Знай я способ остановить это катание вокруг самого себя, я немедленно окончил бы наслаждаться сюрпризом, но из девяти кнопок,

еще не испробованных мной, каждая представляла шараду. Не зная почему, представление об остановке связалось у меня с нижней из них; но, решив, после того, как начала уже кружиться голова, что невозможно вертеться всю жизнь, я со злобой прижал эту кнопку, думая: будь что будет. Немедленно, не останавливая вращения, клетка поползла вверх, и я был вознесен высоко по винтовой линии, где моя тюрьма остановилась, продолжая вертеться в стене с ровно таким же количеством простенков и коридоров. Тогда я нажал третью — по счету сверху — и махнул вниз, но, как заметил, выше, чем это было вначале, и так же неумолимо вертелся на этой высоте, пока не стало тошнить. Я всполошился. Поочередно, почти не сознавая, что делаю, я начал нажимать кнопки как попало, носясь вверх и вниз с проворством парового молота, пока не ткнул — конечно, случайно — ту кнопку, которую требовалось задеть прежде всего. Клетка остановилась как вкопанная против коридора на неизвестной высоте, и я вышел пошатываясь.

Теперь, знай я, как направить обратно вращающийся лифт, я немедленно вернулся бы стучать и ломиться в стену библиотеки, но был не в силах пережить вторично вертящийся плен и напра-

вился куда глаза глядят, надеясь встретить хотя какое-нибудь открытое пространство. К тому времени я очень устал. Ум мой был помрачен: где я ходил, как спускался и поднимался, встречая то боковые, то пересекающие ходы, — не дано теперь моей памяти восстановить в той наглядности, какая была тогда; я помню лишь тесноту, свет, повороты и лестницы, как одну сверкающую запутанную черту. Наконец, набив ноги так, что пятки горели, я сел в густой тени короткого бокового углубления, не имевшего выхода, и уставился в противоположную стену коридора, где светло и пусто пережидала эту безумную ночь яркая тишина. Назойливо, до головной боли был напряжен тоскующий слух мой, воображая шаги, шорох, всевозможные звуки, но улавливал только свое дыхание.

Вдруг далекие голоса заставили меня вскочить, — шло несколько человек; с какой стороны, — разобрать я еще не мог; наконец шум, становясь слышнее, стал раздаваться справа. Я установил, что идут двое, женщина и мужчина. Они говорили немногословно, с большими паузами, слова смутно пролетали под сводом, так что нельзя было понять разговор. Я прижался к стене, спиной в сторону приближения, и скоро увидел

Ганувера рядом с Дигэ. Оба они были возбуждены. Не знаю, показалось мне это или действительно было так, но лицо хозяина светилось нервной каленой бледностью, а женщина держалась остро и легко, как нож, поднятый для удара.

Естественно, опасаясь быть обнаруженным, я ждал, что они проследуют мимо, хотя искушение выйти и заявить о себе было сильно, — я надеялся остаться снова один, на свой риск и страх, и, как мог глубже, ушел в тень. Но, пройдя тупик, где я скрывался, Дигэ и Ганувер остановились; остановились так близко, что, высунув из-за угла голову, я мог видеть их почти против себя.

Здесь разыгралась картина, которой я никогда не забуду.

Говорил Ганувер.

Он стоял, упираясь пальцами левой руки в стену и смотря прямо перед собой, изредка взглядывая на женщину совершенно больными глазами. Правую руку он держал приподнято, поводя ею в такт слов. Дигэ, меньше его ростом, слушала, слегка отвернув наклоненную голову с печальным выражением лица, и была очень хороша теперь, — лучше, чем я видел ее в первый раз; было в ее чертах человеческое и простое, но как бы обязательное, из вежливости или

расчета.

— В том, что неосязаемо, — сказал Ганувер, продолжая о неизвестном. — Я как бы нахожусь среди множества незримых присутствий. — У него был усталый грудной голос, вызывающий внимание и симпатию. — Но у меня словно завязаны глаза, и я пожимаю, — беспрерывно жму множество рук, — до утомления жму, уже перестав различать, жестка или мягка, горяча или холодна рука, к которой я прикасаюсь; между тем я должен остановиться на одной и боюсь, что не угадаю ее.

Он умолк. Дигэ сказала:

— Мне тяжело слышать это.

В словах Ганувера (он был еще хмелен, но держался твердо) сквозило необъяснимое горе. Тогда со мной произошло странное, вне воли моей, нечто, не повторявшееся долго, лет десять, пока не стало натурально свойственным, — это состояние, которое сейчас опишу. Я стал *представлять ощущения беседующих*, не понимая, что держу это в себе, между тем я вбирал их как бы со стороны. В эту минуту Дигэ положила руку на рукав Ганувера, *соразмеряя длину паузы, ловя, так сказать, нужное, не пропустив должного биения времени*, после которого, как ни незаметно мала эта ду-

ховная мера, говорить будет *уже поздно*, но и на волос раньше не должно быть сказано. Ганувер молча *продолжал видеть то множество рук, о котором только что говорил*, и думал о руках вообще, когда его взгляд остановился на белой руке Дигэ с представлением пожатия. Как ни был краток этот взгляд, *он немедленно отозвался в воображении Дигэ физическим прикосновением ее ладони к таинственной невидимой струне*: разом поймав такт, она сняла с рукава Ганувера свою руку и, протянув ее вверх ладонью, сказала ясным убедительным голосом:

— Вот эта рука!

Как только она это сказала, — мое тройное ощущение за себя и других кончилось. Теперь я видел и понимал только то, что видел и слышал. Ганувер взял руку женщины, медленно всматривался в ее лицо, как ради опыта читаем мы на расстоянии печатный лист — угадывая, местами прочтя или пропуская слова, с тем что, связав угаданное, поставим тем самым в линию смысла и то, что не разобрали. Потом он нагнулся и поцеловал руку, — без особого увлечения, но очень серьезно, сказав:

— Благодарю. Я верно понял вас, добрая Дигэ, и я не выхожу из этой минуты. Отдадимся течению.

— Отлично, — сказала она, развеселясь и краснея, — мне очень, очень жаль вас. Без любви… Это странно и хорошо.

— Без любви, — повторил он, — быть может, она придет… Но и не придет, — если что…

— Ее заменит близость. Близость вырастает потом. Это я знаю.

Наступило молчание.

— Теперь, — сказал Ганувер, — ни слова об этом. Все в себе. Итак, я обещал вам показать зерно, из которого вышел. Отлично. Я — Аладин, а эта стена, — ну, что вы думаете, — что это за стена? — Он как будто развеселился, стал улыбаться. — Видите ли вы здесь дверь?

— Нет, я не вижу здесь двери, — ответила, забавляясь ожиданием, Дигэ. — Но я знаю, что она есть.

— Есть, — сказал Ганувер. — Итак… — Он поднял руку, что-то нажал, и невидимая сила подняла вертикальный стенной пласт, открыв вход. Как только мог, я вытянул шею и нашел, что она гораздо длиннее, чем я до сих пор думал. Выпучив глаза и выставив голову, я смотрел внутрь нового тайника, куда вошли Ганувер и Дигэ. Там было освещено. Как скоро я убедился, они вошли не в проход, а в круглую комнату; правая часть

ее была от меня скрыта, — по той косой линии направления, как я смотрел, но левая сторона и центр, где остановились эти два человека, предстали недалеко от меня, так что я мог слышать весь разговор.

Стены и пол этой комнаты — камеры без окон — были обтянуты лиловым бархатом, с узором по стене из тонкой золотой сетки с клетками шестигранной формы. Потолка я не мог видеть. Слева у стены, на узорном золотистом столбе стояла черная статуя: женщина с завязанными глазами, одна нога которой воздушно касалась пальцами колеса, украшенного по сторонам оси крыльями, другая, приподнятая, была отнесена назад. Внизу свободно раскинутыми петлями лежала сияющая желтая цепь, средней якорной толщины, каждое звено которой было, вероятно, фунтов в двадцать пять весом. Я насчитал около двенадцати оборотов, длиной каждый от пяти до семи шагов, после чего должен был с болью закрыть глаза, — так сверкал этот великолепный трос, чистый, как утренний свет, с жаркими бесцветными точками по месту игры лучей. Казалось, дымится бархат, не вынося ослепительного горения. В ту же минуту тонкий звон начался в ушах, назойливый, как пение комара, и я догадался, что это — золото,

чистое золото, брошенное к столбу женщины с завязанными глазами.

— Вот она, — сказал Ганувер, засовывая руки в карманы и толкая носком тяжело отодвинувшееся двойное кольцо. — Сто сорок лет под водой. Ни ржавчины, ни ракушек, как и должно быть. Пирон был затейливый буканьер. Говорят, что он возил с собой поэта Касторуччио, чтобы тот описывал стихами все битвы и попойки; ну и красавиц, разумеется, когда они попадались. Эту цепь он выковал в 1777 году, за пять лет перед тем, как его повесили. На одном из колец, как видите, сохранилась надпись: «6 апреля 1777 года, волей Иеронима Пирона».

Дигэ что-то сказала. Я слышал ее слова, но не понял.

Это была строка или отрывок стихотворения.

— Да, — объяснил Ганувер, — я был, конечно, беден. Я давно слышал рассказ, как Пирон отрубил эту золотую цепь вместе с якорем, чтобы удрать от английских судов, настигших его внезапно. Вот и следы, — видите, здесь рубили. — Он присел на корточки и поднял конец цепи, показывая разрубленное звено. — Случай или судьба, как хотите, заставили меня купаться очень недалеко отсюда, рано утром. Я шел по колено в воде,

все дальше от берега, на глубину, — и споткнулся, задев что-то твердое большим пальцем ноги. Я наклонился и вытащил из песка, подняв муть, эту сияющую тяжеловесную цепь до половины груди, но, обессилев, упал вместе с ней. Одна только гагара, покачиваясь в зыби, смотрела на меня черным глазом, думая, может быть, что я поймал рыбину. Я был блаженно пьян. Я снова зарыл цепь в песок и приметил место, выложив на берегу ряд камней, по касательной моему открытию линии, а потом перенес находку к себе, работая пять ночей.

— Один?! Какая сила нужна!

— Нет, вдвоем, — сказал Ганувер, помолчав. — Мы распиливали ее на куски по мере того, как вытягивали, обыкновенной ручной пилой. Да, руки долго болели. Затем переносили в ведрах, сверху присыпав ракушками. Длилось это пять ночей, и я не спал эти пять ночей, пока не разыскал человека настолько богатого и надежного, чтобы взять весь золотой груз в заклад, не проболтавшись при этом. Я хотел сохранить ее… моя… мой компаньон по перетаскиванию танцевал ночью, на берегу, — при лунном…

Он замолчал. Хорошая, задумчивая улыбка высекла свет в его расстроенном лице, и он стер

ее, проведя от лба вниз ладонью.

Дигэ смотрела на Ганувера молча, прикусив губу. Она была очень бледна и, опустив взгляд к цепи, казалось, отсутствовала, так *не к разговору* выглядело ее лицо, похожее на лицо слепой, хотя глаза отбрасывали тысячи мыслей.

— Ваш… компаньон, — сказала она очень медленно, — оставил всю цепь вам?

Ганувер поднял конец цепи так высоко и с такой силой, какую трудно было предположить в нем, затем отпустил.

Трос грохнулся тяжелой струей.

— Я не забывал о нем. Он умер, — сказал Ганувер, — это произошло неожиданно. Впрочем, у него был странный характер. Дальше было так. Я поручил верному человеку распоряжаться как он хочет моими деньгами, чтоб самому быть свободным. Через год он телеграфировал мне, что состояние мое возросло до пятнадцати миллионов. Я путешествовал в это время. Путешествуя в течение трех лет, я получил несколько таких извещений. Этот человек пас мое стадо и умножал его с такой удачей, что перевалило за пятьдесят. Он вывалял мое золото где хотел, — в нефти, каменном угле, биржевом поту, судостроении и… я уже забыл где. Я только получал телеграммы.

Как это вам нравится?

— Счастливая цепь, — сказала Дигэ, нагибаясь и пробуя приподнять конец троса, но едва пошевелила его. — Не могу.

Она выпрямилась, Ганувер сказал:

— Никому не говорите о том, что видели здесь. С тех пор как я выкупил ее и спаял, вы — первая, которой показываю. Теперь пойдем. Да, выйдем, и я закрою эту золотую змею.

Он повернулся, думая, что она идет, но, взглянув и уже отойдя, позвал снова:

— Дигэ!

Она стояла, смотря на него пристально, но так рассеянно, что Ганувер с недоумением опустил протянутую к ней руку. Вдруг она закрыла глаза, сделала усилие, но не двинулась. Из-под ее черных ресниц, поднявшихся страшно тихо, дрожа и сверкая, выполз помраченный взгляд — странный и глухой блеск; только мгновение сиял он. Дигэ опустила голову, тронув глаза рукой и вздохнув, выпрямилась, пошла, но пошатнулась, и Ганувер поддержал ее, вглядываясь с тревогой.

— Что с вами? — спросил он.

— Ничего, так… Я… я представила трупы; людей, привязанных к цепи; пленников, которых опускали на дно.

— Это делал Морган, — сказал Ганувер, — Пирон не был столь жесток, и легенда рисует его скорее пьяницей-чудаком, чем драконом.

Они вышли, стена опустилась и стала на свое место, как если бы никогда не была потревожена. Разговаривавшие ушли в ту же сторону, откуда явились. Немедленно я вознамерился взглянуть им вслед, но… хотел ступить и не мог. Ноги окоченели, не повиновались. Я как бы отсидел их в неудобном положении. Вертясь на одной ноге, я поднял кое-как другую и переставил ее; она была тяжела и опустилась, как на подушку, без ощущения. Проволочив к ней вторую ногу, я убедился, что могу идти так со скоростью десяти футов в минуту. В глазах стоял золотой блеск, волнами поражая зрачки. Это состояние околдованности длилось минуты три и исчезло так же внезапно, как появилось. Тогда я понял, почему Дигэ закрыла глаза, и припомнил чей-то рассказ о мелком чиновнике-французе в подвалах Национального банка, который, походив среди груд золотых болванок, не мог никак уйти, пока ему не дали стакан вина.

— Так вот что, — бессмысленно твердил я, выйдя наконец из засады и бродя по коридору. Теперь я видел, что был прав, пустившись делать от-

крытия. Женщина заберет Ганувера, и он на ней женится. Золотая цепь извивалась передо мной, ползла по стенам, путалась в ногах. Надо узнать, где он купался, когда нашел трос; кто знает, — не осталось ли там и на мою долю. Я вытащил свои золотые монеты. Очень, очень мало! Моя голова кружилась. Я блуждал, с трудом замечая, где, как поворачиваю, иногда словно проваливался, плохо сознавал, о чем думаю, и шел сам себе посторонний, уже устав надеяться, что наступит конец этим скитаниям в тесноте, свете и тишине. Однако моя внутренняя тревога была, надо думать, сильна, потому что сквозь бред усталости и выжженного ею волнения я, остановясь, резко, как над пропастью, представил, что я заперт и заблудился, а ночь длится. Не страх, но совершенное отчаяние, полное бесконечного равнодушия к тому, что меня здесь накроют, владело мной, когда, почти падая от изнурения, подкравшегося всесильно, я остановился у тупика, похожего на все остальные, лег перед ним и стал бить в стену ногами так, что эхо, завыв гулом, пошло грохотать по всем пространствам, вверху и внизу.

VII

Я не удивился, когда стена сошла со своего места и в яркой глубине обширной, роскошной комнаты я увидел Попа, а за ним Дюрока в пестром халате. Дюрок поднял, но тотчас опустил револьвер, и оба бросились ко мне, втаскивая меня за руки, за ноги, так как я не мог встать. Я опустился на стул, смеясь и изо всей силы хлопая себя по колену.

— Я вам скажу, — проговорил я, — они женятся! Я видел! Та молодая женщина и ваш хозяин. Он был подвыпивши. Ей-богу! Поцеловал руку. Честь честью! Золотая цепь лежит там, за стеной, сорок поворотов через сорок проходов. Я видел. Я попал в шкап, и теперь судите, как хотите, но вам, Дюрок, я буду верен — и баста!

У самого своего лица я увидел стакан с вином. Стекло лязгнуло о зубы. Я выпил вино, во тьме свалившегося на меня сна еще успев разобрать, как Дюрок сказал:

— Это ничего, Поп! Санди получил свою порцию; он утолил жажду необычайного. Бесполезно говорить с ним теперь.

Казалось мне, когда я очнулся, что момент по-

тери сознания был краток и шкипер немедленно стащит с меня куртку, чтоб холод заставил быстрее вскочить. Однако не исчезло ничто за время сна. Дневной свет заглядывал в щели гардин. Я лежал на софе. Попа не было. Дюрок ходил по ковру, нагнув голову, и курил.

Открыв глаза и осознав отлетевшее, я снова закрыл их, придумывая, как держаться, так как не знал, обдадут меня бранью или все благополучно сойдет. Я понял все-таки, что лучшее — быть самим собой. Я сел и сказал Дюроку в спину:

— Я виноват.

— Санди, — сказал он, встрепенувшись и садясь рядом, — виноват-то ты виноват. Засыпая, ты бормотал о разговоре в библиотеке. Это для меня очень важно, и я поэтому не сержусь. Но слушай: если так пойдет дальше, ты действительно будешь все знать. Рассказывай, что было с тобой.

Я хотел встать, Дюрок толкнул меня в лоб ладонью, и я опять сел. Дикий сон клубился еще во мне. Он стягивал клещами суставы и выламывал скулы зевотой; и сладость, неутоленная сладость мякла во всех членах. Поспешно собрав мысли, а также закурив, что было моей утренней привычкой, я рассказал, припомнив, как мог точнее, разговор Галуэя с Дигэ. Ни о чем больше так не

расспрашивал и не переспрашивал меня Дюрок, как об этом разговоре.

— Ты должен благодарить счастливый случай, который привел тебя сюда, — заметил он наконец, очень, по-видимому, озабоченный, — впрочем, я вижу, что тебе везет. Ты выспался?

Дюрок не расслышал моего ответа: задумавшись, он тревожно тер лоб; потом встал, снова начал ходить. Каминные часы указывали семь с половиной. Солнце резнуло накуренный воздух из-за гардины тонким лучом. Я сидел осматриваясь. Великолепие этой комнаты, с зеркалами в рамах слоновой кости, мраморной облицовкой окон, резной, затейливой мебелью, цветной шелк, улыбки красоты в сияющих золотом и голубой далью картинах, ноги Дюрока, ступающие по мехам и коврам, — все это было чрезмерно для меня, — оно утомляло. Лучше всего дышалось бы мне теперь в море, когда стоишь на палубе, хмурясь под солнцем на острый морской блеск. Все, на что я смотрел, восхищало, но было непривычно.

— Мы поедем, Санди, — сказал, перестав ходить, Дюрок, — потом... но что предисловия?.. Хочешь отправиться в экспедицию?..

Думая, что он предлагает Африку или другое

какое место, где приключения неистощимы, как укусы комаров среди болот, я сказал со всей поспешностью:

— Да! Тысячу раз «да»! Клянусь шкурой леопарда, я буду всюду, где вы.

Говоря это, я вскочил. Может быть, он угадал, что я думаю, так как устало рассмеялся.

— Не так далеко, как ты, может быть, хочешь, но — в «страну человеческого сердца». В страну, где темно.

— О, я не понимаю вас, — сказал я, не отрываясь от его сжатого, как тиски, рта, надменного и снисходительного, от серых резких глаз под суровым лбом. — Но мне, право, все равно, если это вам нужно.

— Очень нужно, потому что мне кажется, — ты можешь пригодиться, и я уже вчера присматривался к тебе. Скажи мне, сколько времени надо плыть к Сигнальному Пустырю?

Он спрашивал о предместье Лисса, называвшемся так со старинных времен, когда города почти не было, а на каменных столбах мыса, окрещенного именем «Сигнальный Пустырь», горели ночью смоляные бочки, зажигавшиеся с разрешения колониальных отрядов как знак, что суда могут войти в Сигнальную бухту. Ныне

Сигнальный Пустырь был довольно населенное место со своей таможней, почтой и другими подобными учреждениями.

— Думаю, — сказал я, — что полчаса будет достаточно, если ветер хорош. Вы хотите ехать туда?

Он не ответил, вышел в соседнюю комнату и, провозясь там порядочно времени, вернулся, одетый как прибрежный житель, так что от его светского великолепия осталось одно лицо. На нем была кожаная куртка с двойными обшлагами, красный жилет с зелеными стеклянными пуговицами, узкая лакированная шляпа, напоминающая опрокинутый на сковороду котелок; вокруг шеи — клетчатый шарф, а на ногах — поверх коричневых, верблюжьего сукна, брюк — мягкие сапоги с толстой подошвой. Люди в таких вот нарядах, как я видел много раз, держат за жилетную пуговицу какого-нибудь раскрашенного вином капитана, стоя под солнцем на набережной, среди протянутых канатов и рядов бочек, и рассказывают ему, какие есть выгодные предложения от фирмы «Купи в долг» или «Застрахуй без нужды».

Пока я дивился на него, не смея, конечно, улыбнуться или отпустить замечание, Дюрок подошел

к стене между окон и потянул висячий шнурок. Часть стены тотчас вывалилась полукругом, образовав полку с углублением за ней, где вспыхнул свет; за стеной стало жужжать, и я не успел толком сообразить, что произошло, как вровень с упавшей полкой поднялся из стены род стола, на котором были чашки, кофейник с горящей под ним спиртовой лампочкой, булки, масло, сухари и закуски из рыбы и мяса, приготовленные, должно быть, руками кухонного волшебного духа, — столько поджаристости, масла, шипенья и аромата я ощутил среди белых блюд, украшенных рисунком зеленоватых цветов. Сахарница напоминала серебряное пирожное. Ложки, щипцы для сахара, салфетки в эмалированных кольцах и покрытый золотым плетеньем из мельчайших виноградных листьев карминовый графин с коньяком — все явилось, как солнце из туч. Дюрок стал переносить посланное магическими существами на большой стол, говоря:

— Здесь можно обойтись без прислуги. Как видишь, наш хозяин устроился довольно затейливо, а в данном случае просто остроумно. Но поторопимся.

Видя, как он быстро и ловко ест, наливая себе и мне из трепещущего по скатерти розовыми

зайчиками графина, я сбился в темпе, стал ежеминутно ронять то нож, то вилку; одно время стеснение едва не замучило меня, но аппетит превозмог, и я управился с едой очень быстро, применив ту уловку, что я будто бы тороплюсь больше Дюрока. Как только я перестал обращать внимание на свои движения, дело пошло как нельзя лучше, я хватал, жевал, глотал, отбрасывал, запивал и остался очень доволен собой. Жуя, я не переставал обдумывать одну штуку, которую не решался сказать, но сказать очень хотел и, может быть, не сказал бы, но Дюрок заметил мой упорный взгляд.

— В чем дело? — сказал он рассеянно, далекий от меня, где-то в своих горных вершинах.

— Кто вы такой? — спросил я и про себя ахнул. «Сорвалось-таки! — подумал я с горечью. — Теперь держись, Санди!»

— Я? — сказал Дюрок с величайшим изумлением, устремив на меня взгляд, серый как сталь. Он расхохотался и, видя, что я оцепенел, прибавил: — Ничего, ничего! Однако я хочу посмотреть, как ты задашь такой же вопрос Эстампу. Я отвечу твоему простосердечию. Я — шахматный игрок.

О шахматах я имел смутное представление, но поневоле удовлетворился этим ответом, смешав

в уме шашечную доску с игральными костями и картами. «Одним словом, — игрок!» — подумал я, ничуть не разочаровавшись ответом, а, напротив, укрепив свое восхищение. Игрок — значит молодчинище, хват, рисковый человек. Но, будучи поощрен, я вознамерился спросить что-то еще, как портьера откинулась и вошел Поп.

— Герои спят, — сказал он хрипло; был утомлен, с бледным, бессонным лицом, и тотчас тревожно уставился на меня. — Вторые лица все на ногах. Сейчас придет Эстамп. Держу пари, что он отправится с вами. Ну, Санди, ты отколол штуку, и твое счастье, что тебя не заметили в тех местах. Ганувер мог тебя просто убить. Боже сохрани тебя болтать обо всем этом! Будь на нашей стороне, но молчи, раз уж попал в эту историю. Так что же было с тобой вчера?

Я опять рассказал о разговоре в библиотеке, о лифте, аквариуме и золотой цепи.

— Ну вот видите! — сказал Поп Дюроку. — Человек с отчаяния способен на все. Как раз третьего дня он сказал при мне это самое Дигэ: «Если все пойдет в том порядке, как идет сейчас, я буду вас просить сыграть самую эффектную роль». Ясно, о чем речь. Все глаза будут обращены на нее, и она своей автоматической, узкой рукой

соединит ток.

— Так. Пусть соединит! — сказал Дюрок. — Хотя… да, я понимаю вас.

— Конечно! — горячо подхватил Поп. — Я положительно не видел такого человека, который так верил бы, был бы так убежден. Посмотрите на него, когда он один. Жутко станет. Санди, отправляйтесь к себе. Впрочем, вы опять запутаетесь.

— Оставьте его, — сказал Дюрок, — он будет нужен.

— Не много ли? — Поп стал водить глазами от меня к Дюроку и обратно. — Впрочем, как знаете.

— Что за советы без меня? — сказал, появляясь, сверкающий чистотой Эстамп. — Я тоже хочу. Куда это вы собрались, Дюрок?

— Надо попробовать. Я сделаю попытку, хотя не знаю, что из этого выйдет.

— А! Вылазка в трепещущие траншеи! Ну, когда мы появимся — два таких молодца, как вы да я, — держу сто против одиннадцати, что не устоит даже телеграфный столб! Что? Уже ели? И выпили? А я еще нет? Как вижу, — капитан с вами и суемудрствует. Здорово, капитан Санди! Ты, я слышал, закладывал всю ночь мины в этих стенах?!

Я фыркнул, так как не мог обидеться.

Эстамп присел к столу, хозяйничая и накладывая в рот что попало, также облегчая графин.

— Послушайте, Дюрок, я с вами!

— Я думал, вы останетесь пока с Ганувером, — сказал Дюрок. — Вдобавок, при таком щекотливом деле…

— Да, вовремя ввернуть слово?

— Нет. Мы можем смутить…

— И развеселить! За здоровье этой упрямой гусеницы!

— Я говорю серьезно, — настаивал Дюрок, — мне больше нравится мысль провести дело не так шумно.

— Как я ем! — Эстамп поднял упавший нож.

— Судя по всему, что я знаю, — вставил Поп, — Эстамп очень вам пригодится.

— Конечно! — вскричал молодой человек, подмигивая мне. — Вот и Санди вам скажет, что я прав. Зачем мне вламываться в ваш деликатный разговор? Мы с Санди присядем где-нибудь в кусточках, мух будем ловить… Ведь так, Санди?

— Если вы говорите серьезно, — ответил я, — я скажу вот что: раз дело опасное, всякий человек может быть только полезен.

— Что? Дюрок, слышите голос капитана? Как

он это изрек!

— А почему вы думаете об опасности? — серьезно спросил Поп.

Теперь я ответил бы, что опасность была необходима для душевного моего спокойствия. «Пылающий мозг и холодная рука», — как поется в песне о Пелегрине. Я сказал бы еще, что от всех этих слов и недомолвок, приготовлений, переодеваний и золотых цепей веет опасностью точно так же, как от молока — скукой, от книги — молчанием, от птицы — полетом, но тогда все неясное было мне ясно без доказательств.

— Потому что такой разговор, — сказал я, — и, клянусь гандшпугом, нечего спрашивать того, кто меньше всех знает. Я спрашивать не буду. Я сделаю свое дело, сделаю все, что вы хотите.

— В таком случае вы переоденьтесь, — сказал Дюрок Эстампу. — Идите ко мне в спальню, там есть кое-что. — И он увел его, а сам вернулся и стал говорить с Попом на языке, которого я не знал.

Не зная, что будут они делать на Сигнальном Пустыре, я тем временем побывал там мысленно, как бывал много раз в детстве. Да, я там дрался с подростками и ненавидел их манеру тыкать в глаза растопыренной пятерней. Я презирал эти

жестокие и бесчеловечные уловки, предпочитая верный, сильный удар в подбородок всем тонкостям хулиганского измышления. О Сигнальном Пустыре ходила поговорка: «На пустыре и днем — ночь». Там жили худые, жилистые бледные люди с бесцветными глазами и перекошенным ртом. У них были свои нравы, мировоззрения, свой странный патриотизм. Самые ловкие и опасные воры водились на Сигнальном Пустыре; там же процветали пьянство, контрабанда и шайки — целые товарищества взрослых парней, имевших каждое своего предводителя. Я знал одного матроса с Сигнального Пустыря — это был одутловатый человек с глазами в виде двух острых треугольников; он никогда не улыбался и не расставался с ножом. Установилось мнение, которое никто не пытался опровергнуть, что с этими людьми лучше не связываться. Матрос, о котором я говорю, относился презрительно и с ненавистью ко всему, что было не на Пустыре, и, если с ним спорили, неприятно бледнел, улыбаясь так жутко, что пропадала охота спорить. Он ходил всегда один, медленно, едва покачиваясь, руки в карманы, пристально оглядывая и провожая взглядом каждого, кто сам задерживал на его припухшем лице свой взгляд, как будто хотел

остановить, чтобы, слово за слово, начать свару. Вечным припевом его было: «У нас, там...», «Мы не так», «Что нам до этого», — и все такое, отчего казалось, что он родился за тысячи миль от Лисса, в упрямой стране дураков, где, выпячивая грудь, ходят хвастуны с ножами за пазухой.

Немного погодя явился Эстамп, разряженный в синий китель и синие штаны кочегара, в потрепанной фуражке; он прямо подошел к зеркалу, оглядев себя с ног до головы.

Эти переодевания очень интересовали меня, однако смелости не хватало спросить, что будем мы делать, трое, на Пустыре. Казалось, предстоят отчаянные дела. Как мог, я держался сурово, нахмуренно поглядывая вокруг с значительным видом. Наконец Поп объявил, что уже девять часов, а Дюрок — что надо идти, и мы вышли в светлую тишину пустынных великолепных стен, прошли сквозь набегающие сияния перспектив, в которых терялся взгляд, потом вышли к винтовой лестнице. Иногда в большом зеркале я видел себя, то есть невысокого молодого человека, с гладко зачесанными назад темными волосами. По-видимому, мой наряд не требовал перемены, он был прост: куртка, простые новые башмаки и серое кепи.

Я заметил, когда пожил довольно, что наша память лучше всего усваивает прямое направление, например улицу; однако представление о скромной квартире (если она не ваша), когда вы побыли в ней всего один раз, а затем пытаетесь припомнить расположение предметов и комнат, есть наполовину собственные ваши упражнения в архитектуре и обстановке, так что, посетив снова то место, вы видите его иначе. Что же сказать о гигантском здании Ганувера, где я, разрываемый непривычкой и изумлением, метался, как стрекоза, среди огней ламп, в сложных и роскошных пространствах? Естественно, что я смутно запомнил те части здания, где была нужда самостоятельно вникать в них, — там же, где я шел за другими, я запомнил лишь, что была путаница лестниц и стен.

Когда мы спустились по последним ступеням, Дюрок взял от Попа длинный ключ и вставил его в замок узорной железной двери; она открылась на полутемный канал с каменным сводом. У площади, среди других лодок, стоял парусный бот, и мы влезли в него. Дюрок торопился; я, правильно заключив, что предстоит спешное дело, сразу взял весла и развязал парус. Поп передал мне револьвер; спрятав его, я раздулся от гордости,

как гриб после дождя. Затем мои начальники махнули друг другу руками. Поп ушел, и мы вышли на веслах в тесноте сырых стен на чистую воду, пройдя под конец каменную арку, заросшую кустами. Я поднял парус. Когда бот отошел от берега, я догадался, отчего выплыли мы из этой крысиной гавани, а не от пристани против дворца: здесь нас никто не мог видеть.

VIII

В это жаркое утро воздух был прозрачен, поэтому против нас ясно виднелась линия строений Сигнального Пустыря. Бот взял, с небольшим ветром, приличный ход. Эстамп правил на точку, которую ему указал Дюрок; затем все мы закурили, и Дюрок сказал мне, чтобы я крепко молчал не только обо всем том, что может произойти в Пустыре, но чтобы молчал даже о самой поездке.

— Выворачивайся как знаешь, если кто-нибудь пристанет с расспросами, но лучше всего скажи, что был отдельно, гулял, а про нас ничего не знаешь.

— Солгу, будьте спокойны, — ответил я, — и вообще положитесь на меня окончательно. Я вас не подведу.

К моему удивлению, Эстамп меня более не дразнил. Он с самым спокойным видом взял спички, которые я ему вернул, даже не подмигнув, как делал при всяком удобном случае; вообще он был так серьезен, как только возможно для его характера. Однако ему скоро надоело молчать, и он стал скороговоркой читать стихи, но, заметив, что никто не смеется, вздохнул, о чем-то заду-

мался. В то время Дюрок расспрашивал меня о Сигнальном Пустыре.

Как я скоро понял, его интересовало, чем занимаются жители Пустыря и верно ли, что об этом месте отзываются неодобрительно.

— Отъявленные головорезы, — с жаром сказал я, — мошенники, не приведи Бог! Опасное население, что и говорить. — Если я сократил эту характеристику в сторону устрашительности, то она была все же на три четверти правдой, так как в тюрьмах Лисса восемьдесят процентов арестантов родились на Пустыре…

Вообще, как я уже говорил, Сигнальный Пустырь был территорией жестоких традиций и странной ревности, в силу которой всякий нежитель Пустыря являлся подразумеваемым и естественным врагом. Как это произошло и откуда повело начало, трудно сказать, но ненависть к городу, горожанам в сердцах жителей Пустыря пустила столь глубокие корни, что редко кто, переехав из города в Сигнальный Пустырь, мог там ужиться. Я там три раза дрался с местной молодежью, без всяких причин, только потому, что я был из города и парни «задирали» меня.

Все это, с небольшим умением и без особой грации, я изложил Дюроку, недоумевая, какое

значение могут иметь для него сведения о совершенно другом мире, чем тот, в котором он жил.

Наконец он оставил меня, начав говорить с Эстампом. Было бесполезно прислушиваться, так как я понимал слова, но не мог осветить их никаким достоверным смыслом. «Запутанное положение», — сказал Эстамп. «Которое мы распутаем», — возразил Дюрок. «На что вы надеетесь?» — «На то же, на что надеялся он». — «Но там могут быть причины серьезнее, чем вы думаете». — «Все узнаем!» — «Однако Дигэ...» — Я не расслышал конца фразы. «Эх, молоды же вы!» — «Нет, правда, — настаивал на чем-то Эстамп, — правда то, что нельзя подумать». — «Я судил не по ней, — сказал Дюрок, — я, может быть, ошибся бы сам, но психический аромат Томсона и Галуэя довольно ясен».

В таком роде размышлений вслух о чем-то хорошо им известном разговор этот продолжался до берега Сигнального Пустыря. Однако я не нашел в разговоре никаких объяснений происходящего. Пока что об этом некогда было думать, так как мы приехали и вышли, оставив Эстампа стеречь лодку. Я не заметил у него большой охоты к бездействию. Они условились так: Дюрок должен прислать меня, как только выяснится дальней-

шее положение неизвестного дела, с запиской, прочтя которую Эстамп будет знать, оставаться ли ему сидеть в лодке или присоединиться к нам.

— Однако почему вы берете не меня, а этого мальчика? — сухо спросил Эстамп. — Я говорю серьезно. Может произойти сдвиг в сторону рукопашной, и вы должны признать, что на весах действия я кое-что значу.

— По моим соображениям, — ответил Дюрок. — В силу этих соображений пока что я должен иметь послушного, живого подручного, но не равноправного, как вы.

— Может быть, — сказал Эстамп. — Санди, будь послушен. Будь жив. Смотри у меня!

Я понял, что он в досаде, но пренебрег, так как сам чувствовал бы себя тускло на его месте.

— Ну, идем, — сказал мне Дюрок, и мы отошли, но должны были на минуту остановиться.

Берег в этом месте представлял каменистый спуск, с домами и зеленью наверху. У воды стояли опрокинутые лодки, сушились сети. Здесь же бродило несколько человек, босиком, в соломенных шляпах. Стоило взглянуть в их бледные заросшие лица, чтобы немедленно замкнуться в себе. Оставив свои занятия, они стали на некотором от нас

расстоянии, наблюдая, что мы такое и что делаем, и тихо говоря между собой. Их пустые, прищуренные глаза выражали явную неприязнь.

Эстамп, отплыв немного, стал на якорь и смотрел на нас, свесив руки между колен. От группы людей на берегу отделился долговязый человек с узким лицом; он, помахав рукой, крикнул:

— Откуда, приятель?

Дюрок миролюбиво улыбнулся, продолжая молча идти; рядом с ним шагал я. Вдруг другой парень, с придурковатым, наглым лицом, стремительно побежал на нас, но, не добежав шагов пяти, замер как вкопанный, хладнокровно сплюнул и поскакал обратно на одной ноге, держа другую за пятку.

Тогда мы остановились. Дюрок повернул к группе оборванцев и, положив руки в карманы, стал молча смотреть. Казалось, его взгляд разогнал сборище. Похохотав между собой, люди эти вернулись к своим сетям и лодкам, делая вид, что более нас не замечают. Мы поднялись и вошли в пустую узкую улицу.

Она тянулась меж садов и одноэтажных домов из желтого и белого камня, нагретого солнцем. Бродили петухи, куры с дворов, из-за низких песчаниковых оград слышались голоса — смех,

брань, надоедливый, протяжный зов. Лаяли собаки, петухи пели. Наконец стали попадаться прохожие: крючковатая старуха, подростки, пьяный человек, шедший опустив голову, женщины с корзинами, мужчины на подводах. Встречные взглядывали на нас слегка расширенными глазами, проходя мимо, как всякие другие прохожие, но, миновав некоторое расстояние, останавливались; обернувшись, я видел их неподвижные фигуры, смотрящие вслед нам сосредоточенно и угрюмо. Свернув в несколько переулков, где иногда переходили по мостикам над оврагами, мы остановились у тяжелой калитки. Дом был внутри двора; спереди же, на каменной ограде, через которую я мог заглянуть внутрь, висели тряпки и циновки, сушившиеся под солнцем.

— Вот здесь, — сказал Дюрок, смотря на черепичную крышу, — это тот дом. Я узнал его по большому дереву во дворе, как мне рассказывали.

— Очень хорошо, — сказал я, не видя причины говорить что-нибудь другое.

— Ну, идем, — сказал Дюрок, и я ступил следом за ним во двор.

В качестве войска я держался на некотором расстоянии от Дюрока, а он прошел к середине двора

и остановился оглядываясь. На камне у одного порога сидел человек, чиня бочонок; женщина развешивала белье. У помойной ямы копался мальчик лет шести.

Но, лишь мы явились, любопытство обнаружилось моментально. В окнах показались забавные головы; женщины, раскрыв рот, выскочили на порог и стали смотреть так настойчиво, как смотрят на почтальона.

Дюрок, осмотревшись, направился к одноэтажному флигелю в глубине двора. Мы вошли под тень навеса, к трем окнам с белыми занавесками. Огромная рука приподняла занавеску, и я увидел толстый, как у быка, глаз, расширивший сонные веки свои при виде двух чужих.

— Сюда, приятель? — сказал глаз. — Ко мне, что ли?

— Вы — Варрен? — спросил Дюрок.

— Я — Варрен; что хотите?

— Ничего особенного, — сказал Дюрок самым спокойным голосом. — Если здесь живет девушка, которую зовут Молли Варрен, и если она дома, я хочу ее видеть.

Так и есть! Так я и знал, что дело идет о женщине, пусть она девушка, — все едино! Ну скажите, отчего это у меня было совершенно

непоколебимое предчувствие, что, как только уедем, — явится женщина? Недаром слова Эстампа «упрямая гусеница» заставили меня что-то подозревать в этом роде. Только теперь я понял, что угадал то, чего ждал.

Глаз сверкнул, изумился и потеснился дать место второму глазу; оба глаза не предвещали, судя по выражению их, радостной встречи. Рука опустила занавеску, поманив пальцем.

— Зайдите-ка, — сказал этот человек сдавленным, ненатуральным голосом, тем более неприятным, что он был адски спокоен. — Зайдите, приятель!

Мы прошли в небольшой коридор и стукнули в дверь налево.

— Войдите, — повторил нежно тот же спокойный голос, и мы очутились в комнате. Между окном и столом стоял человек в нижней рубашке и полосатых брюках — человек так себе, среднего роста, не слабый, по-видимому, с темными гладкими волосами, толстой шеей и перебитым носом, конец которого торчал как сучок. Ему было лет тридцать. Он заводил карманные часы, а теперь приложил их к уху.

— Молли? — сказал он.

Дюрок повторил, что хочет видеть Молли.

Варрен вышел из-за стола и стал смотреть в упор на Дюрока.

— Бросьте вашу мысль, — сказал он. — Оставьте вашу затею. Она вам не пройдет даром.

— Затей у меня нет никаких, но есть только поручение для вашей сестры.

Дюрок говорил очень вежливо и был совершенно спокоен. Я рассматривал Варрена. Его сестра представилась мне похожей на него, и я стал угрюм.

— Что это за поручение? — сказал Варрен, снова беря часы и бесцельно прикладывая их к уху. — Я должен посмотреть, в чем дело.

— Не проще ли, — возразил Дюрок, — пригласить девушку?

— А в таком случае не проще ли вам выйти вон и прихлопнуть дверь за собой! — проговорил Варрен, начиная тяжело дышать. В то же время он подступил ближе к Дюроку, бегая взглядом по его фигуре. — Что это за маскарад? Вы думаете, я не различу кочегара или матроса от спесивого идиота, как вы? Зачем вы пришли? Что вам надо от Молли?

Видя, как страшно побледнел Дюрок, я подумал, что тут и конец всей истории и наступит время палить из револьвера, а потому приготовился. Но

Дюрок только вздохнул. На один момент его лицо осунулось от усилия, которое сделал он над собой, и я услышал тот же ровный, глубокий голос:

— Я мог бы ответить вам на все или почти на все ваши вопросы, но теперь не скажу ничего. Я вас спрашиваю только: дома Молли Варрен?

Он сказал последние слова так громко, что они были бы слышны через полураскрытую в следующую комнату дверь, — если бы там был кто-нибудь. На лбу Варрена появился рисунок жил.

— Можете не говорить! — закричал он. — Вы подосланы, и я знаю кем — этим выскочкой, миллионером из ямы! Однако проваливайте! Молли нет. Она уехала. Попробуйте только производить розыски, и, клянусь черепом дьявола, мы вам переломаем все кости!

Потрясая рукой, он вытянул ее свирепым движением. Дюрок быстро взял руку Варрена выше кисти, нагнул вниз, и… и я неожиданно увидел, что хозяин квартиры, с яростью и мучением в лице, брякнулся на одно колено, хватаясь другой рукой за руку Дюрока. Дюрок взял эту, другую, руку Варрена и тряхнул его — вниз, а потом — назад. Варрен упал на локоть, сморщившись, закрыв глаза и прикрывая лицо.

Дюрок потер ладонь о ладонь, затем взглянул на продолжавшего лежать Варрена.

— Это было необходимо, — сказал он, — в другой раз вы будете осторожнее. Санди, идем!

Я выбежал за ним с обожанием и восторгом зрителя, получившего высокое наслаждение. Много я слышал о силачах, но первый раз видел сильного человека, казавшегося не сильным, не таким сильным. Я весь горел, ликовал, ног под собой не слышал от возбуждения. Если таково начало нашего похода, то что же предстоит впереди?

— Боюсь, не сломал ли я ему руку, — сказал Дюрок, когда мы вышли на улицу.

— Она срастется! — вскричал я, не желая портить впечатления никакими соображениями. — Мы ищем Молли?

Момент был таков, что сблизил нас общим возбуждением, и я чувствовал, что имею теперь право кое-что знать. То же, должно быть, признавал и Дюрок, потому что просто сказал мне как равному:

— Происходит запутанное дело: Молли и Ганувер давно знают друг друга, он очень ее любит, но с ней что-то произошло. По крайней мере на завтрашнем празднике она должна была быть, однако от нее нет ни слуха ни духа уже два меся-

ца, а перед тем она написала, что отказывается быть женой Ганувера и уезжает. Она ничего не объяснила при этом.

Он так законченно выразился, что я понял его нежелание приводить подробности. Но его слова вдруг согрели меня внутри и переполнили благодарностью.

— Я вам очень благодарен, — сказал я как можно тише.

Он повернулся и рассмеялся:

— За что? О, какой ты дурачок, Санди! Сколько тебе лет?

— Шестнадцать, — сказал я, — но скоро будет уже семнадцать.

— Сразу видно, что ты настоящий мужчина, — заметил он, и, как ни груба была лесть, я крякнул, осчастливленный свыше меры. Теперь Дюрок мог, не опасаясь непослушания, приказать мне обойти на четвереньках вокруг залива.

Едва мы подошли к углу, как Дюрок посмотрел назад и остановился. Я стал тоже смотреть. Скоро из ворот вышел Варрен. Мы спрятались за углом, так что он нас не видел, а сам был виден нам через ограду, сквозь ветви. Варрен посмотрел в обе стороны и быстро направился через мостик поперек оврага к поднимающемуся на той сто-

роне переулку.

Едва он скрылся, как из этих же ворот выбежала босоногая девушка с завязанной платком щекой и спешно направилась в нашу сторону. Ее хитрое лицо отражало разочарование, но, добежав до угла и увидев нас, она застыла на месте, раскрыв рот, потом метнула искоса взглядом, прошла лениво вперед и тотчас вернулась.

— Вы ищете Молли? — сказала она таинственно.

— Вы угадали, — ответил Дюрок, и я тотчас сообразил, что нам подвернулся шанс.

— Я не угадала, я слышала, — сказала эта скуластая барышня (уже я был готов взреветь от тоски, что она скажет: «Это — я, к вашим услугам»), двигая перед собой руками, как будто ловила паутину. — Так вот что я вам скажу: ее здесь действительно нет, а она теперь в бордингаузе, у своей сестры. Идите, — девица махнула рукой, — туда по берегу. Всего вам одну милю пройти. Вы увидите синюю крышу и флаг на мачте. Варрен только что убежал и уж наверно готовит пакость, поэтому торопитесь.

— Благодарю, добрая душа, — сказал Дюрок. — Еще, значит, не все против нас.

— Я не против, — возразила особа, — а даже

наоборот. Они девушкой вертят как хотят; очень жаль девочку, потому что, если не вступиться, ее слопают.

— Слопают? — спросил Дюрок.

— А вы не знаете Лемарена? — Вопрос прозвучал громовым упреком.

— Нет, не знаем.

— Ну, тогда долго рассказывать. Она сама расскажет. Я уйду; если меня увидят с вами…

Девица всколыхнулась и исчезла за углом, а мы, немедленно следуя ее указанию, и так скоро, как только позволяло дыхание, кинулись на ближайший спуск к берегу, где, как увидели, нам предстоит обогнуть небольшой мыс в правой стороне от Сигнального Пустыря.

Могли бы мы, конечно, расспросив о дороге, направиться ближайшим путем, по твердой земле, а не по скользкому гравию, но, как правильно указал Дюрок, в данном положении было невыгодно, чтобы нас видели на дорогах.

Справа, по обрыву, стоял лес, слева блестело утреннее красивое море, а ветер дул, на счастье, в затылок. Я был рад, что иду берегом. На гравии бежали, шумя, полосы зеленой воды, отливаясь затем назад шепчущей о тишине пеной. Обогнув мыс, мы увидели вдали, на изгибе лиловых хол-

мов берега, синюю крышу с узким дымком флага, и только тут я вспомнил, что Эстамп ждет известий. То же самое, должно быть, думал Дюрок, так как сказал:

— Эстамп потерпит: то, что впереди нас, — важнее его. — Однако, как вы увидите впоследствии, с Эстампом вышло иначе.

IX

За мысом ветер стих, и я услышал слабо долетающую игру на рояле, — беглый мотив. Он был ясен и незатейлив, как полевой ветер. Дюрок внезапно остановился, затем пошел тише, с закрытыми глазами, опустив голову. Я подумал, что у него сделались в глазах темные круги от слепого блеска белой гальки; он медленно улыбнулся, не открывая глаз, потом остановился вторично с немного приподнятой рукой. Я не знал, что он думает. Его глаза внезапно открылись, он увидел меня, но продолжал смотреть очень рассеянно, как бы издалека; наконец, заметив, что я удивлен, Дюрок повернулся и, ничего не сказав, направился далее.

Обливаясь потом, достигли мы тени здания. Со стороны моря фасад был обведен двухэтажной террасой с парусиновыми навесами; узкая пустая стена со слуховым окном была обращена к нам, а входы были, надо полагать, со стороны леса. Теперь нам предстояло узнать, что это за бординг-гауз и кто там живет.

Музыкант кончил играть свой короткий мотив и начал переливать звуки от заостренной трели к

глухому бормотанию басом, — потом обратно, все очень быстро. Наконец он несколько раз кряду крепко ударил в прелестную тишину морского утра однотонным аккордом и как бы исчез.

— Замечательное дело! — послышался с верхней террасы хриплый, обеспокоенный голос. — Я оставил водки в бутылке выше ярлыка на палец, а теперь она ниже ярлыка. Это вы выпили, Билль?

— Стану я пить чужую водку, — мрачно и благородно ответил Билль. — Я только подумал, не уксус ли это, так как страдаю мигренью, и смочил немного платок.

— Лучше бы вы не страдали мигренью, а научились… — Затем, так как мы уже поднялись по тропинке к задней стороне дома, спор слышался неясным единоборством голосов, а перед нами открылся вход с лестницей. Ближе к углу была вторая дверь.

Среди редких, очень высоких и тенистых деревьев, росших здесь вокруг дома, переходя далее в густой лес, мы не были сразу замечены единственным человеком, которого тут увидели. Это была девушка или девочка? — я не мог бы сказать сразу, но склонялся к тому, что девочка. Она ходила босиком по траве, склонив голову и заложив руки назад, взад и вперед с таким видом,

как ходят из угла в угол по комнате. Под деревом был на вкопанном столбе круглый стол, покрытый скатертью, на нем лежали разграфленная бумага, карандаш, утюг, молоток и горка орехов. На девушке не было ничего, кроме коричневой юбки и легкого белого платка с синей каймой, накинутого поверх плеч. В ее очень густых, кое-как замотанных волосах торчали длинные шпильки.

Походив, она нехотя уселась к столу, записала что-то в разграфленную бумагу, затем сунула утюг между колен и стала разбивать на нем молотком орехи.

— Здравствуйте, — сказал Дюрок, подходя к ней. — Мне указали, что здесь живет Молли Варрен.

Она повернулась так живо, что все ореховое производство свалилось в траву; выпрямилась, встала и, несколько побледнев, оторопело приподняла руку. По ее очень выразительному, тонкому, слегка сумрачному лицу прошло несколько беглых, странных движений. Тотчас она подошла к нам, не быстро, но словно подлетела с дуновением ветра.

— Молли Варрен! — сказала девушка, будто что-то обдумывая, и вдруг убийственно покраснела. — Пожалуйте, пройдите за мной, я ей скажу.

Она понеслась, щелкая пальцами, а мы, следуя за ней, прошли в небольшую комнату, где было тесно от сундуков и плохой, но чистой мебели. Девочка исчезла, не обратив больше на нас никакого внимания, в другую дверь и с треском захлопнула ее. Мы стояли, сложив руки, с естественным напряжением. За скрывшей эту особу дверью послышалось падение стула или похожего на стул; звон, какой слышен при битье посуды, яростное «черт побери эти крючки», и, после некоторого резкого громыхания, внезапно вошла очень стройная девушка, со встревоженным улыбающимся лицом, обильной прической и блистающими заботой, нетерпеливыми, ясными, черными глазами, одетая в тонкое шелковое платье прекрасного сиреневого оттенка, туфли и бледно-зеленые чулки. Это была все та же босая девочка с утюгом, но я должен был теперь признать, что она девушка.

— Молли — это я, — сказала она недоверчиво, но неудержимо улыбаясь, — скажите все сразу, потому что я очень волнуюсь, хотя по моему лицу этого никогда не заметят.

Я смутился, так как в таком виде она мне очень понравилась.

— Так вы догадались, — сказал Дюрок, садясь,

как сели мы все. — Я — Джон Дюрок, могу считать себя действительным другом человека, которого назовем сразу: Ганувер. Со мной мальчик… то есть просто один хороший Санди, которому я доверяю.

Она молчала, смотря прямо в глаза Дюрока и неспокойно двигаясь. Ее лицо дергалось. Подождав, Дюрок продолжал:

— Ваш роман, Молли, должен иметь хороший конец. Но происходят тяжелые и непонятные вещи. Я знаю о золотой цепи…

— Лучше бы ее не было! — вскричала Молли. — Вот уж, именно, тяжесть; я уверена, что от нее — все!

— Санди, — сказал Дюрок, — сходи взглянуть, не плывет ли лодка Эстампа.

Я встал, задев ногой стул, с тяжелым сердцем, так как слова Дюрока намекали очень ясно, что я мешаю. Выходя, я столкнулся с молодой женщиной встревоженного вида, которая, едва взглянув на меня, уставилась на Дюрока. Уходя, я слышал, как Молли сказала: «Моя сестра Арколь».

Итак, я вышел на середине недопетой песни, начинавшей действовать обаятельно, как все, связанное с тоской и любовью, да еще в лице такой прелестной стрелы, как та девушка, Молли.

Мне стало жалко себя, лишенного участия в этой истории, где я был у всех под рукой, как перочинный ножик, — его сложили и спрятали. И я, имея оправдание, что не преследовал никаких дурных целей, степенно обошел дом, увидел со стороны моря раскрытое окно, признал узор занавески и сел под ним, спиной к стене, слыша почти все, что говорилось в комнате.

Разумеется, я пропустил много, пока шел, но был вознагражден тем, что услышал дальше. Говорила очень нервно и горячо Молли:

— Да как он приехал? Но что за свидания?! Всего-то и виделись мы семь раз, фу-у-у! Надо было привезти меня немедленно к себе. Что за отсрочки?! Из-за этого меня проследили и окончательно все стало известно. Знаете, эти мысли, то есть критика, приходят, когда задумаешься обо всем. Теперь еще у него живет красавица, — ну и пусть живет, и не сметь меня звать!

Дюрок засмеялся, но невесело.

— Он сильно пьет, Молли, — сказал Дюрок, — и пьет потому, что получил ваше окончательное письмо. Должно быть, оно не оставляло ему надежды. Красавица, о которой вы говорите, — гостья. Она, как мы думаем, просто скучающая молодая женщина. Она приехала из Индии с

братом и приятелем брата: один — журналист, другой, кажется, археолог. Вы знаете, что представляет дворец Ганувера. О нем пошел далеко слух, и эти люди явились взглянуть на чудо архитектуры. Но он оставил их жить, так как не может быть один — совсем один. Молли, сегодня… в двенадцать часов… вы дали слово три месяца назад.

— Да, и я его забрала обратно.

— Слушайте, — сказала Арколь, — я сама часто не знаю, чему верить. Наши братцы работают ради этого подлеца Лемарена. Вообще мы в семье распались. Я жила долго в Риоле, где у меня было другое общество, да, получше компании Лемарена. Что же, служила, и все такое, была еще помощницей садовника. Я ушла, навсегда ушла душой от Пустыря. Этого не вернешь. А Молли — Молли, бог тебя знает, Молли, как ты выросла на дороге и не затоптали тебя! Ну, я поберегла, как могла, девочку. Братцы работают, — два брата; который хуже, трудно сказать. Уж, наверно, не одно письмо было скрадено. И они вбили девушке в голову, что Ганувер с ней… не так чтобы очень хорошо. Что у него есть возлюбленная, что его видели там и там в подозрительных местах. Надо знать мрачность, в которую она впадает, когда слышит такие вещи!

— Лемарен? — сказал Дюрок. — Молли, кто такой Лемарен?

— Негодяй! Я ненавижу его!

— Верьте мне, хоть стыдно в этом признаться, — продолжала Арколь, — что у Лемарена общие дела с нашими братцами. Лемарен — хулиган, гроза Пустыря. Ему приглянулась моя сестра, и он с ума сходит, больше от самолюбия и жадности. Будьте уверены, Лемарен явится сегодня сюда, раз вы были у брата. Все сложилось скверно, как нельзя хуже. Вот наша семья: отец в тюрьме за хорошие дела, один брат тоже в тюрьме, а другой ждет, когда его посадят. Ганувер четыре года назад оставил деньги, — я знала только, кроме нее, у кого они; это ведь ее доля, которую она согласилась взять, — но, чтобы хоть как-нибудь пользоваться ими, приходилось все время выдумывать предлоги — поездки в Риоль, — то к тетке, то к моим подругам и так далее. На глазах нельзя было нам обнаружить ничего: заколотят и отберут. Теперь Ганувер приехал и его видели с Молли, стали за ней следить, перехватили письмо. Она вспыльчива. На одно слово, что ей было сказано тогда, она ответила, как это она умеет: «Люблю, да, и подите к черту!» Вот тут перед ними и мелькнула нажива. Брат

сдуру открыл мне свои намерения, надеясь меня привлечь: отдать девушку Лемарену, чтобы он запугал ее, подчинил себе, а потом — Ганувeру, и тянуть деньги, много денег, как от рабыни. Жена должна была обирать мужа ради любовника. Я все рассказала Молли. Ее согнуть не легко, но добыча была заманчива. Лемарен прямо объявил, что убьет Ганувера, в случае брака. Тут началась грязь — сплетни, и угрозы, и издевательства, и упреки, и я должна была с боем взять Молли к себе, когда получила место в этом бордингаузе, место смотрительницы. Будьте уверены, Лемарен явится сегодня сюда, раз вы были у брата. Одним словом — кумир дур. Приятели его подражают ему в манерах и одежде. Общие дела с братцами. Плохие это дела! Мы даже не знаем точно, какие дела… только если Лемарен сядет в тюрьму, то и семейство наше уменьшится на оставшегося братца. Молли, не плачь! Мне так стыдно, так тяжело говорить вам все это! Дай мне платок. Пустяки, не обращайте внимания. Это сейчас пройдет.

— Но это очень грустно, — все, что вы говорите, — сказал Дюрок. — Однако я без вас не вернусь, Молли, потому что за этим я и приехал. Медленно, очень медленно, но верно, Ганувер умирает.

Он окружил свой конец пьяным туманом, ночной жизнью. Заметьте, что не уверенными — уже дрожащими шагами дошел он к сегодняшнему дню, как и назначил, — дню торжества. И он все сделал для вас, как было то в ваших мечтах, на берегу. Все это я знаю и очень всем расстроен, потому что люблю этого человека.

— А я — я не люблю его?! — пылко сказала девушка. — Скажите «Ганувер» и приложите руку мне к сердцу! Там — любовь! Одна любовь! Приложите! Ну — слышите? Там говорит — «да», всегда «да»! Но я говорю «нет»!

При мысли, что Дюрок прикладывает руку к ее груди, у меня самого сильно забилось сердце. Вся история, отдельные черты которой постепенно я узнавал, как бы складывалась на моих глазах из утреннего блеска и ночных тревог, без конца и начала, одной смутной сценой. Впоследствии я узнал женщин и уразумел, что девушка семнадцати лет так же хорошо разбирается в обстоятельствах, поступках людей, как лошадь в арифметике. Теперь же я думал, что если она так сильно противится и огорчена, то, вероятно, права.

Дюрок сказал что-то, чего я не разобрал. Но слова Молли все были ясно слышны, как будто

она выбрасывала их в окно и они падали рядом со мной.

— …вот как все сложилось несчастно. Я его, как он уехал, два года не любила, а только вспоминала очень тепло. Потом я опять начала любить, когда получила письмо, потом много писем. Какие же это были хорошие письма! Затем — подарок, который надо, знаете, хранить так, чтобы не увидели, — такие жемчужины…

Я встал, надеясь заглянуть внутрь и увидеть, что она там показывает, как был поражен неожиданным шествием ко мне Эстампа. Он брел от берегов выступа, разгоряченный, утирая платком пот, и, увидев меня, еще издали покачал головой; внутренно осев, я подошел к нему, не очень довольный, так как потерял, — о, сколько я потерял и волнующих слов и подарков! — прекратилось мое невидимое участие в истории Молли.

— Вы подлецы! — сказал Эстамп. — Вы меня оставили удить рыбу. Где Дюрок?

— Как вы нашли нас? — спросил я.

— Не твое дело. Где Дюрок?

— Он — там! — Я проглотил обиду, так я был обезоружен его гневным лицом. — Там они, трое: он, Молли и ее сестра.

— Веди!

— Послушайте, — возразил я скрепя сердце, — можете вызвать меня на дуэль, если мои слова будут вам обидны, но, знаете, сейчас там самый разговор. Молли плачет, и Дюрок ее уговаривает.

— Так, — сказал он, смотря на меня с проступающей понемногу улыбкой. — Уже подслушал! Ты думаешь, я не вижу, что ямы твоих сапогов идут прямехонько от окна? Эх, Санди; капитан Санди, тебя нужно было прозвать не «Я все знаю», а «Я все слышу»!

Сознавая, что он прав, я мог только покраснеть.

— Не понимаю, как это случилось, — продолжал Эстамп, — что за одни сутки мы так прочно очутились в твоих лапах?! Ну, ну, я пошутил. Веди, капитан! А что, эта Молли хорошенькая?

— Она… — сказал я. — Сами увидите.

— То-то! Ганувер не дурак.

Я пошел к заветной двери, а Эстамп постучал. Дверь открыла Арколь.

Молли вскочила, поспешно вытирая глаза. Дюрок встал.

— Как? — сказал он. — Вы здесь?

— Это свинство с вашей стороны, — начал Эстамп, кланяясь дамам и лишь мельком взглянув на Молли, но тотчас улыбнулся с ямочками

на щеках и стал говорить очень серьезно и любезно, как настоящий человек. Он назвал себя, выразил сожаление, что помешал разговаривать, и объяснил, как нашел нас.

— Те же дикари, — сказал он, — которые пугали вас на берегу, за пару золотых монет весьма охотно продали мне нужные сведения. Естественно, я был обозлен, соскучился и вступил с ними в разговор; здесь, по-видимому, все знают друг друга или кое-что знают, а потому ваш адрес, Молли, был мне сообщен самым толковым образом. Я вас прошу не беспокоиться, — прибавил Эстамп, видя, что девушка вспыхнула, — я сделал это как тонкий дипломат. Двинулось ли наше дело, Дюрок?

Дюрок был очень взволнован. Молли вся дрожала от возбуждения; ее сестра улыбалась насильно, стараясь искусственно спокойным выражением лица внести тень мира в пылкий перелет слов, затронувших, по-видимому, все самое важное в жизни Молли.

Дюрок сказал:

— Я говорю ей, Эстамп, что, если любовь велика, все должно умолкнуть, все другие соображения. Пусть другие судят о наших поступках как хотят, если есть это вечное оправдание. Ни разница

положений, ни состояние не должны стоять на пути и мешать. Надо верить тому, кого любишь, — сказал он, — нет высшего доказательства любви. Человек часто не замечает, как своими поступками он производит невыгодное для себя впечатление, не желая в то же время сделать ничего дурного. Что касается вас, Молли, то вы находитесь под вредным и сильным внушением людей, которым не поверили бы ни в чем другом. Они сумели повернуть так, что простое дело соединения вашего с Ганувером стало делом сложным, мутным, обильным неприятными последствиями. Разве Лемарен не говорил, что убьет его? Вы сами это сказали. Находясь в кругу мрачных впечатлений, вы приняли кошмар за действительность. Много помогло здесь и то, что все пошло от золотой цепи. Вы увидели в этом начало рока и боитесь конца, рисующегося вам, в подавленном состоянии вашем, как ужасная неизвестность. На вашу любовь легла грязная рука, и вы боитесь, что эта грязь окрасит собой все. Вы очень молоды, Молли, а человеку молодому, как вы, довольно иногда созданного им самим призрака, чтобы решить дело в любую сторону, а затем — легче умереть, чем признаться в ошибке.

Девушка начала слушать его с бледным лицом, затем раскраснелась и просидела так, вся красная, до конца.

— Не знаю, за что он любит меня, — сказала она. — О, говорите, говорите еще! Вы так хорошо говорите! Меня надо помять, умягчить, тогда все пройдет. Я уже не боюсь! Я верю вам! Но говорите, пожалуйста!

Тогда Дюрок стал передавать силу своей души этой запуганной, стремительной, самолюбивой и угнетенной девушке.

Я слушал и каждое его слово запоминал навсегда, но не буду приводить всего, иначе, на склоне лет, опять ярко припомню этот час, и, наверно, разыграется мигрень.

— Если даже вы принесете ему несчастье, как уверены в том, — не бойтесь ничего, даже несчастья, потому что это будет общее ваше горе, и это горе — любовь.

— Он прав, Молли, — сказал Эстамп, — тысячу раз прав. Дюрок, золотое сердце!

— Молли, не упрямься больше, — сказала Арколь, — тебя ждет счастье!

Молли как бы очнулась. В ее глазах заиграл свет; она встала, потерла лоб, заплакала, пальцами прикрывая лицо, но скоро махнула рукой и

стала смеяться.

— Вот мне и легче, — сказала она, сморкаясь. — О, что это?! Ф-фу-у-у, точно солнце взошло! Что же это было за наваждение? Мрак какой! Я и не понимаю теперь. Едем скорей! Арколь, ты меня пойми! Я ничего не понимала, и вдруг ясное зрение.

— Хорошо, хорошо, не волнуйся, — ответила сестра. — Ты будешь собираться?

— Немедленно соберусь! — Она осмотрелась, бросилась к сундуку и стала вынимать из него куски разных материй, кружева, чулки и завязанные пакеты: не прошло и минуты, как вокруг нее валялась груда вещей. — Еще и не сшила ничего! — сказала она горестно. — В чем я поеду?

Эстамп стал уверять, что ее платье ей к лицу и что так хорошо. Не очень довольная, она хмуро прошла мимо нас, что-то ища, но, когда ей поднесли зеркало, развеселилась и примирилась. В это время Арколь спокойно свертывала и укладывала все, что было разбросано. Молли, задумчиво посмотрев на нее, сама подобрала вещи и обняла молча сестру.

X

— Я знаю... — сказал голос за окном; шаги нескольких людей, удаляясь, огибали угол.

— Только бы не они, — сказала, вдруг побледнев и бросаясь к дверям, Арколь. Молли, закусив губы, смотрела на нее и на нас. Взгляд Эстампа Дюроку вызвал ответ последнего: «Это ничего, нас трое». Едва он сказал, по двери ударили кулаком; я, бывший к ней ближе других, открыл и увидел молодого человека небольшого роста в щегольском летнем костюме. Он был коренаст, с бледным, плоским, даже тощим лицом, но выражение нелепого превосходства в тонких губах под черными усиками и в резких черных глазах было необыкновенно крикливым. За ним шли Варрен и третий человек — толстый, в грязной блузе, с шарфом вокруг шеи. Он шумно дышал, смотрел, выпучив глаза, и, войдя, сунул руки в карманы брюк, став как столб.

Все мы продолжали сидеть, кроме Арколь, которая подошла к Молли. Став рядом с ней, она бросила Дюроку отчаянный, умоляющий взгляд.

Новоприбывшие были заметно навеселе. Ни одним взглядом, ни движением лица не обна-

ружили они, что, кроме женщин, есть еще мы, даже не посмотрели на нас, как будто нас здесь совсем не было. Разумеется, это было сделано умышленно.

— Вам нужно что-нибудь, Лемарен? — сказала Арколь, стараясь улыбнуться. — Сегодня мы очень заняты. Нам надо пересчитать белье, сдать его, а потом ехать за провизией для матросов. — Затем она обратилась к брату, и это было одно слово: — Джон!

— Я с вами поговорю, — сказал Варрен. — Что же, нам и сесть негде?!

Лемарен, подбоченясь, взмахнул соломенной шляпой. Его глаза с острой улыбкой были обращены к девушке.

— Привет, Молли! — сказал он. — Прекрасная Молли, сделайте милость, обратите внимание на то, что я пришел навестить вас в вашем уединении. Взгляните, — это я!

Я видел, что Дюрок сидит, опустив голову, как бы безучастно, но его колено дрожало, и он почти незаметно удерживал его ладонью руки. Эстамп приподнял брови, отошел и смотрел сверху вниз на бледное лицо Лемарена.

— Убирайся! — сказала Молли. — Ты довольно преследовал меня! Я — не из тех, к кому ты

можешь протянуть лапу. Говорю тебе прямо и начистоту — я более не стерплю! Уходи!

Из ее черных глаз разлетелась по комнате сила отчаянного сопротивления. Все это почувствовали. Почувствовал это и Лемарен, так как широко раскрыл глаза, смигнул и, нескладно улыбаясь, повернулся к Варрену.

— Каково? — сказал он. — Ваша сестра сказала мне дерзость, Варрен. Я не привык к такому обращению, клянусь костылями всех калек этого дома! Вы пригласили меня в гости, и я пришел. Я пришел вежливо, — не с худой целью. В чем тут дело, я спрашиваю?

— Дело ясное, — сказал, глухо крякнув, толстый человек, ворочая кулаки в карманах брюк. — Нас выставляют.

— Кто вы такой? — рассердилась Арколь. По наступательному выражению ее кроткого даже в гневе лица я видел, что и эта женщина дошла до предела. — Я не знаю вас и не приглашала. Это мое помещение, я здесь хозяйка. Потрудитесь уйти!

Дюрок поднял голову и взглянул Эстампу в глаза. Смысл взгляда был ясен. Я поспешил захватить плотнее револьвер, лежавший в моем кармане.

— Добрые люди, — сказал, посмеиваясь,

Эстамп, — вам лучше бы удалиться, так как разговор в этом тоне не доставляет решительно никому удовольствия.

— Слышу птицу! — воскликнул Лемарен, мельком взглядывая на Эстампа и тотчас обращаясь к Молли: — Это вы заводите чижиков, Молли? А есть у вас канареечное семя, а? Ответьте, пожалуйста!

— Не спросить ли моего утреннего гостя, — сказал Варрен, выступая вперед и становясь против Дюрока, неохотно вставшего навстречу ему. — Может быть, этот господин соблаговолит объяснить, — почему он здесь, у моей, черт побери, сестры?!

— Нет, я не сестра твоя! — сказала, словно бросила тяжкий камень, Молли. — А ты не брат мне! Ты — второй Лемарен, то есть подлец!

И, сказав так, вне себя, в слезах, с открытым страшным лицом, она взяла со стола книгу и швырнула ее в Варрена.

Книга, порхнув страницами, ударила его по нижней губе, так как он не успел прикрыться локтем. Все ахнули. Я весь горел, чувствуя, что отлично сделано, и готов был палить во всех.

— Ответит этот господин, — сказал Варрен, указывая пальцем на Дюрока и растирая другой

рукой подбородок, после того, как вдруг наступившее молчание стало невыносимо.

— Он переломает тебе все кости! — вскричал я. — А я пробью твою мишень, как только…

— Как только я уйду, — сказал вдруг сзади низкий, мрачный голос, столь громкий, несмотря на рокочущий тембр, что все сразу оглянулись.

Против двери, твердо и широко распахнув ее, стоял человек с седыми баками и седой копной волос, разлетевшихся, как сено на вилах. Он был без руки, — один рукав матросской куртки висел; другой, засученный до локтя, обнажал коричневую пружину мускулов, оканчивающихся мощной пятерней с толстыми пальцами. В этой послужившей на своем веку мускульной машине человек держал пустую папиросную коробку. Его глаза, глубоко запрятанные среди бровей, складок и морщин, цедили тот старческий блестящий взгляд, в котором угадываются и отличная память и тонкий слух.

— Если сцена, — сказал он, входя, — то надо закрывать дверь. Кое-что я слышал. Мамаша Арколь, будьте добры дать немного толченого перцу для рагу. Рагу должно быть с перцем. Будь у меня две руки, — продолжал он в том же спокойном деловом темпе, — я не посмотрел бы на

тебя, Лемарен, и вбил бы тебе этот перец в рот. Разве так обращаются с девушкой?

Едва он проговорил это, как толстый человек сделал движение, в котором я ошибиться не мог: он вытянул руку ладонью вниз и стал отводить ее назад, намереваясь ударить Эстампа. Быстрее его я протянул револьвер к глазам негодяя и нажал спуск, но выстрел, толкнув руку, увел пулю мимо цели.

Толстяка отбросило назад, он стукнулся об этажерку и едва не свалил ее. Все вздрогнули, разбежались и оцепенели; мое сердце колотилось, как гром. Дюрок с неменьшей быстротой направил дуло в сторону Лемарена, а Эстамп прицелился в Варрена.

Мне не забыть безумного испуга в лице толстого хулигана, когда я выстрелил. Тут я понял, что игра временно остается за нами.

— Нечего делать, — сказал, бессильно поводя плечами, Лемарен. — Мы еще не приготовились. Ну, берегитесь! Ваша взяла! Только помните, что подняли руку на Лемарена. Идем, Босс! Идем, Варрен! Встретимся еще как-нибудь с ними, отлично увидимся. Прекрасной Молли привет! Ах, Молли, красотка Молли!

Он проговорил это медленно, холодно, вертя в

руках шляпу и взглядывая то на нее, то на всех нас по очереди. Варрен и Босс молча смотрели на него.

Он мигнул им; они вылезли из комнаты один за другим, останавливаясь на пороге; оглядываясь, они выразительно смотрели на Дюрока и Эстампа, прежде чем скрыться. Последним выходил Варрен. Останавливаясь, он поглядел и сказал:

— Ну смотри, Арколь! И ты, Молли!

Он прикрыл дверь. В коридоре шептались, затем, быстро прозвучав, шаги утихли за домом.

— Вот, — сказала Молли, бурно дыша. — И все, и ничего более. Теперь надо уходить. Я ухожу, Арколь. Хорошо, что у вас пули.

— Правильно, правильно и правильно! — сказал инвалид. — Такое поведение я одобряю. Когда был бунт на «Альцесте», я открыл такую пальбу, что все легли брюхом вниз. Теперь что же? Да, я хотел перцу для…

— Не вздумайте выходить, — быстро заговорила Арколь. — Они караулят. Я не знаю, как теперь поступить.

— Не забудьте, что у меня есть лодка, — сказал Эстамп, — она очень недалеко. Ее не видно отсюда, и я поэтому за нее спокоен. Будь мы без Молли…

— Она? — сказал инвалид Арколь, устремляя указательный палец в грудь девушке.

— Да, да, надо уехать.

— Ее? — повторил матрос.

— О, какой вы непонятливый, а еще…

— Туда? — Инвалид махнул рукой за окно.

— Да, я должна уехать, — сказала Молли, — вот придумайте, ну скорее, о боже мой!

— Такая же история была на «Гренаде» с юнгой, да, вспомнил. Его звали Санди. И он…

— Я — Санди, — сказал я, сам не зная зачем.

— Ах, и ты тоже Санди? Ну, милочка, какой же ты хороший, ревунок мой! Послужи, послужи девушке! Ступайте с ней. Ступай, Молли. Он твоего роста. Ты дашь ему юбку и — ну скажем, — платьишко, чтобы закутать то место, где лет через десять вырастет борода. Юбку дашь приметную, такую, в какой тебя видали и помнят. Поняла? Ступай, скройся и переряди человека, который сам сказал, что его зовут Санди. Ему будет дверь — тебе окно. Все!

XI

— В самом деле, — сказал, помолчав, Дюрок, — это, пожалуй, лучше всего.

— Ах, ах! — воскликнула Молли, смотря на меня со смехом и жалостью. — Как же он теперь? Нельзя ли иначе? — Но полное одобрение слышалось в ее голосе, несмотря на притворные колебания.

— Ну что же, Санди? — Дюрок положил мне на плечо руку. — Решай! Нет ничего позорного в том, чтобы подчиниться обстоятельствам — нашим обстоятельствам. Теперь все зависит от тебя.

Я воображал, что иду на смерть, пасть жертвой за Ганувера и Молли, но умереть в юбке казалось мне ужасным концом. Хуже всего было то, что я не мог отказаться; меня ждал в случае отказа моральный конец, горший смерти. Я подчинился с мужеством растоптанного стыда и смирился перед лицом рока, смотревшего на меня нежными черными глазами Молли. Тотчас произошло заклание. Худо понимая, что делается кругом, я вошел в комнату рядом и, слыша как стучит мое опозоренное сердце, стал, подобно манекену, неподвижно и глупо. Руки отказались бороться с завязками и пуговицами. Чрезвычайная быстро-

та четырех женских рук усыпила и ошеломила меня. Я чувствовал, что смешон и велик, что я — герой и избавитель, кукла и жертва. Маленькие руки поднесли мне зеркало; на голове очутился платок, и так как я не знал, что с ним делать, Молли взяла мои руки и забрала их вместе с платком под подбородком, тряся, чтобы я понял, как прикрывать лицо. Я увидел в зеркале искаженное расстройством подобие себя и не признал его. Наконец тихий голос сказал: «Спасибо тебе, душечка!» — и крепкий поцелуй в щеку вместе с легким дыханием дал понять, что этим Молли вознаграждает Санди за отсутствие у него усов.

После того все пошло как по маслу. Меня быстро вытолкнули к обществу мужчин, от которого я временно отказался. Наступило глубокое унизительное молчание. Я не смел поднять глаза и направился к двери, слегка путаясь в юбке; я так и ушел бы, но Эстамп окликнул меня:

— Не торопись, я пойду с тобой! — Нагнав меня у самого выхода, он сказал: — Иди быстрым шагом по той тропинке, так скоро, как можешь, будто торопишься изо всех сил; держи лицо прикрытым и не оглядывайся; выйдя на дорогу, поверни вправо, к Сигнальному Пустырю. А я пойду сзади.

Надо думать, что приманка была хороша, так как едва прошел я две-три лужайки среди светлого леса, невольно входя в роль и прижимая локти, как делают женщины, когда спешат, как в стороне послышались торопливые голоса.

Шаги Эстампа я слышал все время позади близко от себя. Он сказал: «Ну, теперь беги, беги во весь дух!» Я полетел вниз с холма, ничего не слыша, что сзади, но когда спустился к новому подъему, раздались крики: «Молли! Стой, или будет худо!» — это кричал Варрен. Другой крик, Эстампа, тоже приказывал стоять, хотя я и не был назван по имени. Решив, что дело сделано, я остановился, повернувшись лицом к действию.

На разном расстоянии друг от друга по дороге двигались три человека; ближайший ко мне был Эстамп, он отступал вполуоборот к неприятелю. К нему бежал Варрен, за Варреном, отстав от него, спешил Босс. «Стойте!» — сказал Эстамп, целясь в последнего. Но Варрен продолжал двигаться, хотя и тише. Эстамп дал выстрел. Варрен остановился, нагнулся и ухватился за ногу.

— Вот как пошло дело! — сказал он, в замешательстве оглядываясь на подбегающего Босса.

— Хватай ее! — крикнул Босс. В тот же момент обе мои руки были крепко схвачены сзади, выше

локтя, и с силой отведены к спине так, что, рванувшись, я ничего не выиграл, а только повернул лицо назад, взглянуть на вцепившегося в меня Лемарена. Он обошел лесом и пересек путь. При этих движениях платок свалился с меня. Лемарен уже сказал: «Мо...», — но, увидев, кто я, был так поражен, так взбешен, что, тотчас отпустив мои руки, замахнулся обоими кулаками.

— Молли, да не та! — вскричал я злорадно, рухнув ниц и со всей силой ударив его головой в самый низ живота, — прием вдохновения. Он завопил и свалился через меня. Я на бегу разорвал пояс юбки и выскочил из нее, потом, отбежав, стал трясти ею, как трофеем.

— Оставь мальчишку! — закричал Варрен. — А то она удерет! Я знаю теперь: она побежала наверх к матросам. Там что-нибудь подготовили. Брось все! Я ранен!

Лемарен не был так глуп, чтобы лезть на человека с револьвером, хотя бы этот человек держал в одной руке только что скинутую юбку; револьвер был у меня в другой руке, и я собирался пустить его в дело, чтобы отразить нападение. Оно не состоялось, вся троица понеслась обратно, грозя кулаками. Варрен хромал сзади. Я еще не опомнился, но уже видел, что отделался дешево.

Эстамп подошел ко мне с бледным и серьезным лицом.

— Теперь они постоят у воды, — сказал он, — и будут так же, как нам, грозить кулаками боту. По воде не пойдешь. Дюрок, конечно, успел сесть с девушкой. Какая история! Ну, впишем еще страницу в твои подвиги — и… свернем-ка, на всякий случай, в лес!

Разгоряченный, изрядно усталый, я свернул юбку и платок, намереваясь сунуть их где-нибудь в куст, потому что, как ни блистательно я вел себя, они напоминали мне, что условно, не по-настоящему, на полчаса, — но я был все же женщиной. Мы стали пересекать лес вправо, к морю, спотыкаясь среди камней, заросших папоротником. Поотстав, я приметил два камня, сошедшихся вверху краями, и сунул меж них ненатуральное одеяние, отчего пришел немедленно в наилучшее расположение духа.

На нашем пути встретился озаренный пригорок. Тут Эстамп лег, вытянул ноги и облокотился, положив на ладонь щеку.

— Садись, — сказал он. — Надо передохнуть. Да, вот это дело!

— Что же теперь будет? — осведомился я, садясь по-турецки и раскуривая с Эстампом его папиро-

сы. — Как бы не произошло нападения!

— Какого нападения?!

— Ну, знаете… У них, должно быть, большая шайка. Если они захотят отбить Молли и соберут человек сто…

— Для этого нужны пушки, — сказал Эстамп, — и еще, пожалуй, бесплатные места полицейским, в качестве зрителей.

Естественно, наши мысли вертелись вокруг горячих утренних происшествий, и мы перебрали все, что было, со всеми подробностями, соображениями, догадками и особо картинными моментами. Наконец мы подошли к нашим впечатлениям от Молли; почему-то этот разговор замялся, но мне все-таки хотелось знать большее, чем то, чему был я свидетелем. Особенно меня волновала мысль о Дигэ. Эта таинственная женщина непременно возникала в моем уме, как только я вспоминал Молли. Об этом я его и спросил.

— Хм… — сказал он. — Дигэ… О, это задача! — И он погрузился в молчание, из которого я не мог извлечь его никаким покашливанием.

— Известно ли тебе, — сказал он наконец, после того как я решил, что он совсем задремал, — известно ли тебе, что эту траву едят собаки, когда

заболеют бешенством?

Он показал острый листок, но я был очень удивлен его глубокомысленным тоном и ничего не сказал. Затем, в молчании, усталые от жары и друг от друга, мы выбрались к морской полосе, пришли на пристань и наняли лодочника. Никто из наших врагов не караулил нас здесь, поэтому мы благополучно переехали залив и высадились в стороне от дома. Здесь был лес, а дальше шел огромный, отлично расчищенный сад. Мы шли садом. Аллеи были пусты. Эстамп провел меня в дом через одну из боковых арок, затем по чрезвычайно путаной, сурового вида, лестнице в большую комнату с цветными стеклами.

Он был заметно не в духе, и я понял отчего, когда он сказал про себя: «Дьявольски хочу есть». Затем он позвонил, приказал слуге, чтобы тот отвел меня к Попу, и, еле передвигая ноги, я отправился через блестящие недра безлюдных стен в настоящее путешествие к библиотеке. Здесь слуга бросил меня. Я постучал и увидел Попа, беседующего с Дюроком.

XII

Когда я вошел, Дюрок доканчивал свою речь. Не помню, что он сказал при мне. Затем он встал и, в ответ многочисленным молчаливым кивкам Попа, протянул ему руку. Рукопожатие сопровождалось твердыми улыбками с той и другой стороны.

— Как водится, герою уступают место и общество, — сказал мне Дюрок, — теперь, Санди, посвяти Попа во все драматические моменты. Вы можете ему довериться, — обратился он к Попу, — этот ма… человек — сущий клад в таких положениях. Прощайте! Меня ждут.

Мне очень хотелось спросить, где Молли и давно ли Дюрок вернулся, так как хотя из этого ничего не вытекало, но я от природы любопытен во всем. Однако на что я решился бы под открытым небом, на то не решался здесь, по стеснительному чувству чужого среди высоких потолков и прекрасных вещей, имеющих свойство оттеснять непривычного в его духовную раковину.

Все же я надеялся много узнать от Попа.

— Вы устали и, наверное, голодны? — сказал

Поп. — В таком случае пригласите меня к себе и мы с вами позавтракаем. Уже второй час.

— Да, я приглашаю вас, — сказал я, малость недоумевая, чем могу угостить его, и не зная, как взяться за это, но не желая уступить никому ни в тоне, ни в решительности. — В самом деле, идем, стрескаем что дадут.

— Прекрасно, стрескаем, — подхватил он с непередаваемой интонацией редкого иностранного слова, — но вы не забыли, где ваша комната?

Я помнил и провел его в коридор, второй дверью налево. Здесь, к моему восхищению, повторилось то же, что у Дюрока: потянув шнур, висевший у стены, сбоку стола, мы увидели, как откинулась в простенке меж окон металлическая доска и с отверстием поравнялась никелевая плоскость, на которой были вино, посуда и завтрак. Он состоял из мясных блюд, фруктов и кофе. Для храбрости я выпил полный стакан вина и, отделавшись таким образом от стеснения, стал есть, будучи почти пьян.

Поп ел мало и медленно, но вина выпил.

— Сегодняшний день, — сказал он, — полон событий, хотя все главное еще впереди. Итак, вы сказали, что произошла схватка?

Я этого не говорил и сказал, что не говорил.

— Ну так скажите, — произнес он с милой улыбкой. — Жестоко держать меня в таком нетерпении.

Теперь происшедшее казалось мне не довольно поразительным, и я взял самый высокий тон.

— При высадке на берегу дело пошло на ножи, — сказал я и развил этот самостоятельный текст в виде прыжков, беганья и рычанья, но никого не убил. Потом я сказал: — Когда явился Варрен и его друзья, я дал три выстрела, ранив одного негодяя… — Этот путь оказался заманчивым; чувствуя, должно быть от вина, что я и Поп как будто описываем вокруг комнаты нарез, я хватил самое яркое из утренней эпопеи.

— Давайте, Молли, — сказал я, — устроим так, чтобы я надел ваше платье и обманул врагов, а вы за это меня поцелуете. И вот…

— Санди, не пейте больше вина, прошу вас, — мягко перебил Поп. — Вы мне расскажете потом, как все это у вас там произошло, тем более что Дюрок, в общем, уж рассказал.

Я встал, засунул руки в карманы и стал смеяться. Меня заливало блаженством. Я чувствовал себя Дюроком и Ганувером. Я вытащил револьвер и попытался прицелиться в шарик кровати. Поп взял меня за руку и усадил, сказав: «Выпейте

кофе, а еще лучше закурите».

Я почувствовал во рту папиросу, а перед носом увидел чашку и стал жадно пить черный кофе. После четырех чашек винтообразный нарез вокруг комнаты перестал увлекать меня, в голове стало мутно и глупо.

— Вам лучше, надеюсь?

— Очень хорошо, — сказал я, — и чем скорее вы приступите к делу, тем будет лучше.

— Нет, выпейте, пожалуйста, еще одну чашку.

Я послушался его и наконец стал чувствовать себя прочно сидящим на стуле.

— Слушайте, Санди, и слушайте внимательно. Надеюсь, вам теперь хорошо?

Я был страшно возбужден, но разум и понимание вернулись.

— Мне лучше, — сказал я обычным своим тоном, — мне почти хорошо.

— Раз почти, — следовательно, контроль на месте, — заметил Поп. — Я ужаснулся, когда вы налили себе целую купель этого вина, но ничего не сказал, так как не видел еще вас в единоборстве с напитками. Знаете, сколько этому вину лет? Сорок восемь, а вы обошлись с ним как с водой. Ну, Санди, я теперь буду вам открывать секреты.

— Говорите как самому себе!

— Я не ожидал от вас другого ответа. Скажите мне… — Поп откинулся к спинке стула и пристально взглянул на меня: — Да, скажите вот что: умеете вы лазить по дереву?

— Штука не хитрая, — ответил я, думая, — и лазить по нему, и срубить дерево, как хотите. Я могу даже спуститься по дереву головой вниз. А вы?

— О нет, — застенчиво улыбнулся Поп, — я, к сожалению, довольно слаб физически. Нет, я могу вам только завидовать.

Уже я дал многие доказательства моей преданности, и было бы неудобно держать от меня в тайне общее положение дела, раз требовалось уметь лазить по дереву.

По этим соображениям Поп — как я полагаю — рассказал многие обстоятельства. Итак, я узнал, что позавчера утром разосланы телеграммы и письма с приглашениями на сегодняшнее торжество и соберется большое общество.

— Вы можете, конечно, догадаться о причинах, — сказал Поп, — если примете во внимание, что Ганувер всегда верен своему слову. Все было устроено ради Молли; он думает, что ее не будет, однако не считает себя вправе признать это, пока не пробило двенадцать часов ночи. Итак, вы

догадываетесь, что приготовлен сюрприз?

— О да, — ответил я, — я догадываюсь. Скажите, пожалуйста, где теперь эта девушка?

Он сделал вид, что не слышал вопроса, и я дал себе клятву не спрашивать об этом предмете, если он так явно вызывает молчание. Затем Поп перешел к подозрениям относительно Томсона и Галуэя.

— Я наблюдаю их две недели, — сказал Поп, — и надо вам сказать, что я имею аналитический склад ума, благодаря чему установил стиль этих людей. Но я допускал ошибку. Поэтому, экстренно вызвав телеграммой Дюрока и Эстампа, я все-таки был не совсем уверен в точности своих подозрений. Теперь дело ясно. Все велось и ведется тайно. Сегодня, когда вы отправились в экспедицию, я проходил мимо аквариума, который вы еще не видели, и застал там наших гостей, всех троих. Дверь в стеклянный коридор была полуоткрыта, и в этой части здания вообще почти никогда никто не бывает, так что я появился незамеченным. Томсон сидел на диванчике, покачивая ногой, Дигэ и Галуэй стояли у одной из витрин. Их руки были опущены и сплетены пальцами. Я отступил. Тогда Галуэй нагнулся и поцеловал Дигэ в шею.

— Ага! — вскричал я. — Теперь я все понимаю. Значит, он ей не брат?!

— Вы видите, — продолжал Поп, и его рука, лежавшая на столе, стала нервно дрожать. Моя рука тоже лежала на столе и так же задрожала, как рука Попа. Он нагнулся и, широко раскрыв глаза, произнес: — Вы понимаете? Клянусь, что Галуэй ее любовник, и мы даже не знаем, чем рисковал Ганувер, попав в такое общество. Вы видели золотую цепь и слышали, что говорилось при этом! Что делать?

— Очень просто, — сказал я, — немедленно донести Гануверу, и пусть он отправит всех их вон в десять минут!

— Вначале я так и думал, но, размыслив о том с Дюроком, пришел вот к какому заключению: Ганувер мне просто-напросто не поверит, не говоря уже о всей щекотливости такого объяснения.

— Как же он не поверит, если вы это *видели*?

— Теперь я уже не знаю, видел ли я, — сказал Поп, — то есть видел ли *так*, как это было. Ведь это *ужасно* серьезное дело. Но довольно того, что Ганувер может усомниться в моем зрении. А тогда что? Или, я представляю, что я сам смотрю на Дигэ глазами и расстроенной душой Гануве-ра, — что же вы думаете, я окончательно и вдруг

поверю истории с поцелуем?

— Это правда, — сказал я, сообразив все его доводы. — Ну хорошо, я слушаю вас.

Поп продолжал:

— Итак, надо увериться. Если подозрение подтвердится — а я думаю, что эти три человека принадлежат к высшему разряду темного мира, — то наш план — такой план есть — развернется ровно в двенадцать часов ночи. Если же далее не окажется ничего подозрительного, план будет другой.

— Я вам помогу, в таком случае, — сказал я, — я ваш. Но вы, кажется, говорили что-то о дереве.

— Вот и дерево, вот мы и пришли к нему. Только это надо сделать, когда стемнеет.

Он сказал, что с одной стороны фасада растет очень высокий дуб, вершина которого поднимается выше третьего этажа. В третьем этаже, против дуба, расположены окна комнат, занимаемых Галуэем, слева и справа от него, в том же этаже, помещаются Томсон и Дигэ. Итак, мы уговорились с Попом, что я влезу на это дерево после восьми, когда все разойдутся готовиться к торжеству, и употреблю в дело таланты, так блестяще примененные мной под окном Молли.

После этого Поп рассказал о появлении Дигэ

в доме. Выйдя в приемную на доклад о прибывшей издалека даме, желающей немедленно его видеть, Ганувер явился, ожидая услышать скрипучий голос благотворительницы лет сорока, с сильными жестами и блистающим, как ланцет, лорнетом, а вместо того встретил искусительницу Дигэ. Сквозь ее застенчивость светилось желание отстоять причуду всем пылом двадцати двух лет, сильнейшим, чем рассчитанное кокетство, смесь трусости и задора, вызова и готовности расплакаться. Она объяснила, что слухи о замечательном доме проникли в Бенарес и не дали ей спать. Она и не будет спать, пока не увидит всего. Жизнь потеряла для нее цену с того дня, когда она узнала, что есть дом с исчезающими стенами и другими головоломными тайнами. Она богата и объездила земной шар, но такого пирожного еще не пробовала.

Дигэ сопровождал брат, Галуэй, лицо которого во время этой тирады выражало просьбу не осудить молодую жизнь, требующую повиновения каждому своему капризу. Закоренелый циник улыбнулся бы, рассматривая пленительное лицо, со сказкой в глазах, сияющих всем и всюду. Само собой, она была теперь средневековой принцессой, падающей от изнеможения у ворот

волшебного замка. За месяц перед этим Ганувер получил решительное письмо Молли, в котором она сообщала, что уезжает навсегда, не дав адреса, но он временно уже устал горевать — горе, как и счастливое настроение, находит волной. Поэтому все, пахнущее свежей росой, могло найти доступ к левой стороне его груди. Он и Галуэй стали смеяться. «Ровно через двадцать один день, — сказал Ганувер, — ваше желание исполнится, этот срок назначен не мной, но я верен ему. В этом вы мне уступите, тем более что есть на что посмотреть». Он оставил их гостить; так началось. Вскоре явился Томсон, друг Галуэя, которому тоже отвели помещение. Ничто не вызывало особенных размышлений, пока из отдельных слов, взглядов — неуловимой, но подозрительной психической эманации всех трех лиц, — у Попа не создалось уверенности, что необходимо экстренно вызвать Дюрока и Эстампа.

Таким образом, в основу сцены приема Ганувером Дигэ был положен характер Ганувера — его вкусы, представления о встречах и случаях; говоря с Дигэ, он слушал себя, выраженного прекрасной игрой.

Запахло таким густым дымом, как в битве Нельсона с испанским флотом, и я сказал страш-

ным голосом:

— Как белка или змея! Поп, позвольте пожать вашу руку и знайте, что Санди, хотя он, может быть, моложе вас, отлично справится с задачей и похитрее!

Казалось, волнениям этого дня не будет конца. Едва я, закрепляя свои слова, стукнул кулаком по столу, как в дверь постучали и вошедший слуга объявил, что меня требует Ганувер.

— Меня? — струсив, спросил я.

— Санди. Это вы — Санди?

— Он Санди, — сказал Поп, — и я иду с ним.

XIII

Мы прошли сквозь ослепительные лучи зал, по которым я следовал вчера за Попом в библиотеку, и застали Ганувера в картинной галерее. С ним был Дюрок; он ходил наискось от стола к окну и обратно. Ганувер сидел, положив подбородок в сложенные на столе руки, и задумчиво следил, как ходит Дюрок. Две белые статуи в конце галереи и яркий свет больших окон из целых стекол, доходящих до самого паркета, придавали огромному помещению открытый и веселый характер.

Когда мы вошли, Ганувер поднял голову и кивнул. Взглянув на Дюрока, ответившего мне пристальным взглядом понятного предупреждения, я подошел к Гануверу. Он указал стул, я сел, а Поп продолжал стоять, нервно водя пальцем по подбородку.

— Здравствуй, Санди, — сказал Ганувер. — Как тебе нравится здесь? Вполне ли тебя устроили?

— О да! — сказал я. — Все еще не могу опомниться.

— Вот как?! — задумчиво произнес он и замолчал. Потом, рассеянно поглядев на меня, прибавил с улыбкой: — Ты позван мной вот за-

чем. Я и мой друг Дюрок, который говорит о тебе в высоких тонах, решили устроить твою судьбу. Выбирай, если хочешь — не теперь, а строго обдумав, — кем ты желаешь быть. Можешь назвать любую профессию. Но только не будь знаменитым шахматистом, который, получив ночью телеграмму, отправился утром на состязание в Лисс и выиграл из шести пять у самого Капабланки. В противном случае ты привыкнешь покидать своих друзей в трудные минуты их жизни ради того, чтобы заехать слоном в лоб королю.

— Одну из этих партий, — заметил Дюрок, — я назвал партией Ганувера и, представьте, выиграл ее всего четырьмя ходами.

— Как бы там ни было, Санди осудил вас в глубине сердца, — сказал Ганувер, — ведь так, Санди?

— Простите, — ответил я, — за то, что ничего в этом не понимаю.

— Ну, так говори о своих желаниях!

— Я моряк, — сказал я, — то есть я пошел по этой дороге. Если вы сделаете меня капитаном, мне больше, кажется, ничего не надо, так как все остальное я получу сам.

— Отлично. Мы пошлем тебя в адмиралтейскую школу.

Я сидел, тая и улыбаясь.

— Теперь мне уйти? — спросил я.

— Ну нет. Если ты приятель Дюрока, то, значит, и мой, а поэтому я присоединю тебя к нашему плану. Мы все пойдем смотреть кое-что в этой лачуге. Тебе, с твоим живым соображением, это может принести пользу. Пока, если хочешь, сиди или смотри картины. Поп, кто приехал сегодня?

Я встал и отошел. Я был рассечен натрое: одна часть смотрела картину, изображавшую рой красавиц в туниках у колонн, среди роз, на фоне морской дали, другая часть видела самого себя на этой картине в полной капитанской форме, орущего красавицам: «Левый галс! Подтянуть грот, рифы и брасы!», а третья, по естественному устройству уха, слушала разговор.

Не могу передать, как действует такое обращение человека, одним поворотом языка приказывающего судьбе перенести Санди из небытия в капитаны. От самых моих ног до макушки поднималась нервная теплота. Едва принимался я думать о перемене жизни, как мысли эти перебивались картинами, галереей, Ганувером, Молли и всем, что я испытал здесь, и мне казалось, что я вот-вот полечу.

В это время Ганувер тихо говорил Дюроку:

— Вам это не покажется странным. Молли была единственной девушкой, которую я любил. Не за что-нибудь, — хотя было «за что», но по той магнитной линии, о которой мы все ничего не знаем. Теперь все наболело во мне и уже как бы не боль, а жгучая тупость.

— Женщины догадливы, — сказал Дюрок, — а Дигэ, наверно, проницательна и умна.

— Дигэ… — Ганувер на мгновение закрыл глаза. — Все равно. Дигэ лучше других, она, может быть, совсем хороша, но я теперь плохо вижу людей. Я внутренне утомлен. Она мне нравится.

— Так молода и уже вдова, — сказал Дюрок. — Кто был муж?

— Ее муж был консул в колонии, какой — не помню.

— Брат очень напоминает сестру, — заметил Дюрок, — я говорю о Галуэе.

— Напротив, совсем не похож!

Дюрок замолчал.

— Я знаю, он вам не нравится, — сказал Ганувер, — но он очень забавен, когда в ударе. Его веселая, юмористическая злость напоминает собаку-льва.

— Вот еще! Я не видал таких львов.

— Пуделя, — сказал Ганувер, развеселив-

шись, — стриженого пуделя! Наконец мы соединились! — вскричал он, направляясь к двери, откуда входили Дигэ, Томсон и Галуэй.

Мне, свидетелю сцены у золотой цепи, довелось видеть теперь Дигэ в замкнутом образе молодой дамы, отношение которой к хозяину определялось лишь ее положением милой гостьи. Она шла с улыбкой, кивая и тараторя.

Томсон взглянул сверх очков: величайшая приятность расползалась по его широкому, мускулистому лицу; Галуэй шел, дергая плечом и щекой.

— Я ожидала застать большое общество, — сказала Дигэ. — Горничная подвела счет и уверяет, что утром прибыло человек двадцать!

— Двадцать семь, — вставил Поп, которого я теперь не узнал. Он держался ловко, почтительно и был своим, а я был чужой и стоял, мрачно вытаращив глаза.

— Благодарю вас, я скажу Микелетте, — холодно отозвалась Дигэ, — что она ошиблась.

Теперь я видел, что она не любит также Дюрока. Я заметил это по ее уху. Не смейтесь! Край маленького, как лепесток, уха был направлен к Дюроку с неприязненной остротой.

— Кто же навестил вас? — продолжала Дигэ,

спрашивая Ганувера. — Я очень любопытна.

— Это будет смешанное общество, — сказал Ганувер. — Все приглашенные — живые люди.

— Морг в полном составе был бы немного мрачен для торжества, — объяснил Галуэй.

Ганувер улыбнулся.

— Я выразился неудачно. А все-таки лучшего слова, чем слово «живой», мне не придумать для человека, умеющего выполнять жизнь.

— В таком случае, мы все живы, — объявила Дигэ, — применяя ваше толкование.

— Но и само по себе, — сказал Томсон.

— Я буду принимать вечером, — заявил Ганувер, — пока же предпочитаю бродить в доме с вами, Дюроком и Санди.

— Вы любите моряков, — сказал Галуэй, косясь на меня, — вероятно, вечером мы увидим целый экипаж капитанов.

— Наш Санди один стоит военного флота, — сказал Дюрок.

— Я вижу, он под особым покровительством, и не осмеливаюсь приближаться к нему, — сказала Дигэ, трогая веером подбородок. — Но мне нравятся ваши капризы, дорогой Ганувер, благодаря им вспоминаешь и вашу молодость. Может быть, мы увидим сегодня взрослых Санди, пыхтящих,

по крайней мере, с улыбкой.

— Я не принадлежу к светскому обществу, — сказал Ганувер добродушно, — я один из случайных людей, которым идиотически повезло и которые торопятся обратить деньги в жизнь, потому что лишены традиции накопления. Я признаю личный этикет и отвергаю кастовый.

— Мне попало, — сказала Дигэ, — очередь за вами, Томсон.

— Я уклоняюсь и уступаю свое место Галуэю, если он хочет.

— Мы, журналисты, неуязвимы, — сказал Галуэй, — как короли, и никогда не точим ножи вслух.

— Теперь тронемся, — сказал Ганувер, — пойдем послушаем, что скажет об этом Ксаверий.

— У вас есть римлянин? — спросил Галуэй. — И тоже живой?

— Если не испортился; в прошлый раз начал нести ересь.

— Ничего не понимаю, — Дигэ пожала плечом, — но, должно быть, что-то захватывающее!

Все мы вышли из галереи и прошли несколько комнат, где было хорошо, как в саду из дорогих вещей, если бы такой сад был. Поп и я шли сзади. При повороте он удержал меня за руку:

— Вы помните наш уговор? Дерево можно не трогать. Теперь задумано и будет все иначе. Я только что узнал это. Есть новые соображения по этому делу.

Я был доволен его сообщением, начиная уставать от подслушиванья, и кивнул так усердно, что подбородком стукнулся в грудь. Тем временем Ганувер остановился у двери, сказав: «Поп!» Юноша поспешил с ключом открыть помещение. Здесь я увидел странную, как сон, вещь. Она произвела на меня, но, кажется, и на всех, неизгладимое впечатление: мы были перед человеком-автоматом, игрушкой в триста тысяч ценой, умеющей говорить.

XIV

Это помещение, не очень большое, было обставлено как гостиная, с глухим, мягким ковром на весь пол. В кресле, спиной к окну, скрестив ноги и облокотясь на драгоценный столик, сидел, откинув голову, молодой человек, одетый как модная картинка. Он смотрел перед собой большими голубыми глазами, с самодовольной улыбкой на розовом лице, оттененном черными усиками. Короче говоря, это был точь-в-точь манекен из витрины. Мы все стали против него.

Галуэй сказал:

— Надеюсь, ваш Ксаверий не говорит; в противном случае, Ганувер, я обвиню вас в колдовстве и создам сенсационный процесс.

– *Вот новости*, — раздался резкий, отчетливо выговаривающий слова голос, и я вздрогнул, — *довольно, если вы обвиняете себя в неуместной шутке!*

— Ах! — сказала Дигэ и увела голову в плечи.

Все были поражены. Что касается Галуэя, — тот положительно струсил, я это видел по беспомощному лицу, с которым он попятился назад. Даже Дюрок, нервно усмехнувшись, покачал головой.

— Уйдемте! — вполголоса сказала Дигэ. — Дело страшное!

— Надеюсь, Ксаверий нам не нанесет оскорблений? — шепнул Галуэй.

– *Останьтесь, я незлобив*, — сказал манекен таким тоном, как говорят с глухими, и переложил ногу на ногу.

— Ксаверий! — произнес Ганувер. — Позволь рассказать твою историю!

– *Мне все равно*, — ответила кукла, — *я механизм*.

Впечатление было удручающее и сказочное. Ганувер заметно наслаждался сюрпризом. Выдержав паузу, он сказал:

— Два года назад умирал от голода некто Никлас Экус; я получил от него письмо с предложением купить автомат, над которым он работал пятнадцать лет. Описание этой машины было сделано так подробно и интересно, что с моим складом характера оставалось только посетить затейливого изобретателя. Он жил одиноко. В лачуге, при дневном свете, ровно озаряющем это чинное восковое лицо и бледные черты неизлечимо больного Экуса, я заключил сделку. Я заплатил триста тысяч и имел удовольствие выслушать ужасный диалог человека со своим подобием.

«Ты спас меня!» — сказал Экус, потрясая чеком перед автоматом, и получил в ответ: *«Я тебя убил»*. Действительно, Экус, организм которого был разрушен длительными видениями тонкостей гениального механизма, скончался очень скоро после того, как разбогател, и я, сказав о том автомату, услышал такое замечание: *«Он продал свою жизнь так же дешево, как стоит моя!»*

— Ужасно! — сказал Дюрок. — Ужасно! — повторил он в сильном возбуждении.

— Согласен. — Ганувер посмотрел на куклу и спросил: — Ксаверий, чувствуешь ли ты что-нибудь?

Все побледнели при этом вопросе, ожидая, может быть, потрясающее «да», после чего могло наступить смятение. Автомат качнул головой и скоро проговорил:

– Я, Ксаверий, ничего не чувствую, потому что ты говоришь сам с собой.

— Вот ответ, достойный живого человека! — заметил Галуэй. — Что, что в этом болване? Как он устроен?

— Не знаю, — сказал Ганувер, — мне объясняли, так как я купил и патент, но я мало что понял. Принцип стенографии, радий, логическая система, разработанная с помощью чувствительных

цифр, — вот, кажется, все, что сохранилось в моем уме. Чтобы вызвать слова, необходимо при обращении произносить «Ксаверий», иначе он молчит.

— Самолюбив, — сказал Томсон.

— И самодоволен, — прибавил Галуэй.

— И самовлюблен, — определила Дигэ. — Скажите ему что-нибудь, Ганувер, я боюсь!

— Хорошо. Ксаверий! Что ожидает нас сегодня и вообще?

— Вот это называется спросить основательно! — расхохотался Галуэй.

Автомат качнул головой, открыл рот, захлопал губами, и я услышал резкий, как скрип ставни, ответ:

— Разве я прорицатель? Все вы умрете; а ты, спрашивающий меня, умрешь первый.

При таком ответе все бросились прочь, как облитые водой.

— Довольно, довольно! — вскричала Дигэ. — Он неуч, этот Ксаверий, и я на вас сердита, Ганувер! Это непростительное изобретение.

Я выходил последним, унося на затылке ответ куклы: «Сердись на саму себя!»

— Правда, — сказал Ганувер, пришедший в заметно нервное состояние, — иногда его речи

огорошивают, бывает также, что ответ невпопад, хотя редко. Так однажды я произнес: «Сегодня теплый день», — и мне выскочили слова: «Давай выпьем!»

Все были взволнованы.

— Ну что, Санди? Ты удивлен? — спросил Поп.

Я был удивлен меньше всех, так как всегда ожидал самых невероятных явлений и теперь убедился, что мои взгляды на жизнь подтвердились блестящим образом. Поэтому я сказал:

— Это ли еще встретишь в загадочных дворцах?!

Все рассмеялись. Лишь одна Дигэ смотрела на меня, сдвинув брови, и как бы спрашивала: «Почему ты здесь? Объясни».

Но мной не считали нужным или интересным заниматься так, как вчера, и я скромно стал сзади. Возникли предположения: идти осматривать оранжерею, где помещались редкие тропические бабочки, осмотреть также вновь привезенные картины старых мастеров и статую, раскопанную в Тибете, но после «Ксаверия» не было ни у кого настоящей охоты ни к каким развлечениям, о нем начали говорить с таким увлечением, что спорам и восклицаниям не предвиделось конца.

— У вас много монстров? — сказала Ганувeру

Дигэ.

— Кое-что. Я всегда любил игрушки, может быть, потому, что мало играл в детстве.

— Надо вас взять в опеку и наложить секвестр на капитал до вашего совершеннолетия, — объявил Томсон.

— В самом деле, — продолжала Дигэ, — такая масса денег на… гм… прихоти. И какие прихоти!

— Вы правы, — очень серьезно ответил Ганувер. — В будущем возможно иное. Я не знаю.

— Так спросим Ксаверия! — вскричал Галуэй.

— Я пошутила. Есть прелесть в безубыточных расточениях.

После этого вознамерились все же отправиться смотреть тибетскую статую. От усталости я впал в одурь, плохо соображал что делается. Я почти спал, стоя с открытыми глазами. Когда общество тронулось, я в совершенном безразличии пошел было за ним, но, когда его скрыла следующая дверь, я, готовый упасть на пол и заснуть, бросился к дивану, стоявшему у стены широкого прохода, и сел на него в совершенном изнеможении. Я устал до отвращения ко всему. Аппарат моих восприятий отказывался работать. Слишком много было всего! Я опустил голову на руки, оцепенел, задремал и уснул. Как оказалось

впоследствии, Поп возвратился, обеспокоенный моим отсутствием, и пытался разбудить, но безуспешно. Тогда он совершил настоящее предательство — он вернул всех смотреть, как спит Санди Пруэль, сраженный богатством, на диване загадочного дворца. И, следовательно, я был некоторое время зрелищем, но, разумеется, не знал этого.

— Пусть спит, — сказал Ганувер, — это хорошо — спать. Я уважаю сон. Не будите его.

XV

Я забежал вперед только затем, чтобы указать, как был крепок мой сон. Просто я некоторое время не существовал.

Открыв глаза, я повернулся и сладко заложил руку под щеку, намереваясь еще поспать. Меж тем сознание тоже просыпалось, и в то время, как тело молило о блаженстве покоя, я увидел в дремоте Молли, раскалывающую орехи. Вслед нагрянуло все: холодными струйками выбежал сон из членов моих, и в оцепенении неожиданности, так как после провала воспоминание явилось в потрясающем темпе, я вскочил, сел, встревожился и протер глаза.

Был вечер, а может быть, даже ночь. Огромное лунное окно стояло передо мной. Электричество не горело. Спокойная полутьма простиралась из дверей в двери, среди теней высоких и холодных покоев, где роскошь была погружена в сон. Лунный свет проникал в глубину, как бы осматриваясь. В этом смешении сумерек с неприветливым освещением все выглядело иным, чем днем, подменившим материальную ясность призрачной лучистой тревогой. Линия света,

отметив по пути блеск бронзовой дверной ручки, колено статуи, серебро люстры, расплывалась в сумраке — одна на всю мрачную даль; сверкала неизвестная точка зеркала или металлического предмета… почем знать? Вокруг меня лежало неведение. Я встал, пристыженный тем, что был забыт, как отбившееся животное, не понимая, что только деликатность оставила спать Санди Пруэля здесь, вместо того чтобы волочить его полузаснувшее тело через сотню дверей.

Когда мы высыпаемся, нет нужды смотреть на часы, внутри нас если не точно, то с уверенностью сказано уже, что спали мы долго. Без сомнения, мои услуги не были экстренно нужны Дюроку или Попу, иначе за мной было бы послано. Я был бы разыскан и вставлен опять в ход волнующей опасностью и любовью истории. Поэтому у меня что-то отняли, и я направился разыскивать ход вниз с чувством непоправимой потери. Я заспал указания памяти относительно направления, как шел сюда, блуждал мрачно, наугад и так торопясь, что не имел ни времени, ни желания любоваться обстановкой. Спросонок я пришел к балкону, затем, вывернувшись из обманчиво схожих пространств этой части здания, прошел к лестнице и, спустясь вниз, пополз на

широкую площадку с запертыми кругом дверьми. Поднявшись опять, я предпринял круговое путешествие около наружной стены, стараясь видеть все время с одной стороны окна, но никак не мог найти галерею, через которую шел днем; найди я ее, можно было бы рассчитывать если не на немедленный успех, то хотя бы на то, что память начнет работать. Вместо этого я снова пришел к запертой двери и должен повернуть вспять или рискнуть погрузиться во внутренние проходы, где совершенно темно.

Устав, я присел и сидя рвался идти, но выдержал, пока не превозмог огорчения одиночества, лишавшего меня стойкой сообразительности. До этого я не трогал электрических выключателей не из боязни, что озарится все множество помещений или раздастся звон тревоги — это приходило мне в голову вчера, — но потому, что не мог их найти. Я взял спички, светил около дверей и по нишам. Я был в прелестном углу среди мебели такого вида и такой хрупкости, что сесть на нее мог бы только чистоплотный младенец. Найдя штепсель, я рискнул его повернуть. Мало было мне пользы, — хотя яркий свет сам по себе приятно освежил зрение, озарились лишь эти стены, напоминающие зеркальные пруды с от-

ражениями сказочных перспектив. Разыскивая выключатели, я мог бродить здесь всю ночь. Итак, оставив это намерение, я пустился вновь на поиски сообщения с низом дома и, когда вышел, услышал негромко доносящуюся сюда прекрасную музыку.

Как вкопанный я остановился, сердце мое забилось. Все заскакало во мне, и обида рванулась едва не слезами. Если до этого моя влюбленность в Дюрока, дом Ганувера, Молли была еще накрепко заколочена, то теперь все гвозди выскочили, и чувства мои заиграли вместе с отдаленным оркестром, слышимым как бы снаружи дома. Он провозгласил торжество и звал. Я слушал, мучаясь. Одна музыкальная фраза — какой-то отрывистый перелив флейт — манила и манила меня; положительно, она несла аромат грусти и увлечения. Тогда взволнованный, как будто это была моя музыка, как будто все лучшее, обещанное ее звуками, ждало только меня, я бросился, стыдясь сам не зная чего, надеясь и трепеща, разыскивать проход вниз.

В моих торопливых поисках я вышагал по неведомым пространствам, местами озаренным все выше восходящей луной; так много, так много раз останавливался, чтобы наспех сообразить

направление, что совершенно закружился. Иногда поблизости к центру происходящего внизу, на который попадал случайно, музыка была слышна громче, дразня нарастающей явственностью мелодии. Тогда я приходил в еще большее возбуждение, совершая круги через все двери и повороты, где мог свободно идти. От нетерпения ныло в спине. Вдруг, с зачастившим сердцем, я услышал животрепещущий взрыв скрипок и труб прямо где-то возле себя, как мне показалось; миновав колонны, я увидел разрезанную сверху донизу огненной чертой портьеру. Это была лестница. Слезы выступили у меня на глазах. Весь дрожа, я отвел нетерпеливой рукой тяжелую материю, тронувшую по голове, и начал сходить вниз подгибающимися от душевной бури ногами. Та музыкальная фраза, которая пленила меня среди лунных пространств, звучала теперь прямо в уши, и это было как день славы после морской битвы у островов Ката-Гур, когда я, много лет спустя, выходил на раскаленную набережную Ахуан-Скапа, среди золотых труб и синих цветов.

XVI

Довольно было мне сойти по этой белой, сверкающей лестнице, среди художественных видений, под сталактитами хрустальных люстр, озаряющих растения, как бы только что перенесенные из тропического леса цвести среди блестящего мрамора, — как мое настроение выровнялось, согласуясь с происходящим. Я уже не был главным лицом, которому казалось, что его присутствие самое важное. Блуждание наверху помогло тем, что, изнервничавшийся, стремительный, я был все же не так расстроен, как могло произойти обыкновенным порядком. Я сам шел к цели, а не был введен сюда. Однако то, что я увидел, разом уперлось в грудь, уперлось всем блеском своим и стало оттеснять прочь. Я начал робеть и, изрядно оробев, остановился как пень посреди паркета огромной, с настоящей далью, залы, где расхаживало множество народа, мужчин и женщин, одетых во фраки и красивейшие бальные платья. Музыка продолжала играть, поднимая мое настроение из робости на его прежнюю высоту.

Здесь было человек сто пятьдесят, может быть, двести. Одни беседовали, рассеявшись группами,

другие проходили через далекие против меня двери взад и вперед, а те двери открывали золото огней и яркие глубины стен, как бы полных мерцающим голубым дымом. Но, благодаря зеркалам, казалось, что здесь еще много других дверей; в их частой пустоте отражалась вся та зала с наполняющими ее людьми, и я, лишь всмотревшись, стал отличать настоящие проходы от зеркальных феерий. Вокруг раздавались смех, говор, сияющие женские речи, восклицания, образуя непрерывный шум, легкий шум — ветер нарядной толпы. Возле сидящих женщин, двигающих веерами и поворачивающихся друг к другу, стояли, склоняясь, как шмели вокруг ясных цветов, черные фигуры мужчин в белых перчатках, душистых, щеголеватых, веселых. Мимо меня прошла пара стройных, мускулистых людей с упрямыми лицами, цепь девушек, колеблющихся и легких, быстрой походкой, с цветами в волосах и сверкающими нитями вокруг тонкой шеи. Направо сидела очень толстая женщина с взбитой седой прической. В круге расхохотавшихся мужчин стоял плотный, краснощекий толстяк, помахивающий рукой в кольцах; он что-то рассказывал. Слуги, опустив руки по швам, скользили среди движения гостей, лавируя и перебегая с ловко-

стью танцоров. А музыка, касаясь души холодом и огнем, несла все это, как ветер несет корабль, в Замечательную Страну.

Первую минуту я со скорбью ожидал, что меня спросят, что я тут делаю, и, не получив достаточного ответа, уведут прочь. Однако я вспомнил, что Ганувер назвал меня гостем, что я поэтому равный среди гостей, и, преодолев смущение, начал осматриваться, как попавшая на бал кошка, хотя не смел ни уйти, ни пройти куда-нибудь в сторону. Два раза мне показалось, что я вижу Молли, но — увы! — это были другие девушки, лишь издали похожие на нее. Лакей, пробегая с подносом, сердито прищурился, а я выдержал его взгляд с невинным лицом и даже кивнул. Несколько мужчин и женщин, проходя, взглядывали на меня так, как оглядывают незнакомого, поскользнувшегося на улице. Но я чувствовал себя глупо не с непривычки, а только потому, что был в полном неведении. Я не знал, соединился ли Ганувер с Молли, были ли объяснения, сцены, не знал, где Эстамп, не знал, что делают Поп и Дюрок. Кроме того, я никого не видел из них и, в то время как стал думать об этом еще раз, вдруг заметил входящего из боковых дверей Ганувера.

Еще в дверях, повернув голову, он сказал что-то

шедшему с ним Дюроку и немедленно после того стал говорить с Дигэ, руку которой нес в сгибе локтя. К ним сразу подошло несколько человек. Седая дама, которую я считал прилепленной навсегда к своему креслу, вдруг встала, избоченясь с быстротой гуся, и понеслась навстречу вошедшим. Группа сразу увеличилась, став самой большой из всех групп зала, и мое сердце сильно забилось, когда я увидел приближающегося к ней, как бы из зеркал или воздуха — так неожиданно оказался он здесь, — Эстампа. Я был уверен, что сейчас явится Молли, потому что подозревал, не был ли весь день Эстамп с ней.

Поколебавшись, я двинулся из плена шумного вокруг меня движения и направился к Гануверу, став несколько позади седой женщины, говорившей так быстро, что ее огромный бюст колыхался, как пара пробковых шаров, кинутых утопающему.

Ганувер был кроток и бледен. Его лицо страшно осунулось, рот стал ртом старого человека. Казалось, в нем беспрерывно вздрагивает что-то при каждом возгласе или обращении. Дигэ, сняв свою руку в перчатке, складывала и раздвигала страусовый веер; ее лицо, ставшее еще красивее от смуглых голых плеч, выглядело властным, зна-

чительным. На ней был прозрачный дымчатый шелк. Она улыбалась. Дюрок первый заметил меня и, продолжая говорить с худощавым испанцем, протянул руку, коснувшись ею моего плеча. Я страшно обрадовался; вслед затем обернулся и Ганувер, взглянув один момент рассеянным взглядом, но тотчас узнал меня и, даже протянув руку, весело потрепал мои волосы. Я стоял, улыбаясь из глубины души. Он, видимо, понял мое состояние, так как сказал: «Ну что, Санди, дружок?» И от этих простых слов, от его прекрасной улыбки и явного расположения ко мне со стороны людей, встреченных только вчера, вся робость моя исчезла. Я вспыхнул, покраснел и возликовал.

— Что же, поспал? — сказал Дюрок. Я снова вспыхнул. Несколько людей посмотрели на меня с забавным недоумением. Ганувер втащил меня в середину.

— Это мой воспитанник, — сказал он. — Вам, дон Эстебан, нужен будет хороший капитан лет через десять, так вот он, и зовут его Санди… э, как его, Эстамп?

— Пруэль, — сказал я, — Санди Пруэль.

— Очень самолюбив, — заметил Эстамп, — смел и решителен, как Колумб.

Испанец молча вытащил из бумажника визитную карточку и протянул мне, сказав:

— Через десять лет, а если я умру, мой сын — даст вам какой-нибудь пароход.

Я взял карточку и, не посмотрев, сунул в карман. Я понимал, что это шутка, игра, у меня явилось желание поддержать честь старого, доброго кондотьера, каким я считал себя в тайниках души.

— Очень приятно, — заявил я, кланяясь с наивозможной грацией. — Я посмотрю на нее тоже через десять лет, а если умру, то оставлю сына, чтобы он мог прочесть, что там написано.

Все рассмеялись.

— Вы не ошиблись! — сказал дон Эстебан Гануверу.

— О! ну нет, конечно, — ответил тот, и я был оставлен при триумфе и сердечном веселье. Группа перешла к другому концу залы. Я повернулся еще, первый раз свободно вздохнув, прошел между всем обществом, как дикий мустанг среди нервных павлинов, и уселся в углу, откуда была видна вся зала, но где никто не мешал думать.

Вскоре увидел я Томсона и Галуэя с тремя дамами в отличном расположении духа. Галуэй, дергая щекой, заложив руки в карманы и пока-

чиваясь на носках, говорил и смеялся. Томсон благосклонно вслушивался; одна дама, желая перебить Галуэя, трогала его по руке сложенным веером, две другие переглядывались между собой, время от времени хохотали. Итак, ничего не произошло. Но что же было с Молли, — девушкой Молли, покинувшей сестру, чтобы сдержать слово, с девушкой, которая милее и краше всех, кого я видел в этот вечер, должна была радоваться и сиять здесь и идти под руку с Ганувером, стыдясь себя и счастья, от которого хотела отречься, боясь чего-то, что может быть страшно лишь женщине? Какие причины удержали ее? Я сделал три предположения: Молли раздумала и вернулась, Молли больна и Молли уже была. «Да, она была, — говорил я, волнуясь как за себя, — и ее объяснения с Ганувером не устояли против Дигэ. Он изменил ей. Поэтому он страдает, пережив сцену, глубоко всколыхнувшую его, но бессильную вновь засветить солнце над его помраченной душой». Если бы я знал, где она теперь, то есть будь она где-нибудь близко, я, наверно, сделал бы одну из своих сумасшедших штучек, — пошел к ней и привел сюда; во всяком случае, попытался бы привести. Но, может быть, произошло такое, о чем нельзя догадаться. А вдруг она умерла и от

Ганувера все скрыто!

Как только я это подумал, страшная мысль стала неотвязно вертеться, тем более что немногое, известное мне в этом деле, оставляло обширные пробелы, допускающие любое предположение. Я видел Лемарена; этот сорт людей был мне хорошо знаком, и я знал, как изобретательны хулиганы, одержимые манией или корыстью. Решительно мне надо было увидеть Попа, чтобы успокоиться.

Сам себе не отдавая в том отчета, я желал радости в сегодняшний вечер не потому только, что хотел счастливой встречи двух рук, разделенных сложными обстоятельствами, — во мне подымалось требование торжества, намеченного человеческой волей и страстным желанием, таким красивым в этих необычайных условиях. Дело обстояло и развертывалось так, что никакого другого конца, кроме появления Молли, — появления, опрокидывающего весь темный план, — веселого плеска майского серебряного ручья, я ничего не хотел и ничто другое не могло служить для меня оправданием тому, в чем, согласно неисследованным законам человеческих встреч, я принял невольное, хотя и поверхностное участие.

Не надо, однако, думать, что мысли мои в то

время выразились такими словами, — я был тогда еще далек от привычного искусства взрослых людей обводить чертой слова мелькающие, как пена, образы. Но они не остались без выражения; за меня мир мой душевный выражала музыка скрытого на хорах оркестра.

Да, всего только за двадцать четыре часа Санди Пруэль вырос, подобно растению индийского мага, посаженному семенем и через тридцать минут распускающему зеленые листья. Я был старее, умнее, тише. Я мог бы, конечно, с великим удовольствием сесть и играть, катая вареные крутые яйца, каковая игра называется «съешь скорлупку», — но мог также уловить суть несказанного в сказанном. Мне положительно был необходим Поп, но я не смел еще бродить, где хочу, отыскивая его, и, когда он, наконец, подошел, заметив меня случайно, мне как бы подали напиться после соленого. Он был во фраке, перчатках, выглядя оттого по-новому, но мне было все равно. Я вскочил и пошел к нему.

— Ну вот, — сказал Поп и, слегка оглянувшись, тихо прибавил: — сегодня произойдет *нечто*. Вы увидите. Я не скрываю от вас, потому что возбужден и вы много сделали нам. Приготовьтесь: еще неизвестно, что может быть.

— Когда? Сейчас?

— Нет. Больше я ничего не скажу. Вы не в претензии, что вас оставили выспаться?

— Поп, — сказал я, не обращая внимания на его рассеянную шутливость, — дорогой Поп, я знаю, что спрашиваю глупо, но… но… я имею право. Я думаю так. Успокойте меня и скажите: что с Молли?

— Ну что вам Молли?! — сказал он, смеясь и пожимая плечами. — Молли, — он сделал ударение, — скоро будет Эмилия Ганувер, и мы пойдем к ней пить чай. Не правда ли?

— Как! Она здесь?

— Нет.

Я молчал с сердитым лицом.

— Успокойтесь, — сказал Поп, — не надо так волноваться. Все будет в свое время. Хотите мороженого?

Я не успел ответить, как он задержал шествующего с подносом Паркера, крайне озабоченное лицо которого говорило о том, что вечер по-своему отразился в его душе, сбив с ног.

— Паркер, — сказал Поп, — мороженого мне и Санди, большие порции.

— Слушаю, — сказал старик, теперь уже с чрезвычайно оживленным, даже заинтересованным

видом, как будто в требовании мороженого было все дело этого вечера. — Какого же? Земляничного, апельсинного, фисташкового, розовых лепестков, сливочного, ванильного, крем-брюле или…

— Кофейного, — перебил Поп. — А вам, Санди?

Я решил показать «бывалость» и потребовал ананасового, но — увы! — оно было хуже кофейного, которое я попробовал из хрустальной чашки у Попа. Пока Паркер ходил, Поп называл мне имена некоторых людей, бывших в зале, но я все забыл. Я думал о Молли и своем чувстве, зовущем в Замечательную Страну.

Я думал также, как просто, как великодушно по отношению ко мне было бы Попу — еще днем, когда мы ели и пили, — сказать: «Санди, вот какое у нас дело…» — и ясным языком дружеского доверия посвятить меня в рыцари запутанных тайн. Осторожность, недолгое знакомство и все прочее, что могло Попу мешать, я отбрасывал, даже не трудясь думать об этом, — так я доверял сам себе.

Поп молчал, потом, от великой щедрости, воткнул в распухшую мою голову последнюю загадку.

— Меня не будет за столом, — сказал он, — очень вас прошу, не расспрашивайте о причинах этого

вслух и не ищите меня, чтобы на мое отсутствие было обращено как можно меньше внимания.

— Я не так глуп, — ответил я с обидой, бывшей еще острее от занывшего в мороженом зуба, — не так я глуп, чтобы говорить мне это как маленькому.

— Очень хорошо, — сказал он сухо и ушел, бросив меня среди рассевшихся вокруг этого места привлекательных, но ненужных мне дам, и я стал пересаживаться от них, пока не очутился в самом углу. Если бы я мог сосчитать количество удивленных взглядов, брошенных на меня в тот вечер разными людьми, — их, вероятно, хватило бы, чтобы заставить убежать с трибуны самого развязного оратора. Что до этого?! Я сидел, окруженный спинами с белыми и розовыми вырезами, вдыхал тонкие духи и разглядывал полы фраков, мешающие видеть движение в зале. Моя мнительность обострилась припадком страха, что Поп расскажет о моей грубости Гануверу и меня не пустят к столу; ничего не увидев, всеми забытый, отверженный, я буду бродить среди огней и цветов, затем Томсон выстрелит в меня из тяжелого револьвера, и я, испуская последний вздох на руках Дюрока, скажу плачущей надо мной Молли: «Не плачьте. Санди умирает как

жил, но он никогда не будет спрашивать вслух, где ваш щеголеватый Поп, потому что я воспитан морем, обучающим молчанию».

Так торжественно прошла во мне эта сцена и так разволновала меня, что я хотел уже встать, чтобы отправиться в свою комнату, потянуть шнурок стенного лифта и сесть мрачно вдвоем с бутылкой вина. Вдруг появился человек в ливрее с галунами и что-то громко сказал. Движение в зале изменилось. Гости потекли в следующую залу, сверкающую голубым дымом, и, став опять любопытным, я тоже пошел среди легкого шума нарядной, оживленной толпы, изредка и не очень скандально сталкиваясь с соседями по шествию.

XVII

Войдя в голубой зал, где на великолепном паркете отражались огни люстр, а также и мои до колен ноги, я прошел мимо оброненной розы и поднял ее на счастье, загадав, что если в цветке будет четное число лепестков, я увижу сегодня Молли. Обрывая их в зажатую горсть, чтобы не сорить, и спотыкаясь среди тренов, я заметил, что на меня смотрит пара черных глаз с румяного кокетливого лица. «Любит, не любит, — сказала мне эта женщина, — как у вас вышло?» Ее подруги окружили меня, и я поспешно сунул руку в карман, озираясь среди красавиц, поднявших Санди, правда очень мило, — на смех. Я сказал: «Ничего не вышло», — и, наверное, был уныл при этом, так как меня оставили, сунув в руку еще цветок, который я машинально положил в тот же карман, дав вдруг от большой злости клятву никогда не жениться.

Я был сбит, но скоро оправился и стал осматриваться, куда попал. Между прочим, я прошел три или четыре двери. Если была очень велика первая зала, то эту я могу назвать по праву громадной. Она была обита зеленым муаром, с мраморным

полом, углубления которого тонкой причудливой резьбы были заполнены отполированным серебром. На стенах отсутствовали зеркала и картины; от потолка к полу они были вертикально разделены, в разных расстояниях, лиловым багетом, покрытым мельчайшим серебряным узором. Шесть люстр висело по одной линии, проходя серединой потолка, а промежутки меж люстр и углы зала блестели живописью. Окон не было, других дверей тоже не было; в нишах стояли статуи. Все гости, вошедши сюда, помельчали ростом, как если бы я смотрел с третьего этажа на площадь, — так высок и просторен был размах помещения.

Добрую треть пространства занимали столы, накрытые белейшими, как пена морская, скатертями; столы-сады, так как все они сияли ворохами свежих цветов. Столы, или, вернее, один стол в виде четырехугольника, пустого внутри, с проходами внутрь на узких концах четырехугольника, образовывали два прямоугольных «С», обращенных друг к другу и не совсем плотно сомкнутых. На них сплошь, подобно узору цветных камней, сверкали огни вин, золото, серебро и дивные вазы, выпускающие среди редких плодов зеленую тень ползучих растений, завитки которых

лежали на скатерти. Вокруг столов ждали гостей легкие кресла, обитые оливковым бархатом. На равном расстоянии от углов столового четырехугольника высоко вздымались витые бронзовые колонны с гигантскими канделябрами, и в них горели настоящие свечи. Свет был так силен, что в самом отдаленном месте я различал с точностью черты людей; можно сказать, что от света было жарко глазам.

Все усаживались, шумя платьями и движением стульев; стоял рокот, обвеянный гулким эхо. Вдруг какое-нибудь одно слово, отчетливо вырвавшись из гула, явственно облетало стены. Я пробирался к тому месту, где видел Ганувера с Дюроком и Дигэ, но, как ни искал, не мог заметить Эстампа и Попа. Ища глазами свободного места на этом конце стола — ближе к двери, — я видел много еще незанятых мест, но скорее дал бы отрубить руку, чем сел сам, боясь оказаться вдали от знакомых лиц. В это время Дюрок увидел меня и, покинув беседу, подошел с ничего не значащим видом.

— Ты сядешь рядом со мной, — сказал он, — поэтому сядь на то место, которое будет от меня слева. — Сказав это, он немедленно удалился, и в скором времени, когда большинство уселось, я

занял кресло перед столом, имея по правую руку Дюрока, а по левую — высокую, тощую как жердь даму лет сорока с лицом рыжего худого мужчины и такими длинными ногтями мизинцев, что, я думаю, она могла смело обходиться без вилки. На этой даме бриллианты висели, как смородина на кусте, а острый голый локоть чувствовался в моем боку даже на расстоянии.

Ганувер сел напротив, будучи от меня наискось, а против него, между Дюроком и Галуэем, поместилась Дигэ. Томсон сидел между Галуэем и тем испанцем, карточку которого я собирался рассмотреть через десять лет.

Вокруг меня не прерывался разговор. Звук этого разговора перелетал от одного лица к другому, от одного к двум, опять к одному, трем, двум и так беспрерывно, что казалось, все говорят, как инструменты оркестра, развивая каждый свои ноты — слова. Но я ничего не понимал. Я был обескуражен стоящим передо мной прибором. Его надо было бы поставить в музей под стеклянный колпак. Худая дама, приложив к глазам лорнет, тщательно осмотрела меня, вогнав робость, и что-то сказала, но я, ничего не поняв, ответил: «Да, это так». Она больше не заговаривала со мной, не смотрела на меня, и я был от души рад,

что чем-то ей не понравился. Вообще я был как в тумане. Тем временем, начиная разбираться в происходящем, то есть принуждая себя замечать отдельные черты действия, я видел, что вокруг столов катятся изящные позолоченные тележки на высоких колесах, полные блестящей посуды, из-под крышек которой вьется пар, а под дном горят голубые огни спиртовых горелок. Моя тарелка исчезла и вернулась из откуда-то взявшейся в воздухе руки. С чем? Надо было съесть это, чтобы узнать. Запахло такой гастрономией, такими хитростями кулинарии, что, казалось, стоит съесть немного, как опьянеешь от одного возбуждения при мысли, что ел это ароматическое художество. И вот, как, может быть, ни покажется странным, меня вдруг захлестнул зверский мальчишеский голод, давно накоплявшийся среди подавляющих его впечатлений; я осушил высокий прозрачный стакан с черным вином, обрел самого себя и съел дважды все без остатка, почему тарелка вернулась полная и в третий раз. Я оставил ее стоять и снова выпил вина. Со всех сторон видел я подносимые к губам стаканы и бокалы. Под потолком, в другом конце зала, с широкого балкона грянул оркестр и продолжал тише, чем шум стола, напоминая о блистающей Стране.

В это время начали бить невидимые часы, ясно и медленно пробило одиннадцать, покрыв звуком все: шум и оркестр. В разговоре, от меня справа, прозвучало слово «Эстамп».

— Где Эстамп? — сказал Ганувер Дюроку. — После обеда он вдруг исчез и не появляется. А где Поп?

— Не далее как полчаса назад, — ответил Дюрок, — Поп жаловался мне на невыносимую мигрень и, должно быть, ушел прилечь. Я не сомневаюсь, что он явится. Эстампа же мы вряд ли дождемся.

— Почему?

— А… потому, что я видел его… тэт-а-тэт…

— Т-так, — сказал Ганувер, потускнев, — сегодня все уходят начиная с утра. Появляются и исчезают. Вот еще нет капитана Орсуны. А я так ждал этого дня…

В это время подлетел к столу толстый черный человек с бритым, круглым лицом, холеным и загорелым.

— Вот я, — сказал он, — не трогайте капитана Орсуну. Ну слушайте, какая была история! У нас завелись феи!

— Как, феи?! — сказал Ганувер. — Слушайте, Дюрок, это забавно.

— Следовало привести фею, — заметила Дигэ, делая глоток из узкого бокала.

— Понятно, что вы опоздали, — заметил Галуэй. — Я бы совсем не пришел.

— Ну да вы… — сказал капитан, который, видимо, торопился поведать о происшествии. В одну секунду он выпил стакан вина, ковырнул вилкой в тарелке и стал чистить грушу, помахивая ножом и приподнимая брови, когда, рассказывая, удивлялся сам. — Вы — другое дело, а я, видите, очень занят. Так вот, я отвел яхту в док и возвращался на катере. Мы плыли около старой дамбы, где стоит заколоченный павильон. Было часов семь, и солнце садилось. Катер шел близко к кустам, которыми поросла дамба от пятого бакена до Ледяного Ручья. Когда я поравнялся с южным углом павильона, то случайно взглянул туда и увидел среди кустов, у самой воды, прекрасную молодую девушку в шелковом белом платье, с голыми руками и шеей, на которой сияло пламенное жемчужное ожерелье. Она была босиком…

— Босиком! — вскричал Галуэй в то время, как Ганувер, откинувшись, стал вдруг напряженно слушать. Дюрок хранил любезную, непроницаемую улыбку, а Дигэ слегка приподняла брови и весело свела их в улыбку верхней части лица. Все

были заинтересованы.

Капитан, закрыв глаза, категорически помотал головой и с досадой вздохнул.

— Она была босиком, — это совершенно точное выражение, и туфли ее стояли рядом, а чулки висели на ветке, — ну, право же, очень миленькие чулочки — паутина и блеск. Фея держала ногу в воде, придерживаясь руками за ствол орешника. Другая ее нога, — капитан метнул Дигэ покаянный взгляд, прервав сам себя, — прошу прощения, — другая ее нога была очень мала. Ну, разумеется, та, что была в воде, не выросла за минуту…

— Нога… — перебила Дигэ, рассматривая свою тонкую руку.

— Да. Я сказал, что виноват. Так вот, я крикнул: «Стоп! Задний ход!» И мы остановились, как охотничья собака над перепелкой. Я скажу: берите кисть, пишите ее. Это была фея, клянусь честью! «Послушайте, — сказал я, — кто вы?»… Катер обогнул кусты и предстал перед ее не то чтобы недовольным, но, я сказал бы, — не желающим чего-то лицом. Она молчала и смотрела на нас; я сказал: «Что вы здесь делаете?» Представьте, ее ответ был такой, что я перестал сомневаться в ее волшебном происхождении. Она сказала очень

просто и вразумительно, но голос, о, какой это красивый был голос! — не простого человека был голос, голос был…

— Ну, — перебил Томсон с характерной для него резкой тишиной тона, — кроме голоса, было еще что-нибудь?

Разгоряченный капитан нервно отодвинул свой стакан.

— Она сказала, — повторил капитан, у которого покраснели виски, — вот что: «Да у меня затекла нога, потому что эти каблуки выше, чем я привыкла носить». Все! А? — Он хлопнул себя обеими руками по коленам и спросил: — Каково? Какая барышня ответит так в такую минуту? Я не успел влюбиться, потому что она, грациозно присев, собрала свое хозяйство и исчезла.

И капитан принялся за вино.

— Это была горничная, — сказала Дигэ, — но так как солнце садилось, его эффект подействовал на вас субъективно.

Галуэй что-то промычал. Вдруг все умолкли. Чье-то молчание, наступив внезапно и круто, закрыло все рты. Это умолк Ганувер, и до того почти не проронивший ни слова, а теперь молчавший со странным взглядом и бледным лицом, по которому стекал пот. Его глаза медленно повернулись

к Дюроку и остановились, но в ответившем ему взгляде был только спокойный свет.

Ганувер вздохнул и рассмеялся очень громко и, пожалуй, несколько дольше, чем переносят весы нервного такта.

— Орсуна, радость моя, капитан капитанов! — сказал он. — На мысе Гардена с тех пор, как я купил у Траулера этот дом, поселилось столько народа, что женское население стало очень разнообразно. Ваша фея Маленькой Ноги должна иметь папу и маму; что касается меня, то я не вижу здесь пока другой феи, кроме Дигэ Альвавиз, но и та не может исчезнуть, я думаю.

— Дорогой Эверест, ваше «пока» имеет не совсем точный смысл, — сказала красавица, владея собой как нельзя лучше и, по-видимому, не придавая никакого значения рассказу Орсуны.

Если был в это время за столом человек, боявшийся обратить внимание на свои пылающие щеки, то это я. Сердце мое билось так, что вино в стакане, который я держал, вздрагивало толчками. Без всяких доказательств и объяснений я знал уже, что капитан видел Молли и что она будет здесь здоровая и нетронутая, под защитой верного друзьям Санди.

Разговор стал суше, нервнее, затем перешел

в град шуток, которым осыпали капитана. Он сказал:

— Я опоздал по иной причине. Я ожидал возвращения жены с поездом десять двенадцать, но она, как я теперь думаю, приедет завтра.

— Очень жаль, — сказал Ганувер, — а я надеялся увидеть вашу милую Бетси. Надеюсь, фея не повредила ей в вашем сердце?

— Хо! Конечно нет.

— Глаз художника и сердце бульдога! — сказал Галуэй.

Капитан шумно откашлялся.

— Не совсем так. Глаз бульдога в сердце художника. А впрочем, я налью себе еще этого превосходного вина, от которого делается сразу четыре глаза.

Ганувер посмотрел в сторону. Тотчас подбежал слуга, которому было отдано короткое приказание. Не прошло и минуты, как три удара в гонг связали шум и стало если не совершенно тихо, то довольно покойно, чтоб говорить. Ганувер хотел говорить, я видел это по устремленным на него взглядам; он выпрямился, положив руки на стол ладонями вниз, и приказал оркестру молчать.

— Гости! — произнес Ганувер так громко, что было всем слышно; отчетливый резонанс этой

огромной залы позволял в меру напрягать голос. — Вы — мои гости, мои приятели и друзья. Вы оказали мне честь посетить мой дом в день, когда четыре года назад я ходил еще в сапогах без подошв и не знал, что со мной будет.

Ганувер замолчал. В течение этой сцены он часто останавливался, но без усилия или стеснения, а как бы к чему-то прислушиваясь, и продолжал так же спокойно:

— Многие из вас приехали пароходом или по железной дороге, чтобы доставить мне удовольствие провести с вами несколько дней.

Я вижу лица, напоминающие дни опасности и веселья, случайностей, похождений, тревог, дел и радостей.

Под вашим начальством, Том Клертон, я служил в таможне Сан-Риоля, и вы бросили службу, когда я был несправедливо обвинен капитаном «Терезы» в попустительстве другому пароходу, «Орландо».

Амелия Корниус! Четыре месяца вы давали мне в кредит комнату, завтрак и обед, и я до сих пор не заплатил вам, по малодушию или легкомыслию, не знаю, но не заплатил. На днях мы выясним этот вопрос.

Вильям Вильсон! На вашей вилле я выздоровел

от тифа, и вы каждый день читали мне газеты, когда я после кризиса не мог поднять ни головы, ни руки.

Люк Арадан! Вы, имея дело с таким неврастеником-миллионером, как я, согласились взять мой капитал в свое ведение, избавив меня от деловых мыслей, жестов, дней, часов и минут, и в три года увеличили основной капитал в тридцать семь раз.

Генри Токвиль! Вашему банку я обязан удачным залогом, сохранением секрета и возвращением золотой цепи.

Лейтенант Глаудис! Вы спасли меня на охоте, когда я висел над пропастью, удерживаясь сам не знаю за что.

Георг Барк! Вы бросились за мной в воду с борта «Индианы», когда я упал туда во время шторма вблизи Адена.

Леон Дегуст! Ваш гений воплотил мой лихорадочный бред в строгую и прекрасную конструкцию того здания, где мы сидим. Я встаю приветствовать вас и поднимаю этот бокал за минуту гневного фырканья, с которым вы первоначально выслушали меня и высмеяли и багровели четверть часа; наконец сказали: «Честное слово, об этом стоит подумать. Но только я

припишу на доске у двери: “Архитектор Дегуст, временно помешавшись, просит здравые умы не беспокоить его месяца три”».

Смотря в том направлении, куда глядел Ганувер, я увидел старого безобразного человека с надменным выражением толстого лица и иронической бровью; выслушав, Дегуст грузно поднялся, уперся ладонями в стол и, посмотрев вбок, сказал:

— Я очень польщен.

Выговорив эти три слова, он сел с видом крайнего облегчения. Ганувер засмеялся.

— Ну, — сказал он, вынимая часы, — назначено в двенадцать, теперь без пяти минут полночь. — Он задумался с остывшей улыбкой, но тотчас встрепенулся: — Я хочу, чтобы не было на меня обиды у тех, о ком я не сказал ничего, но вы видите, что я все хорошо помню. Итак, я помню обо всех всё, все встречи и разговоры; я снова пережил прошлое в вашем лице, и я так же в нем теперь, как и тогда. Но я должен еще сказать, что деньги дали мне возможность осуществить мою манию. Мне не объяснить вам ее в кратких словах. Вероятно, страсть эта может быть названа так: могущество жеста. Еще я представлял себе второй мир, существующий за стеной, тайное в

явном, непоколебимость строительных громад, которой я могу играть давлением пальца. И я это понял недавно, я ждал, что, осуществив прихоть, ставшую прямой потребностью, я, в глубине тайных зависимостей наших от формы, найду равное ее сложности содержание. Едва ли мои забавы ума, имевшие, однако, неодолимую власть над душой, были бы осуществлены в той мере, как это сделал по моему желанию Дегуст, если бы не обещание, данное мной… одному лицу, — дело относится к прошлому. Тогда мы, два нищих, сидя под крышей заброшенного сарая на земле, где была закопана нами груда чистого золота, в мечтах своих, естественно, ограбили всю Шехерезаду. Это лицо, о судьбе которого мне теперь ничего не известно, обладало живым воображением и страстью обставлять дворцы по своему вкусу. Должен сознаться, я далеко отставал от него в искусстве придумывать. Оно побило меня такими картинами, что я был в восторге. Оно говорило: «Уж если мечтать, то мечтать…»

В это время начало бить двенадцать.

— Дигэ, — сказал Ганувер, улыбаясь ей с видом заговорщика, — ну-ка, тряхните стариной Али-Бабы и его сорока разбойников!

— Что же произойдет? — закричал любопыт-

ный голос с другого конца стола.

Дигэ встала, смеясь.

— Мы вам покажем! — заявила она, и если волновалась, то нельзя ничего было заметить. — Откровенно скажу, я сама не знаю, что произойдет. Если дом станет летать по воздуху, держитесь за стулья!

— Вы помните — как?.. — сказал Ганувер Дигэ.

— О да. Вполне.

Она подошла к одному из огромных канделябров, о которых я уже говорил, и протянула руку к его позолоченному стволу, покрытому ниспадающими выпуклыми полосками. Всмотревшись, чтобы не ошибиться, Дигэ нашла и отвела вниз одну из этих полосок. Ее взгляд расширился, лицо слегка дрогнуло, не удержавшись от мгновения торжества, блеснувшего затаенной чертой. И в то самое мгновение, когда у меня авансом стала кружиться голова, все осталось, как было, на своем месте. Еще некоторое время бил по нервам тот внутренний счет, который ведет человек, если курок дал осечку, ожидая запоздавшего выстрела, затем поднялись шум и смех.

— Снова! — закричал дон Эстебан.

— Штраф, — сказал Орсуна.

— Нехорошо дразнить маленьких! — заметил Галуэй.

— Фу, как это глупо! — вскричала Дигэ, топнув ногой. — Как вы зло шутите, Ганувер!

По ее лицу пробежала нервная тень; она решительно отошла, сев на свое место и кусая губы.

Ганувер рассердился. Он вспыхнул, быстро встал и сказал:

— Я не виноват. Наблюдение за исправностью поручено Попу. Он будет призван к ответу. Я сам…

Досадуя, как это было заметно по его резким движениям, он подошел к канделябру, двинул металлический завиток и снова отвел его. И, повинуясь этому незначительному движению, все стены зала кругом вдруг отделились от потолка пустой, светлой чертой и, разом погрузясь в пол, исчезли. Это произошло бесшумно. Я закачался. Я вместе с сиденьем как бы поплыл вверх.

XVIII

К тому времени я уже бессознательно твердил: «Молли не будет», — испытав душевную пустоту и трезвую горечь последнего удара часов, вздрагивая перед тем от каждого восклицания, когда мне чудилось, что появились новые лица. Но падение стен, причем это совершилось так безупречно плавно, что не заколебалось даже вино в стакане, — выколотило из меня все чувства одним ужасным ударом. Мне показалось, что зала взметнулась на высоту среди сказочных колоннад. Все, кто здесь был, вскрикнули; испуг и неожиданность заставили людей повскакать. Казалось, взревели незримые трубы; эффект подействовал, как обвал, и обернулся сиянием сказочно яркой силы, — так резко засияло оно.

Чтобы изобразить зрелище, открывшееся в темпе апоплексического удара, я вынужден применить свое позднейшее знание искусства и материала, двинутых Ганувером из небытия в атаку собрания. Мы были окружены колоннадой черного мрамора, отраженной прозрачной глубиной зеркала, шириной не менее двадцати футов и обходящего пол бывшей залы мнимым

четырехугольным провалом. Ряды колонн, по четыре в каждом ряду, были обращены флангом к общему центру и разделены проходами одинаковой ширины по всему их четырехугольному строю. Цоколи, на которых они стояли, были высоки и массивны. Меж колонн сыпались один выше другого искрящиеся водяные стебли фонтанов, — три струи на каждый фонтан; в падении они имели вид изогнутого пера. Все это, повторенное прозрачным отражающим низом, стояло как одна светлая глубина, выложенная вверху и внизу взаимно опрокинутой колоннадой. Линия отражения, находясь в одном уровне с полом залы и полами пространств, которые сверкали из-за колонн, придавала основе зрелища видимость ковров, разостланных в воздухе. За колоннами, в свете хрустальных ламп вишневого цвета, бросающих на теплую белизну перламутра и слоновой кости отсвет зари, стояли залы-видения. Блеск струился, как газ. Перламутр, серебро, белый янтарь, мрамор, гигантские зеркала и гобелены с бисерной глубиной в бледном тумане рисунка странных пейзажей; мебель — прихотливее и прелестнее воздушных гирлянд в лунную ночь — не вызывала даже желания рассмотреть подробности. Задуманное и явленное, как хор,

действующий согласием множества голосов, это артистическое безумие сияло из-за черного мрамора, как утро сквозь ночь.

Между тем дальний от меня конец залы, под галереей для оркестра, выказывал зрелище, где его творец сошел из поражающей красоты к удовольствию точного и законченного впечатления. Пол был застлан сплошь белым мехом, чистым, как слой первого снега. Слева сверкал камин литого серебра с узором из малахита, а стены, от карниза до пола, скрывали плющ, пропуская блеск овальных зеркал ковром темно-зеленых листьев; внизу, на золоченой решетке, обходящей три стены, вился желтый узор роз. Эта комната, или маленькая зала, с белым матовым светом одной люстры — настоящего жемчужного убора из прозрачных шаров, свесившихся опрокинутым конусом, — совершенно остановила мое внимание; я засмотрелся в ее прекрасный уют и, обернувшись наконец взглянуть, нет ли еще чего сзади меня, увидел, что Дюрок встал, протянув руку к дверям, где на черте входа остановилась девушка в белом и гибком, как она сама, платье, с разгоревшимся, нервно спокойным лицом, храбро устремив взгляд прямо вперед. Она шла, закусив губку, вся — ожидание. Я не узнал Мол-

ли, — так преобразилась она теперь; но тотчас схватило в горле и все, кроме нее, пропало. Как безумный, я закричал:

— Смотрите, смотрите! Это Молли! Она пришла! Я знал, что придет!

Ужасен был взгляд Дюрока, которым он охватил меня, как железом. Ганувер, побледнев, обернулся, как на пружинах, и все, кто был в зале, немедленно посмотрели в эту же сторону. С Молли появился Эстамп; он только взглянул на Ганувера и отошел. Наступила чрезвычайная тишина, — совершенное отсутствие звука, и в тишине этой, оброненное или стукнутое, тонко прозвенело стекло.

Все стояли по шее в воде события, нахлынувшего внезапно. Ганувер подошел к Молли, протянув руки, с забывшимся и диким лицом. На него было больно смотреть, — так вдруг ушел он от всех к одной, которую ждал. «Что случилось?» — прозвучал осторожный шепот. В эту минуту оркестр, мягко двинув мелодию, дал знать, что мы прибыли в Замечательную Страну.

Дюрок махнул рукой на балкон музыкантам с такой силой, как будто швырнул камнем. Звуки умолкли. Ганувер взял приподнятую руку девушки и тихо посмотрел ей в глаза.

— Это вы, Молли? — сказал он, оглядываясь с улыбкой.

— Это я, милый, я пришла, как обещала. Не грустите теперь!

— Молли. — Он хрипло вздохнул, держа руку у горла, потом притянул ее голову и поцеловал в волосы. — Молли! — повторил Ганувер. — Теперь я буду верить всему! — Он обернулся к столу, держа руку девушки, и сказал: — Я был очень беден. Вот моя невеста, Эмилия Варрен. Я не владею собой. Я не могу больше владеть собой, и вы не осудите меня.

— Это и есть фея! — сказал капитан Орсуна. — Клянусь, это она!

Дрожащая рука Галуэя, укрепившего монокль, резко упала на стол.

Дигэ, опустив внимательный взгляд, которым осматривала вошедшую, встала, но Галуэй усадил ее сильным, грубым движением.

— Не смей! — сказал он. — Ты будешь сидеть.

Она опустилась с презрением и тревогой, холодно двинув бровью. Томсон, прикрыв лицо рукой, сидел, катая хлебный шарик. Я все время стоял. Стояли также Дюрок, Эстамп и капитан и многие из гостей. На праздник, как на луг, легла тень.

Началось движение, некоторые вышли из-за

стола, став ближе к нам.

— Это — вы? — сказал Ганувер Дюроку, указывая на Молли.

— Нас было трое, — смеясь, ответил Дюрок. — Я, Санди, Эстамп.

Ганувер сказал:

— Что это… — Но его голос оборвался. — Ну хорошо, — продолжал он, — сейчас не могу я благодарить. Вы понимаете. Оглянитесь, Молли, — заговорил он, ведя рукой вокруг, — вот все то, как вы строили на берегу моря, как это вам представлялось тогда. Узнаете ли вы теперь?

— Не надо… — сказала Молли, потом рассмеялась. — Будьте спокойнее. Я очень волнуюсь.

— А я? Простите меня! Если я помешаюсь, это так и должно быть. Дюрок! Эстамп! Орсуна! Санди, плут! И ты тоже молчал, — вы все меня подожгли с четырех концов! Не сердитесь, Молли! Молли, скажите что-нибудь! Кто же мне объяснит все?

Девушка молча сжала и потрясла его руку, мужественно обнажая этим свое сердце, которому пришлось испытать так много за этот день. Ее глаза были полны слез.

— Эверест, — сказал Дюрок. — Это еще не все!

— Совершенно верно, — с вызовом откликнулся Галуэй, вставая и подходя к Гануверу. — Кто,

например, объяснит мне кое-что непонятное в деле моей сестры, Дигэ Альвавиз? Знает ли эта девушка?

— Да, — растерявшись, сказала Молли, взглядывая на Дигэ, — я знаю. Но ведь я — здесь.

— Наконец избавьте меня… — произнесла Дигэ, вставая, — от какой бы то ни было вашей позы, Галуэй, по крайней мере, в моем присутствии.

— Август Тренк, — сказал, прихлопывая всех, Дюрок Галуэю, — я объясню, что случилось. Ваш товарищ, Джек Гаррисон, по прозвищу «Вас-ис-дас», и ваша любовница Этель Мейер должны понять мой намек или признать меня довольно глупым, чтобы уметь выяснить положение. Вы проиграли!

Это было сказано громко и тяжело. Все оцепенели. Гости, покинув стол, собрались тучей вокруг налетевшего действия. Теперь мы стояли среди толпы.

— Что это значит? — спросил Ганувер.

— Это финал! — вскричал, выступая, Эстамп. — Три человека собрались ограбить вас под чужим именем. Каким образом, — вам известно.

— Молли, — сказал Ганувер, вздрогнув, но довольно спокойно, — и вы, капитан Орсуна! Прошу вас, уведите ее. Ей трудно быть сейчас здесь.

Он передал девушку, послушную, улыбающуюся, в слезах, мрачному капитану, который спросил: «Голубушка, хотите, посидим с вами немного?» — и увел ее. Уходя, она приостановилась, сказав: «Я буду спокойной. Я все объясню, все расскажу вам, — я вас жду. Простите меня!»

Так она сказала, и я не узнал в ней Молли из бордингауза. Это была девушка на своем месте, потрясенная, но стойкая в тревоге и чувстве. Я подивился также самообладанию Галуэя и Дигэ; о Томсоне трудно сказать что-нибудь определенное: услышав, как заговорил Дюрок, он встал, заложил руки в карманы и свистнул.

Галуэй поднял кулак в уровень с виском, прижал к голове и резко опустил. Он растерялся лишь на одно мгновение. Шевеля веером у лица, Дигэ безмолвно смеялась, продолжая сидеть. Дамы смотрели на нее, кто в упор, с ужасом, или через плечо, но она, как бы не замечая этого оскорбительного внимания, следила за Галуэем.

Галуэй ответил ей взглядом человека, получившего удар по щеке.

— Канат лопнул, сестричка! — сказал Галуэй.

— Ба! — произнесла она, медленно вставая, и, притворно зевнув, обвела бессильно высокомерным взглядом толпу лиц, взиравших на сцену с

молчаливой тревогой.

— Дигэ, — сказал Ганувер, — что это? Правда?

Она пожала плечами и отвернулась.

— Здесь Бен Дрек, переодетый слугой, — заговорил Дюрок. — Он установил тождество этих людей с героями шантажной истории в Ледингенте. Дрек, где вы? Вы нам нужны!

Молодой слуга, с черной прядью на лбу, вышел из толпы и весело кивнул Галуэю.

— Алло, Тренк! — сказал он. — Десять минут тому назад я переменил вашу тарелку.

— Вот это торжество! — вставил Томсон, проходя вперед всех ловким поворотом плеча. — Открыть имя труднее, чем повернуть стену. Ну, Дюрок, вы нам поставили шах и мат. Ваших рук дело!

— Теперь я понял, — сказал Ганувер. — Откройтесь! Говорите все… Вы были гостями у меня. Я был с вами любезен, клянусь, — я вам верил. Вы украли мое отчаяние, из моего горя вы сделали воровскую отмычку! Вы, вы, Дигэ, сделали это! Что вы, безумные, хотели от меня? Денег? Имени? Жизни?

— Добычи, — сказал Галуэй. — Вы меня мало знаете.

— Август, он имеет право на откровенность, —

заметила вдруг Дигэ, — хотя бы в виде подарка. Знайте, — сказала она, обращаясь к Гануверу, и мрачно посмотрела на него, в то время как ее губы холодно улыбались, — знайте, что есть способ сократить дни человека незаметно и мирно. Надеюсь, вы оставите завещание?

— Да.

— Оно было бы оставлено мне. Ваше сердце в благоприятном состоянии для решительного опыта без всяких следов.

Ужас охватил всех, когда она сказала эти томительные слова. И вот произошло нечто, от чего я содрогнулся до слез; Ганувер пристально посмотрел в лицо Этель Мейер, взял ее руку и тихо поднес к губам. Она вырвала ее с ненавистью, отшатнувшись и вскрикнув.

— Благодарю вас, — очень серьезно сказал он, — за то мужество, с каким вы открыли себя. Сейчас я был как ребенок, испугавшийся темного угла, но знающий, что сзади него, в другой комнате, — светло. Там голоса, смех и отдых. Я счастлив, Дигэ, — в последний раз я вас называю «Дигэ». Я расстаюсь с вами как с гостьей и женщиной. Бен Дрек, дайте наручники.

Он отступил, пропустив Дрека. Дрек помахал браслетами, ловко поймав отбивающуюся

женскую руку, запор звякнул, и обе руки Дигэ, бессильно рванувшись, отразили в ее лице злое мучение. В тот же момент был пойман лакеями пытавшийся увернуться Томсон и выхвачен револьвер у Галуэя. Дрек заковал всех.

— Помните, — сказал Галуэй, шатаясь и задыхаясь, — помните, Эверест Ганувер, что сзади вас не светло! Там не освещенная комната. Вы идиот.

— Что, что? — вскричал дон Эстебан.

— Я развиваю скандал, — ответил Галуэй, — и вы меня не ударите, потому что я окован. Ганувер, вы дурак! Неужели вы думаете, что девушка, которая только что была здесь, и этот дворец совместимы? Стоит взглянуть на ее лицо. Я вижу вещи как они есть. Вам была нужна одна женщина — если бы я ее бросил для вас — моя любовница, Этель Мейер; в этом доме она как раз то, что требуется. Лучше вам не найти. Ваши деньги понеслись бы у нее в хвосте диким аллюром. Она знала бы, как завоевать самую беспощадную высоту. Из вас, ничтожества, умеющего только грезить, обладая Голкондой, она свила бы железный узел, показала прелесть, вам неизвестную, растленной жизни с запахом гиацинта. Вы сделали преступление, отклонив золото от его прямой цели — расти и доить, — заставили тигра

улыбаться игрушкам, и все это ради того, чтобы бросить драгоценный каприз к ногам девушки, которая будет простосердечно смеяться, если ей показать палец! Мы знаем вашу историю. Она куплена нами и была бы зачеркнута. Была бы! Теперь вы ее продолжаете. Но вам не удастся вывести прямую черту. Меж вами и Молли станет двадцать тысяч шагов, которые нужно сделать, чтобы обойти все эти — клянусь! — превосходные залы, или она сама сделается Эмилией Ганувер — больше, чем вы хотите того, трижды, сто раз Эмилия Ганувер!

— Никогда! — сказал Ганувер. — Но двадцать тысяч шагов… Ваш счет верен. Однако я запрещаю говорить дальше об этом. Бен Дрек, раскуйте молодца, раскуйте женщину и того, третьего. Гнев мой улегся. Сегодня никто не должен пострадать, даже враги. Раскуйте, Дрек! — повторил Ганувер изумленному агенту. — Вы можете продолжать охоту где хотите, но только не у меня.

— Хорошо, ох! — Дрек, страшно досадуя, освободил закованных.

— Комедиант! — бросила Дигэ с гневом и смехом.

— Нет, — ответил Ганувер, — нет. Я вспомнил Молли. Это ради нее. Впрочем, думайте что

хотите. Вы свободны. Дон Эстебан, сделайте одолжение, напишите этим людям чек на пятьсот тысяч, и чтобы я их больше не видел!

— Есть, — сказал судовладелец, вытаскивая чековую книжку. — Ну, Тренк, и вы, мадам Мейер, отгадайте: *поза* или *пирог*?

— Если бы я мог, — ответил в бешенстве Галуэй, — если бы я мог передать вам свое полнейшее равнодушие к мнению обо мне всех вас — так как оно есть в действительности, чтобы вы поняли его и остолбенели, — я не колеблясь сказал бы «пирог» и ушел с вашим чеком, смеясь в глаза. Но я сбит. Вы можете мне не поверить.

— Охотно верим, — сказал Эстамп.

— Такой чек стоит всякой утонченности, — провозгласил Томсон, — и я первый благословляю наносимое мне оскорбление.

— Ну, что там… — с ненавистью сказала Дигэ.

Она выступила вперед, медленно подняла руку и, смотря прямо в глаза дону Эстебану, выхватила чек из руки, где он висел, удерживаемый концами пальцев. Дон Эстебан опустил руку и посмотрел на Дюрока.

— Каждый верен себе, — сказал тот, отворачиваясь.

Эстамп поклонился, указывая дверь.

— Мы вас не удерживаем, — произнес он. — Чек ваш, вы свободны, и больше говорить не о чем.

Двое мужчин и женщина, плечи которой казались сзади в этот момент пригнутыми резким ударом, обменялись вполголоса немногими словами и, не взглянув ни на кого, поспешно ушли. Они больше не казались живыми существами. Они были убиты на моих глазах выстрелом из чековой книжки. Через дверь самое далекое зеркало повторило движения удаляющихся фигур, и я, бросившись на стул, неудержимо заплакал, как от смертельной обиды, среди волнения потрясенной толпы, спешившей разойтись.

Тогда меня коснулась рука; я поднял голову и с горьким стыдом увидел ту веселую молодую женщину, от которой взял розу. Она смотрела на меня внимательно, с улыбкой и интересом.

— О простота! — сказала она. — Мальчик, ты плачешь потому, что скоро будешь мужчиной. Возьми другой цветок, на память от Камиллы Флерон.

Она ласково протянула мне, а я машинально сжал георгин цвета вишни. Затем я так же машинально опустил руку в карман и вытащил потемневшие розовые лепестки, которыми боялся сорить. Дама исчезла. Я понял, что она хотела

сказать этим, значительно позже.

Георгин я храню по сей день.

XIX

Между тем почти все разошлись; немногие оставшиеся советовались о чем-то по сторонам, вдалеке от покинутого стола. Несколько раз пробегающие взад и вперед слуги были задержаны жестами одиноких групп и беспомощно разводили руками или же давали знать пожатием плеч, что происшествия этого вечера для них совершенно темны. Вокруг тревожной пустоты разлетевшегося в прах торжества без восхищения и внимания сверкали из-за черных колонн покинутые чудеса золотой цепи. Никто более не входил сюда. Я встал и вышел. Когда я проходил третью по счету залу, замечая иногда удаляющуюся тень или слыша далеко от себя звуки шагов, — дорогу пересек Поп. Увидев меня, он встрепенулся.

— Где же вы?! — сказал Поп. — Я вас ищу. Пойдемте со мной. Все кончилось очень плохо!

Я остановился в испуге, так что, спеша и опередив меня, Поп должен был вернуться:

— Не так страшно, как вы думаете, но чертовски скверно. У него был припадок. Сейчас там все, и он захотел видеть вас. Я не знаю, что это

значит. Но вы пойдете, не правда ли?

— Побежим! — вскричал я. — Ну, *ей*, должно быть, здорово тяжело!

— Он оправится, — сказал Поп, идя быстрым шагом, но как будто топтался на месте, — так я торопился сам. — Ему уже значительно лучше. Даже немного посмеялись. Знаете, он запустил болезнь и никому не пикнул об этом! Вначале я думал, что мы все виноваты. А вы как думаете?

— Что же меня спрашивать? — возразил я с обидой. — Ведь я знаю менее всех!

— Не очень виноваты, — продолжал он, обходя мой ответ. — В чем-то не виноваты, это я чувствую. Ах, как он радовался! Тс! Это его спальня.

Он постучал в замкнутую высокую дверь, и, когда собирался снова стучать, Эстамп открыл изнутри, немедленно отойдя и договаривая в сторону постели прерванную нашим появлением фразу:

«…поэтому вы должны спать. Есть предел впечатлениям и усилиям. Вот пришел Санди».

Я увидел прежде всего сидящую у кровати Молли; Ганувер держал ее руку, лежа с высоко поднятой подушками головой. Рот его был полураскрыт, и он трудно дышал, говоря с остановками, негромким голосом. Между краев

расстегнутой рубашки был виден грудной компресс.

В этой большой спальне было так хорошо, что вид больного не произвел на меня тяжелого впечатления. Лишь присмотревшись к его, как бы озаренному тусклым светом, лицу, я почувствовал скверное настроение минуты.

У другого конца кровати сидел, заложив ногу на ногу, Дюрок, дон Эстебан стоял посредине спальни. У стола доктор возился с лекарствами. Капитан Орсуна ходил из угла в угол, заложив за широкую спину обветренные короткие руки. Молли была очень нервна, но улыбнулась, когда я вошел.

— Сандерсончик! — сказала она, блеснув на момент живостью, которую не раздавило ничто. — Такой был хорошенький в платочке! А теперь… Фу!.. вы плакали?

Она замахала на меня свободной рукой, потом поманила пальцем и убрала с соседнего стула газету.

— Садитесь. Пустите мою руку, — сказала она ласково Ганувeру. — Вот так! Сядем все чинно.

— Ему надо спать, — резко заявил доктор, значительно взглядывая на меня и других.

— Пять минут, Джонсон! — ответил Ганувер. —

Пришла одна живая душа, которая тоже, я думаю, не терпит одиночества. Санди, я тебя позвал, — как знать, увидимся ли мы еще с тобой? — позвал на пару дружеских слов. Ты видел весь этот кошмар?

— Ни одно слово, сказанное там, — произнес я в лучшем своем стиле потрясенного взрослого, — не было так глубоко спрятано и запомнено, как в моем сердце.

— Ну, ну! Ты очень хвастлив. Может быть, и в моем также. Благодарю тебя, мальчик, ты мне тоже помог, хотя сам ты был как птица, не знающая, где сядет завтра.

— Ох, ох! — сказала Молли. — Ну как же он не знал? У него есть на руке такая надпись, — хотя я и не видела, но слышала.

— А вы?! — вскричал я, задетый по наболевшему месту устами той, которая должна была пощадить меня в эту минуту. — Можно подумать — как же! — что вы очень древнего возраста! — Испугавшись собственных слов, едва я удержался сказать лишнее, но мысленно повторял: «Девчонка! Девчонка!»

Капитан перестал ходить, посмотрел на меня, щелкнул пальцами и грузно сел рядом.

— Я ведь не спорю, — сказала девушка, в то

время как затихал смех, вызванный моей горячностью. — А может быть, я и правда старше тебя!

— Мы делаемся иногда моложе, иногда — старше, — сказал Дюрок.

Он сидел в той же позе, как на «Эспаньоле», отставив ногу, откинувшись, слегка опустив голову, а локоть положа на спинку стула.

— Я шел утром по береговому песку и услышал, как кто-то играет на рояле в доме, где я вас нашел, Молли. Точно так было семь лет назад, почти в этой же обстановке. Я шел тогда к девушке, которой более нет в живых. Услышав эту мелодию, я остановился, закрыл глаза, заставил себя перенестись в прошлое и на шесть лет стал моложе.

Он задумался. Молли взглянула на него украдкой, потом, выпрямившись и улыбаясь, повернулась к Гануверу.

— Вам очень больно? — сказала она. — Быть может, лучше, если я тоже уйду?

— Конечно нет, — ответил он. — Санди, Молли, которая тебя так сейчас обидела, была худым черномазым птенцом на тощих ногах всего только четыре года назад. У меня не было ни дома, ни ночлега. Я спал в брошенном бараке.

Девушка заволновалась и завертелась.

— Ах, ах! — вскричала она. — Молчите, молчи-

те! Я вас прошу. Остановите его! — обратилась она к Эстампу.

— Но я уже оканчиваю, — сказал Ганувер. — Пусть меня разразит гром, если я умолчу об этом. Она подскакивала, напевала, заглядывала в щель барака дня три. Затем мне были просунуты в дыру, в разное время: два яблока, старый передник с печеным картофелем и фунт хлеба. Потом я нашел цепь.

— Вы меня очень обидели, — громко сказала Молли, — очень. — Немедленно она стала смеяться. — Там же и зарыли ее, эту цепь. Вот было жарко! Сандерс, вы чего молчите, позвольте спросить?

— Ничего, — сказал я. — Я слушаю.

Доктор прошел между нами, взяв руку Ганувера.

— Еще минута воспоминаний, — сказал он, — тогда завтрашний день испорчен. Уйдите, прошу вас!

Дюрок хлопнул по колену рукой и встал. Все подошли к девушке — веселой или грустной? — трудно было понять, так тосковало, мгновенно освещаясь улыбкой или становясь внезапно рассеянным, ее подвижное лицо. Прощаясь, я сказал: «Молли, если я вам понадоблюсь, рассчитывайте

на меня!..» — и, не дожидаясь ответа, быстро выскочил первый, почти не помня, как холодная рука Ганувера стиснула мою крепким пожатием.

На выходе сошлись все. Когда вышел доктор Джонсон, тяжелая дверь медленно затворилась. Ее щель сузилась, блеснула последней чертой и исчезла, скрыв за собой двух людей, которым, я думаю, нашлось поговорить кое о чем без нас и иначе, чем при нас.

— Вы тоже ушли? — сказал Джонсону Эстамп.

— Такая минута, — ответил доктор. — Я держусь мнения, что врач должен иногда смотреть на свою задачу несколько шире закона, хотя бы это грозило осложнениями. Мы не всегда знаем, что важнее при некоторых обстоятельствах — жизнь или смерть. Во всяком случае, ему пока — хорошо.

XX

Капитан, тихо разговаривая с Дюроком, удалился в соседнюю гостиную. За ними ушли дон Эстебан и врач. Эстамп шел некоторое время с Попом и со мной, но на первом повороте, кивнув, «исчез по своим делам», как он выразился. Отсюда недалеко было в библиотеку, пройдя которую Поп зашел со мной в мою комнату и сел с явным изнеможением; я, постояв, сел тоже.

— Так вот, — сказал Поп. — Не знаю, засну ли сегодня.

— Вы их выследили? — спросил я. — Где же они теперь?

— Исчезли, как камень в воде. Дрек сбился с ног, подкарауливая их на всех выходах, но одному человеку трудно поспеть сразу к множеству мест. Ведь здесь двадцать выходов, толпа, суматоха, переполох, и если они переоделись, изменив внешность, то вполне понятно, что Дрек сплоховал. Ну и он, надо сказать, имел дело с первостатейными артистами. Все это мы узнали потом, от Дрека. Дюрок вытащил его телеграммой; можете представить, как он торопился, если заказал Дреку экстренный поезд! Ну, мы погово-

рим в другой раз. Второй час ночи, а каждый час этих суток надо считать за три, — так все устали. Спокойной ночи!

Он вышел, а я подошел к кровати, думая, не вызовет ли ее вид желания спать. Ничего такого не произошло. Я не хотел спать: я был возбужден и неспокоен. В моих ушах все еще стоял шум; отдельные разговоры без моего усилия звучали снова с характерными интонациями каждого говорящего. Я слышал смех, восклицания, шепот и, закрыв глаза, погрузился в мелькание лиц, прошедших передо мной за эти часы…

Лишь после пяти лет, при встрече с Дюроком, я узнал, отчего Дигэ, или Этель Мейер, не смогла в назначенный момент сдвинуть стены и почему это вышло так молниеносно у Ганувера. Молли была в павильоне с Эстампом и женой слуги Паркера. Она сама захотела появиться ровно в двенадцать часов, думая, может быть, сильнее обрадовать Ганувера. Она опоздала совершенно случайно. Между тем, видя, что ее нет, Поп, дежуривший у подъезда, бросился в камеру, где были электрические соединения, и разъединил ток, решив, что, как бы ни было, но Дигэ не произведет предположенного эффекта. Он закрыл ток на две минуты, после чего Ганувер вторично отвел

металлический завиток.

Эпилог
I

В 1915 году эпидемия желтой лихорадки охватила весь полуостров и прилегающую к нему часть материка. Бедствие достигло грозной силы; каждый день умирало по пятисот и более человек.

Незадолго перед тем в числе прочей команды вновь отстроенного парохода «Валкирия» я был послан принять это судно от судостроительной верфи Ратнера и К° в Лисс, где мы и застряли, так как заболела почти вся нанятая для «Валкирии» команда. Кроме того, строгие карантинные правила по разным соображениям не выпустили бы нас с кораблем из порта ранее трех недель, и я, поселившись в гостинице на набережной Канье, частью скучал, частью проводил время с сослуживцами в буфете гостиницы, но более всего скитался по городу, надеясь случайно встретиться с кем-нибудь из участников истории, разыгравшейся пять лет назад во дворце «Золотая цепь».

После того, как Орсуна утром, на другой день

после тех событий, увез меня из «Золотой цепи» в Сан-Риоль, я еще не бывал в Лиссе, — жил полным пансионером, и за меня платила невидимая рука. Через месяц мне написал Поп; он уведомлял, что Ганувер умер на третий день от разрыва сердца и что он, Поп, уезжает в Европу, но зачем, надолго ли, а также что стало с Молли и другими, о том ничего не упомянул. Я много раз перечитал это письмо. Я написал также сам несколько писем, но у меня не было никаких адресов, кроме мыса Гардена и дона Эстебана. Эти письма я так и послал. В них я пытался разузнать адреса Попа и Молли, но, так как письмо в «Золотую цепь» было адресовано мной разом Эстампу и Дюроку, — ответа я не получил, может быть потому, что они уже выехали оттуда. Дон Эстебан ответил, но ответил именно то, что не знает, где Поп, а адрес Молли не сообщает затем, чтобы я лишний раз не напоминал ей о ее горе своими посланиями.

Под конец он советовал мне заняться моими собственными делами.

Итак, я больше никому не писал, но с возмущением и безрезультатно ждал писем еще месяца три, пока не додумался до очень простой вещи: что у всех довольно своих дел и забот, кроме моих. Это открытие было неприятно, но помогло мне

наконец оторваться от тех тридцати шести часов, которые я провел среди сильнейших волнений и опасности, восхищения, тоски и любви. Постепенно я стал вспоминать «Золотую цепь» как отзвучавшую песню, но, чтобы ничего не забыть, потратил несколько дней на записывание всех разговоров и случаев того дня. Благодаря этой старой тетрадке я могу теперь восстановить все доподлинно. Но еще много раз после того я видел во сне Молли и, кажется, был неравнодушен к ней очень долго, так как сердце мое начинало биться ускоренно, когда где-нибудь слышал я это имя.

На второй день прибытия в Лисс я посетил тот закоулок порта, где стояла «Эспаньола», когда я удрал с нею. Теперь стояли там две американские шхуны, что не помешало мне вспомнить, как пронзительно гудел ветер ночью перед появлением Дюрока и Эстампа. Я навел также справки о «Золотой цепи», намереваясь туда поехать на свидание с прошлым, но хозяин гостиницы рассказал, что этот огромный дом взят городскими властями под лазарет и там помещено множество эпидемиков. Относительно судьбы дома в общем известно было ему лишь, что Ганувер, не имея прямых наследников и не оставив завещания, подверг тем все имущество длительному про-

цессу со стороны сомнительных претендентов и дом был заперт все время до эпидемии, когда по его уединенности найдено было, что он отвечает всем идеальным требованиям гигантского лазарета.

У меня были уже небольшие усы; начала также пушиться нежная борода, такая жалкая, что я усердно снимал ее бритвой. Иногда я с достоинством посматривал в зеркало, сжимал губу и двигал плечом, — плечи стали значительно шире.

Никогда не забывая обо всем этом, держа в уме своем изящество и молодцеватость, я проводил вечера либо в буфете, либо на бульваре, где облюбовал кафе «Тонус».

Однажды я вышел из кафе, когда не было еще семи часов, — я ожидал приятеля, чтобы идти вместе в театр, но он не явился, прислав подозрительную записку, известно какого рода, а один я не любил посещать театр. Итак, это дело расстроилось. Я спустился к нижней аллее и прошел ее всю, а когда хотел повернуть к городу, навстречу мне попался старик в летнем пальто, котелке, с тросточкой, видимо, вышедший погулять, так как за его свободную руку держалась девочка лет пяти.

— Паркер! — вскричал я, становясь перед ним лицом к лицу.

— Верно, — сказал Паркер, всматриваясь. Память его усиленно работала, так как лицо попеременно вытягивалось, улыбалось и силилось признать, кто я такой. — Что-то припоминаю, — заговорил он нерешительно, — но, извините, последние годы плохо вижу.

— «Золотая цепь»! — сказал я.

— Ах да! Ну, значит... Нет, разрази бог, — не могу вспомнить.

Я хлопнул его по плечу.

— Санди Пруэль, — сказал я, — тот самый, *который все знает*!

— Паренек, это ты?! — Паркер склонил голову набок, просиял и умильно заторжествовал: — О, никак не узнать! Форма к тебе идет! Вырос, раздвинулся... Ну что же, надо поговорить! А меня вот внучка таскает: «пойдем, дед, да пойдем», — любит со мной гулять.

Мы прошли опять в «Тонус» и заказали вино; девочке заказали сладкие пирожки, и она стала их анатомировать пальцем, мурлыча и болтая ногами, а мы с Паркером унеслись на пять лет назад. Некоторое время Паркер говорил мне «ты», затем постепенно проникся зрелищем перемены

в лице изящного, загорелого моряка, носящего штурманскую форму с привычной небрежностью опытного морского волка, — и перешел на «вы».

Естественно, что разговор был об истории и судьбе лиц, нам известных, а больше всего — о Молли, которая обвенчалась с Дюроком полтора года назад. Кроме того, я узнал, что оба они здесь и живут очень недалеко — в гостинице «Пленэр», — приехали по делам Дюрока, а по каким именно, Паркер точно не знал, но он был у них, оставшись очень доволен как приемом, так и угощением.

Я был удивлен и рад, но больше рад за Молли, что ей не пришлось попасть в цепкие лапы своих братцев. С этой минуты мне уже не сиделось, и я машинально кивал, дослушивая рассказ старика. Я узнал также, что Паркер знал Молли давно, — он был ее дальним родственником с материнской стороны.

— А вы знаете, — сказал Паркер, — что она приезжала накануне того вечера одна, тайно в «Золотую цепь» и что я ей это устроил? Не знаете… Ну так она приходила проститься с тем домом, который покойник выстроил для нее, как она хотела, — глупая девочка! — и разыскала меня, закутанная платком по глаза. Мы долго хо-

дили там, где можно было ходить, не рассчитывая кого-нибудь встретить. Ее глаза разблестелись — так была поражена; известно, Ганувер размахнулся, как он один умел это делать. Да. Большое удовольствие было написано на ее лице, — на нее было вкусно смотреть. Ходила и замирала. Оглядывалась. Постукивала ногой. Стала тихонько петь. Вот — а это было в проходе между двух зал — наперерез двери прошла та авантюристка с Ганувером и Галуэем. Молли отошла в тень, и нас никто не заметил. Я взглянул, — совсем другой человек стоял передо мной. Я что-то заговорил, но она махнула рукой, заторопилась, умолкла и не говорила больше ничего, пока мы не прошли в сад и не разыскали лодку, в которой она приехала. Прощаясь, сказала: «Поклянись, что никому не выдашь, как я ходила здесь с тобой сегодня». Я все понял, клятву дал, как она хотела, а про себя думал: «Вот сейчас я изложу ей все свои мнения, чтобы она выбросила эти мысли о Дигэ». И не мог. Уже пошел слух; я сам не знал, что будет, однако решился, а посмотрю на ее лицо — нет охоты говорить, вижу по лицу, что говорить запрещает и уходит с обидой. Решался я так три раза и — не решился. Вот какие дела!

Паркер стал говорить дальше; как ни интересно

было слушать обо всем, из чего вышли события того памятного вечера, нетерпение мое отправиться к Дюроку росло и разразилось тем, что, страдая и шевеля ногами под стулом, я наконец кликнул прислугу, чтоб расплатиться.

— Ну что же, я вас понимаю, — сказал Паркер, — вам не терпится пойти в «Пленэр». Да и внучке пора спать. — Он снял девочку со стула и взял ее за руку, а другую руку протянул мне, сказав: — Будьте здоровы!..

— До свидания! — закричала девочка, унося пирожки в пакете и кланяясь. — До свидания! спасибо! спасибо!

— А как тебя зовут? — спросил я.

— Молли! Вот как! — сказала она, уходя с Паркером.

Праведное небо! Знал ли я тогда, что вижу свою будущую жену? такую беспомощную, немного повыше стула?!

II

Волнение прошлого. Несчастен тот, кто недоступен этому изысканному чувству; в нем расстилается свет сна и звучит грустное удивление. Никогда, никогда больше не повторится оно! По

мере ухода лет уходит его осязаемость, меняется форма, пропадают подробности. Кажется так, хотя его суть та, та самая, в которой мы жили, окруженные заботами и страстями. Однако что-то изменилось и в существе. Как человек, выросший лишь умом — не сердцем, может признать себя в портрете десятилетнего, так и события, бывшие несколько лет назад, изменяются вместе с нами; и, заглянув в дневник, многое хочется переписать так, как ощущаешь теперь. Поэтому я осуждаю привычку вести дневник. Напрасная трата времени!

В таком настроении я отправил Дюроку свою визитную карточку и сел, читая газету, но держа ее вверх ногами. Не прошло и пяти минут, а слуга уже вернулся, почти бегом.

— Вас просят, — сказал он, и я поднялся в бельэтаж с замиранием сердца. Дверь открылась; навстречу мне встал Дюрок. Он был такой же, как пять лет назад, лишь посеребрились виски. Для встречи у меня была приготовлена фраза: «Вы видите перед собой фигуру из мрака прошлого и, верно, с трудом узнаете меня, так я изменился с тех пор», — но, сбившись, я сказал только: «Не ожидали, что я приду?»

— О, здравствуй, Санди! — сказал Дюрок, вгля-

дываясь в меня. — Наверно, ты теперь считаешь себя старцем, для меня же ты прежний Санди, хотя и с петушиным баском. Отлично! Ты дома здесь. А Молли, — прибавил он, видя, что я оглядываюсь, — вышла, она скоро придет.

— Я должен вам сказать, — заявил я, впадая в прежнее свое легкомыслие искренности, — что я очень рад был узнать о вашей женитьбе. Лучшую жену, — продолжал я с неуместным и сбивающим меня самого жаром, — трудно найти. Да, трудно! — вскричал я, желая говорить сразу обо всем и бессильный соскочить с первой темы.

— Ты много искал, сравнивал? У тебя большой опыт? — спросил Дюрок, хватая меня за ухо и усаживая. — Молчи. Учись, войдя в дом, хотя бы и после пяти лет, сказать несколько незначительных фраз, ходящих вокруг и около значительного, а потому как бы значительных.

— Как?! Вы меня учите?..

— Мой совет хорош для всякого места, где тебя еще не знали болтливым и запальчивым мальчуганом. Ну хорошо. Выкладывай свои пять лет. Звонок около тебя, протяни руку и позвони.

Я рассказал ему приключения первого моряка в мире, Сандерса Пруэля из Зурбагана, где родился под самым лучшим солнцем, наиярчайше осве-

щающим только мою фигуру, видимую всем, как статуя Свободы, за шестьдесят миль.

В это время прислуга внесла замечательный старый ром, который мы стали пить из фарфоровых стопок, вспоминая происшествия на Сигнальном Пустыре и в «Золотой цепи».

— Хорошая была страница, правда? — сказал Дюрок. Он задумался, его выразительное твердое лицо отразило воспоминание, и он продолжал: — Смерть Ганувера была для всех нас неожиданностью. Нельзя было подумать. Были приняты меры. Ничто не указывало на печальный исход. Очевидно, его внутреннее напряжение разразилось с большей силой, чем думали мы. За три часа до конца он сидел и говорил очень весело. Он не написал завещания, так как верил, что, сделав это, приблизит конец. Однако смерть уже держала свою руку на его голове. Но, — Дюрок взглянул на дверь, — при Молли я не буду поднимать более разговора об этом, — она плохо спит, если поговорить о тех днях.

В это время раздался легкий стук, дверь слегка приоткрылась и женский голос стал выговаривать рассудительным нежным речитативом: «Настой-чи-во про-ся впус-тить, нель-зя ли вас преду-пре-дить, что э-это я, душа моя…»

— Кто там? — притворно громко осведомился Дюрок.

— При-шла оч-ко-вая змея, — докончил голос, дверь раскрылась, и вбежала молодая женщина, в которой я тотчас узнал Молли. Она была в костюме пепельного цвета и голубой шляпе. При виде меня ее смеющееся лицо внезапно остыло, вытянулось и снова вспыхнуло.

— Конечно я вас узнала! — сказала она. — С моей памятью, да не узнать подругу моих юных дней?! Сандерсончик, ты воскрес, милый?! Ну здравствуй и прости меня, что я сочиняла стихи, когда ты, наверно, ждал моего появления. Что, уже выпиваете? Ну отлично, я очень рада и... и... не знаю, что еще вам сказать. Пока что я сяду.

Я заметил, как смотрел на нее Дюрок, и понял, что он ее очень любит; и оттого, как он наблюдал за ее рассеянными, быстрыми движениями, у меня родилось желание быть когда-нибудь в его положении.

С приходом Молли общий разговор перешел главным образом на меня, и я опять рассказал о себе, затем осведомился, где Поп и Эстамп. Молли без всякого стеснения говорила мне «ты», как будто я все еще был прежним Санди, да и я, присмотревшись теперь к ней, нашел, что хотя она

стала вполне развившейся женщиной, но сохранила в лице и движениях три четверти прежней Молли. Итак, она сказала:

— Попа ты не узнал бы, хотя и «все знаешь», извини, но я очень люблю дразниться. Поп стал такой важный, такой положительный, что хочется выйти вон! Он ворочает большими делами в чайной фирме. А Эстамп — в Мексике. Он поехал к больной матери; она умерла, а Эстамп влюбился и женился. Больше мы его не увидим.

У меня были желания, которые я не мог выполнить, и беспредельно томился ими, улыбаясь и разговаривая как заведенный. Мне хотелось сказать: «Вскрикнем, удивимся и ужаснемся, — потонем в волнении прошедшего пять лет назад дня, вернем это острое напряжение всех чувств. Вы, Молли, для меня — первая светлая черта женской юности, увенчанная смехом и горем, вы, Дюрок, — первая твердая черта мужества и достоинства! Я вас встретил внезапно. Отчего же мы сидим так сдержанно? Отчего наш разговор так стиснут, так отвлечен?» Ибо перебегающие разговоры я ценил мало. Жар, страсть, слезы, клятвы, проклятия и рукопожатия — вот что требовалось теперь мне!

Всему этому — увы! — я тогда не нашел бы слов,

но очень хорошо чувствовал, чего не хватает. Впоследствии я узнал, отчего мы мало вспоминали втроем и не были увлечены прошлым. Но и теперь я заметил, что Дюрок правит разговором, как штурвалом, придерживая более к прохладному северу, чем к пылкому югу.

— Кто знает?! — сказал Дюрок на ее «не увидим». — Вот Сандерс Пруэль сидит здесь и хмелеет мало-помалу. Встречи, да еще неожиданные, происходят чаще, чем об этом принято думать. Все мы возвращаемся на старый след, кроме…

— Кроме умерших, — сказал я глупо и дико.

Иногда держишь в руках хрупкую вещь, рассеянно вертишь ее, как — хлоп! — она треснула. Молли призадумалась, потом шаловливо налила мне рома и стала напевать, сказав: «Вот это я сейчас вам сыграю». Вскочив, она ушла в соседнюю комнату, откуда загремел бурный бой клавиш. Дюрок тревожно оглянулся ей вслед.

— Она устала сегодня, — сказал он, — и едва ли вернется. — Действительно, во все возрастающем громе рояля слышалось упорное желание заглушить иной ритм. — Отлично, — продолжал Дюрок, — пусть она играет, а мы посидим на бульваре. Для такого предприятия мне не найти лучшего спутника, чем ты, потому что у тебя

живая душа.

Уговорившись, где встретимся, я выждал, пока затихла музыка, и стал уходить. «Молли! Санди уходит», — сказал Дюрок. Она тотчас вышла и начала упрашивать меня приходить часто и «не вовремя»: «Тогда будет видно, что ты друг». Потом она хлопнула меня по плечу, поцеловала в лоб, сунула мне в карман горсть конфет, разыскала и подала фуражку, а я поднес к губам теплую эластичную руку Молли и выразил надежду, что она будет находиться в добром здоровье.

— Я постараюсь, — сказала Молли, — только у меня бывают головные боли, очень сильные. Не знаешь ли ты средства? Нет, ты ничего не знаешь, ты лгун со своей надписью! Отправляйся!

Я больше никогда не видел ее. Я ушел, запомнив последнюю виденную мной улыбку Молли, — так, средней веселости, хотя не без юмора, и направился в «Портовый трибун» — гостиницу, где должен был подождать Дюрока и где, к великому своему удивлению, обрел дядюшку Гро, размахивающего стаканом в кругу компании, восседающей на стульях верхом.

III

Составьте несколько красных клиньев из сырого мяса и рыжих конских волос, причем не надо заботиться о направлении, в котором торчат острия, разрежьте это сцепление внизу поперечной щелью, а вверху вставьте пару гнилых орехов — и вы получите подобие физиономии Гро.

Когда я вошел, со стула из круга этой компании вскочил, почесывая за ухом, матрос и сказал подошедшему с ним товарищу: «А ну его! Опять врет, как выборный кандидат!»

Я смотрел на Гро с приятным чувством безопасности. Мне было интересно, узнает ли он меня. Я сел за стол, бывший по соседству с его столом, и нарочно громко потребовал холодного пунша, чтобы Гро обратил на меня внимание. Действительно, старый шкипер, как ни был увлечен собственными повествованиями, обернулся на мой крик и печально заметил:

— Штурман шумит. То-то, поди, денег много!

— Много ли или мало, — сказал я, — не вам их считать, почтеннейший шкипер!

Гро несочувственно облизал языком усы и обратился к компании.

— Вот, — сказал он, — вот вам живая копия Санди Пруэля! Так же отвечал, бывало, и вечно дерзил. Смею спросить, — нет ли у вас брата, которого зовут Сандерс?

— Нет, я один, — ответил я, — но в чем дело?

— Очень вы похожи на одного молодца, разрази его гром! Такая неблагодарная скотина! — Гро был пьян и стакан держал наклонно, поливая вином штаны. — Я обращался с ним как отец родной и, воистину, отогрел змею! Говорят, этот Санди теперь разбогател как набоб; про то мне неизвестно, но что он за одну штуку получил, воспользовавшись моим судном, сто тысяч банковыми билетами, — в этом я и сейчас могу поклясться мачтами всего света!

На этом месте часть слушателей ушла, не желая слышать повторения бредней, а я сделал вид, что очень заинтересован историей. Тогда Гро напал на меня, и я узнал о похождениях Санди Пруэля. Вот эта история.

Пять лет назад понадобилось тайно похоронить родившегося от незаконной любви двухголового человека, росшего в заточении и умершего оттого, что одна голова засохла. Ради этого, подкупив матроса Санди Пруэля, неизвестные люди связали Санди, чтобы на него не было подозрения, и

вывезли труп на мыс Гардена, где и скрыли его в обширных склепах «Золотой цепи». За это дело Санди получил сто тысяч, а Гро только пятьсот пиастров, правда золотых, — но, как видите, очень мало по сравнению с гонораром Санди. Вскорости труп был вынут, покрыт лаком и оживлен электричеством, так что стал, как живой, отвечать на вопросы и его до сих пор выдают за механическую фигуру. Что касается Санди, — он долго был известен на полуострове как мот и пьяница, и был арестован в Зурбагане, но скоро выпущен за большие деньги.

На этом месте легенды, имевшей, может быть, еще более поразительное заключение (как странно, даже жутко было мне слушать ее!), вошел Дюрок. Он был в пальто, шляпе и имел поэтому другой вид, чем ночью при начале моего рассказа, но мне показалось, что я снова погружаюсь в свою историю, готовую начаться сызнова. От этого напала на меня непонятная грусть. Я поспешно встал, покинул Гро, который так и не признал меня, но, видя, что я ухожу, вскричал:

— Штурман, эй, штурман! Один стакан Гро в память этого свистуна Санди, разорившего своего шкипера!

Я подозвал слугу и, в присутствии Дюрока, с

любопытством следившего, как я поступлю, заказал для Гро и его собутыльников восемь бутылок портвейна. Потом, хлопнув Гро по плечу так, что он отшатнулся, — сказал:

— Гро, а ведь я и есть Санди!

Он мотнул головой, всхлипнул и уставился на меня.

Наступило общее молчание.

— Восемь бутылок, — сказал наконец Гро, машинально шаря в кармане и рассматривая мои колени. — Врешь! — вдруг закричал он. Потом Гро сник и повел рукой, как бы отстраняя трудные мысли. — А может быть!.. Может быть… — забормотал Гро. — Гм… Санди! Все может быть! Восемь бутылок, буты…

На этом мы покинули его, вышли и прошли на бульвар, где сели в каменную ротонду. Здесь слышался отдаленный плеск волн; на другой аллее, повыше, играл оркестр. Мы провели славный вечер и обо всем, что здесь рассказано, вспомнили и переговорили со всеми подробностями. Потом Дюрок распрощался со мной и исчез по направлению к гостинице, где жил, а я, покуривая, выпивая и слушая музыку, ушел душой в Замечательную Страну и долго смотрел в ту сторону, где был мыс Гардена. Я размышлял о словах Дюрока

про Ганувера: «Его ум требовал живой сказки, душа просила покоя». Казалось мне, что я опять вижу внезапное появление Молли перед нарядной толпой и слышу ее прерывистые слова:

— Это я, милый! Я пришла, как обещала! Не грустите теперь!